

ФЕНИМОР КУПЕР

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ  
РОМАНОВ

ПОД РЕДАКЦИЕЙ  
Н. МОГУЧЕГО

ТОМ X

---

„ЗЕМЛЯ и ФАБРИКА“  
МОСКВА — ЛЕНИНГРАД

192  
162

ФЕНИМОР КУПЕР

В ВЕНЕЦИИ  
САТАНСТОЭ

ВТОРАЯ ТЫСЯЧА

---

„ЗЕМЛЯ и ФАБРИКА“  
МОСКВА — ЛЕНИНГРАД

28-28804

к

J. FENIMOR COOPER

# THE BRAVO

# SATANSTOE

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Романы Фенимора Купера „В Венеции“ („Браво“) и „Сатанстоэ“ в значительной мере повторяют те черты творчества знаменитого романиста, которые составляют его главнейшее отличие. В обоих романах внимание автора привлечено к сильным личностям, бесстрашно вступившим в борьбу с людьми и обстоятельствами и, благодаря своему преодолению самых жестоких препятствий.

Надо упомянуть, что роман „В Венеции“ был первым опытом Фенимора Купера, в котором он отказался от увлекательной оправавшихся приключений или романтической борьбы с красными. Возникли и многие упреки современников автору, в которых сказано недовольство тем, что признанный мастер „морского“ и „американского“ романа выступил в новой, якобы несвойственной его дарованию сфере. Тогда же откликнулся В. Г. Белинский, решительно ставший на стороне нового произведения Ф. Купера.

В. Г. Белинский писал:

„Признаемся, не без страха принялись мы за чтение „Браво“ — было бы грустно удостовериться, что такой великий художник, как Купер, мог писать плохие романы... Вот мы уже через великую силу прочли другую... перевод (роман вышел в очень скверном переводе!) уже наше терпение, нашу любовь к искусству, готовую на великие жертвы даже на чтение таких переводов... но вот мрак начал рассеиваться — очерки стали превращаться в живописные фигуры, слабые тени — в образы и лица, и, несмотря на ужасный перевод, мы уже не читали, насыщенной жадностью пожирала остальные главы и части...“

С обычной отчетливостью В. Г. Белинский выделяет основные художественные элементы, которые в романе Ф. Купера производят сильное впечатление на читателя:

„И теперь, когда уже роман давно прочтен, и теперь носите наши глаза эти дивные образы, которые могла создать только гения великого художника. Вот старый рыбак Антонио, с его энергичной стойкой нравов, с его благородной грубостью; вот глубокий, могучий, холщевый браво; вот кроткая, чистая, милая Джельсомина; вот и лукавая Аннина — какие лица, какие характеры! Коварная, мрачная, жадная политика венецианской аристократии, нравы Венеции, регистратура гондольеров, убийство Антонио — все это выше всякого описания. И все это так просто, так обыкновенно, так и повидному; люди хлопчаты, суетятся: кто хочет погулять, кто достать женок, кто поволочиться, кто пощеголять; лица всех веселы, пуб-

Переплет и обложка по рис. худ. А. Могилевского  
Отпечатано в типографии Госиздата  
„Красный Пролетарий“. Москва,  
Пименовская улица, 16,  
в кол. 7000 экз., 17 л.  
Главлит № А—3939  
MCMXXVIII

## ПРЕДИСЛОВИЕ

гулянья пестреют масками, по каналам разъезжают гондолы, но из всего этого выставляется какой-то колоссальный призрак, наводящий на вас оцепеняющий ужас. И все действие продолжается каких-нибудь три дня; внешних рычагов нет—вся драма завязывается из столкновения разных индивидуальностей и противоположности их интересов, все события самые ежедневные...

Живописность романа, действительно, не подлежит оспариванию. Но нам хочется сделать ударение на другом. Конечно, роман Фенимора Купера не является историческим в полном смысле этого слова. Факты в нем преломляются сквозь призму известного романтического увлечения прошлым. И многое, может быть, выпало из той картины нравов, какая изображена выразительными и яркими мазками. Но одно в ней, несомненно, верно: правдиво раскрыт характер аристократической Венецианской республики. Фенимор Купер не мог, да и не задавался целью, обнажить экономические пружины, управлявшие политикой дожей и сената. С нас достаточно того, что под пышными мантиями дожей и их советников он нашел только преступления, жестокосердие, безграничную жадность. Сенатор, пытающийся руководствоваться своими сердечными порывами, кажется жалкой и беспомощной фигурой среди собрания этих представителей подлинно „кинжальной“, по меткому слову В. Г. Беллинского, венецианской политики. Фенимор Купер показал также, что эта несправедливая и бесчестная политика всей своей тяжестью ложилась на бедноту, на широкие массы народа.

Не нужно думать, что такой показ проведен писателем последовательно на всем протяжении романа. Фигуры дона Камилло и сенатора Соранцо, руководящихся справедливостью, должны примирить читателя с аристократией, с „верхними“ этажами человеческого общества. Но, в конечном счете, в центре внимания оказываются не они, а убитый за свое прямодушие рыбак Антонио и безвинно осужденный Джакомо. Эти персонажи, выхваченные из гущи простонародья, противостоят развращенным правителям Венеции. Мнимый наемный убийца оказывается морально выше и честнее „сливок“ венецианской знати. Представитель христианской религии, монах-кармелит отец Ансельм, изображенный на этот раз Ф. Купером со всей симпатией, оказывается лишь орудием в руках палачей; все его возвышенные представления о долге, справедливости и т. п. оказываются смешными иллюзиями жалкого и бессильного бороться с правом силы человека.

Роман „Сатанстоэ“ возвращает нас к циклу американских романов Ф. Купера. Нового мы найдем в нем очень мало. В нем повторяются картины сражений во время англо-французской войны в Канаде, жестокости индейцев и смертельные опасности, преследующие героев. Благородная фигура Сускезуа во многом напоминает героя романа „Последний из могикиан“—Ункаса. В романе повторены и все недостатки произведений Ф. Купера, посвященных завоеванию белыми девственных пустынь Америки. Индейцы изображены в слишком мрачных красках, а ограбление их белыми, за бесценок скупающими огромные земельные пространства, встречает в устах героя повести нелепое оправдание: дескать, земли эти были завоеваны. Ф. Купер, в полном соответствии со своими предрассудками буржуазного писателя, не может понять, что само по себе завоевание Америки, сопровождавшееся беспощадным

## ПРЕДИСЛОВИЕ

вытеснением индейцев, не имеет оправдания. Рисуя отдельных благород и привлекающих симпатии индейцев, он не пытается глубже и серьезнее проникнуть в характер всей индейской расы, ограничиваясь описанием бьющих в глаза жестокостей...

С ложной идеализацией выведены Купером в этом романе и другие действующие лица—офицеры.

Но роман интересен не с этой стороны. В нем мы не найдем правдивого изображения эпохи. Он волнует и захватывает умело развернутым драматическим сюжетом, который, при всей своей сложности, не может звать упрека в искусственности или нарочитости. Мужественные, прямые герои Ф. Купера, борющиеся среди бушующего половодья, и бирающиеся сквозь чащу девственного леса, осажденные в одиночку в поселении индейцами,—волнуют, прежде всего, твердостью своей воли, сдруженностью, находчивостью и неустранимостью. Такие качества нужны нам и в современниках, соединенные с борьбой за освобождение угнетенных и эксплуатируемых, без различия цвета кожи. Но новые люди должны бороться не за личное счастье: их судьба должна быть кровно связана с судьбой всего борющегося класса, нам нужны не герои одиночки, а революционеры—участники коллектива. Мужество, стойкость, вера в победу должны быть их неотъемлемыми качествами. Настроение романов Ф. Купера в этом отношении примыкает к тем настроениям, какие мы хотим воспитывать в людях нашего класса...

Роман „Сатанстоэ“, как и „В Венеции“, менее яркое вначале. Но последующие главы изобилуют такими драматическими эпизодами и яркими описаниями, какие не уступают лучшим страницам знаменитого романиста...

В ВЕНЕЦИИ

(1843.)

## ГЛАВА I

Солнце скрылось за вершинами Тирольских Альп, и луна уже нялась над островом Лидо; сотни пешеходов выходили из узких Венеции<sup>1</sup> и направлялись к площади святого Марка; галантные кава-франтоватые горожане, солдаты-далматинцы, матросы с галер, еврей-лиры из Риальто<sup>2</sup> и купцы с востока, путешественники, авантюристы, аристократы и гондольеры<sup>3</sup>,—все стремились к центру общих развлечений. Робкий вид и безразличное выражение лиц одних, степенный и беспокойные взоры других, хохот весельчаков, взвизгивание гитары и свист флейтиста, кривлянье шута и сосредоточенный вид импровизатора<sup>4</sup>, деланная и грустная улыбка арфиста, крики продавцов воды, пюшоны монахов, султаны военных, гул голосов, шум и движение,—все с характерной обстановкой площади невольно приковывало внимание телей.

Расположенная на границе западной и восточной Европы и находясь в постоянных сношениях с Востоком, Венеция, более чем какой-либо из многочисленных портов этого побережья, поражала пестротой типов и костюмов. В эпоху, к которой относится наш рассказ, Королева островов, как называли Венецию, хотя и перестала уже быть владычицей Адриатического и даже Адриатического моря, но оставалась еще бо-гомогущественной. Она не утратила своего значения, и ее торговля, и переживавшая упадок, все-таки могла поддерживать еще внешний блеск города.

Обширная площадь святого Марка быстро наполнялась: кофейни, верны, устроенные под портиками, окружавшими площадь, были уже полны посетителей. В то время как под арками все было залито светом фаналов и ламп, ряд зданий, называемый Дворцом Прокураторов, массивная постройка Дворца Дожей<sup>5</sup>, древнейший собор святого Марка<sup>6</sup>, гранитные колоннады Пьяцетты, триумфальные мачты Большой площади и выс-

<sup>1</sup> Венеция расположена на 118 островах, почти в четырех километрах от материка, и перерезана 157 каналами.

<sup>2</sup> Риальто—мост через Большой канал, где находился своеобразный базар.

<sup>3</sup> Гондола—особого устройства лодка, служащая основным средством передвижения в Венеции, по пересекающим город каналам. Гондольер—лодочник.

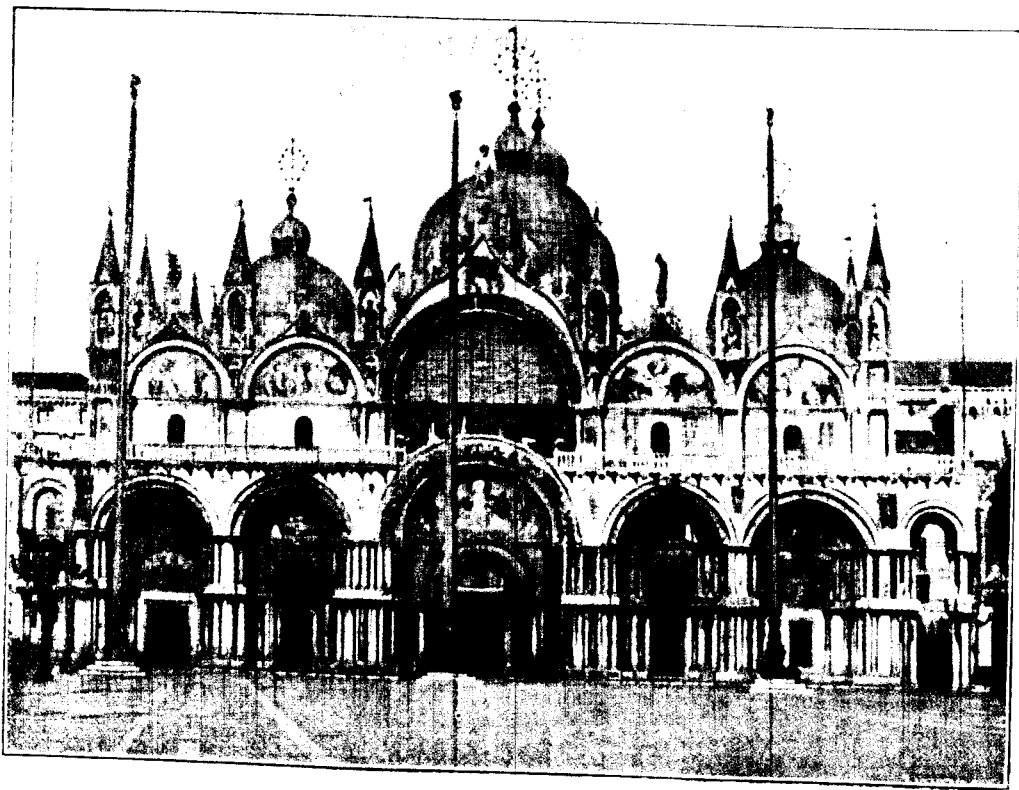
<sup>4</sup> Импровизатор—певец, сочиняющий стихи к случаю, сразу, без предварительной работы над ними.

<sup>5</sup> Дожа—титул правителей Венеции в ту эпоху.

<sup>6</sup> Святой Марк считался покровителем Венеции.

башня Кампаниле казались спящими в мягком полусвете, отбрасываемом ярко луною.

Большую площадь с одной стороны замыкал собор святого Марка. Это здание, как памятник былого величия республики, господствовало над другими строениями площади. Его мавританская архитектура, ряды небольших драгоценных, но совершенно лишних колонн, которые придавали несколько тяжелый вид его фасаду, низкие азиатские куполы, много сот лет покоящиеся на его стенах, его грубая мозаика и над всем этим бронзовые кони, вывезенные из побежденного Коринфа, рвущиеся в высь



Собор св. Марка.

от мрачного соборного массива,—все это при лунном освещении бросало на площадь какую-то тень особой затаенной грусти и придавленности.

Основание колокольни Кампаниле покоилось в тени, а восточный контур верхней части был освещен луною, мачты, предназначенные для трофеев-знамен Кандии, Константинополя и Мореи, вырисовывались тонкими темными линиями; в дальнем конце Малой площади—Пьяцетты ясно выделялись на фоне темно-синего неба очертания крылатого льва и покровителя города на колоннах из африканского гранита.

У подножия первого из этих величественных памятников стоял человек, который равнодушно и даже со скукой наблюдал за окружающим

его оживлением. По манерам в нем можно было признать терпелив слугу, привыкшего к повиновению. Скрестив руки на груди, он, казался ждал приказания хозяина, чтобы покинуть свой пост. Его куртка из шковой материи, затканной цветами самых ярких красок, алый отлож воротник, бархат его шапочки—все говорило, что это гондольер как то знатного лица.

Вдруг черты гондольера осветились радостью, и минуту спустя обнял загорелого моряка в широкой одежде и колпаке, какие нос тогда люди его профессии. Гондольер заговорил первый с мягким в вором островитян.

— Ты ли это, Стефано? Ведь говорили, что ты попал в когти к варвар Моряк отвечал на калабрийском<sup>1</sup> наречии.

— „Прекрасная Соррентинка“—не поповская экономка, чтоб ей роводиться с тунисским<sup>2</sup> корсаром. Если бы ты побывал когда-нибудь по ту сторону Лидо, то увидел бы сразу, что ловить ее еще не значит поймать.

— А говорили, что будто ты потерял у турок свою фелуку<sup>3</sup> всем ее экипажем.

— И вправду, один тунисец часа два так напирал на мою ко между Стромболи и Сицилией, что я мог различить грязные и чист чалмы бездельников на его палубе.

— Ох, и горели, должно быть, у тебя тогда пятки, приятель, и мысли о том, как их обрабатывать будут палками турки!

— Я слишком часто взбирался босиком по горам Калабрии, что дрожать при мысли о подобном пустяке. К тому же я уж сторговал с попом святой Агаты, и он мне обещал, что все случайные бедсты подобного рода мне зачтутся, как покаяние... Ну, как поживают ве цианцы? Что ты подельываешь?

— Да что! День за днем я плаваю от Риальто до Джудекки<sup>4</sup>, святого Георгия до святого Марка, до Лидо и домой. По этой дор не встретишь тунисца, и при виде его душа не уйдет в пятки.

— Будет смеяться-то! Скажи—что нового в республике? Не утол ли кто-нибудь из знати? Не повесили ли кого-либо из торговцев?

— Ничего нового, кроме несчастья, случившегося с Пьетро. Помни Пьетрилло, которого ты еще брал с собой в Далмацию матросом и торого еще подозревали в том, что он помогал одному французу г похищении дочери сенатора?

— Как не помнить! Бездельник только и делал, что ел макароны запивал вином.

— Так вот этот самый бедняга ехал по Джудекке с одним иностр цем. Вдруг бриг, принадлежавший какому-то анконцу<sup>5</sup>, наскочил на г долу и раздавил ее, словно водяной пузырь.

<sup>1</sup> Калабрия—часть Италии, у Тирренского моря.

<sup>2</sup> Тунис—государство в северной Африке, находившееся в то время в зависимости от Турции.

<sup>3</sup> Фелука—легкое судно прибрежного плавания.

<sup>4</sup> Джудекка—один из каналов Венеции, идущий вдоль острова того же названия.

<sup>5</sup> Анкона—важнейший после Венеции приморский город Италии в Адриатическом море.

— Бывает! Гондола так же может пропасть, как и фелука. А все же лучше погибнуть под носом брига, чем попасть в когти турок. Ну, а как поживает твой молодой хозяин Джино? Добьется ли он того, о чем хлопочет в сенате?

— Утром он всегда купается в Джудекке, а вечером его всегда можно увидеть между гуляющими на Бролио... Ну, так вот слушай же о Пьетро и не перебивай... Мы как-раз плыли мимо анконца, когда он перекувырнул гондолу с Пьетрилло. Мы с Джорджию ругались на чем свет стоит, глядя на неловкость иностранца... Вдруг мой хозяин возьми да и прыгни в воду, чтобы помешать молодой даме разделить судьбу своего дяди.

— Чорт тебя побери! Первый раз от тебя слышу об этой молодой даме и о смерти ее дяди!

— Ты был слишком занят мыслями о твоём тунисце, чтобы помнить мои слова. А прекрасная синьора, между тем, чуть было не разделила участи гондолы и ее дяди, римского маркиза.

— Батюшки! Какое несчастье быть утопленным, подобно собаке, от неловкости гондольера Пьетрилло.

— А все-таки это кончилось счастливо для анконца, потому что, говорят, этот самый утонувший римский маркиз, если бы он остался жив, обязательно сгноил бы его в тюрьме.

— А что же с ним, с плутом, сделалось?

— Да ведь я тебе, бестолковый, говорю: анконец уплыл, чорт его знает куда, в тот самый час, когда...

— Ну, а Пьетрилло-то?

— Джорджию, мой подручный, вытащил его веслом. Мы оба занялись тогда спасанием вещей с разбитой гондолы.

— И вы не могли ничего сделать, чтобы спасти бедного римлянина? Как бы его смерть не принесла несчастья анконцу-то, хозяину брига!

— Что поделаешь. Как ключ в воду канул. Ну, а тебя что тянет в Венецию, дружиче? Ведь неудача с апельсинами в твою последнюю поездку, кажется, заставила тебя отказаться от поездок сюда.

— Это, брат, дело мое... А ты прислушайся, Джино... Разве твой хозяин не требует гондолы между закатом и восходом солнца?

— С некоторого времени он спит по ночам не больше совы. И с той поры, как стаял снег на Монте-Феличе, я не ложусь раньше, чем солнце не поднимется над Лидо.

— И как только твой хозяин убирается в его дворец, так ты и бежишь на мост Риальто и на площадь рассказывать, как проводил ночь твой хозяин.

— Если бы я позволил себе такие вольности, это был бы последний день моей службы у герцога святой Агаты. Гондольер и духовник—главные советники дворянина, с той разницей, что духовник узнает только те грехи, которые дворянин хочет обнаружить, а гондольер знает кое-что и побольше... Разве я не найду дела почестнее и поумнее, чем рассказывать встречному и поперечному тайны моего хозяина?

— Вот, вот! А для меня мои дела еще важнее, чем для тебя хозайские.

— Прежде всего, нельзя сравнивать какого-нибудь владельца фелуки с гондольером, доверенным неаполитанского герцога, который имеет право

быть допущенным в Совет Трехсот... Постой,—прервал с живостью свою речь гондольер, который спорил, как свойственно итальянцам, ради самого спора, не высказывая своих настоящих мыслей.—Вот кто-то идет, судумает, что нас нужно разнимать...

Калабриец молча отступил и спокойно взглянул на человека, вызвавшего это замечание. Тот проходил медленно. Ему не было еще и тридцать лет, хотя можно было дать и больше. Он был бледен, худощав, но мскулист. Шаг его был тверд, ровен и уверен, держался он стройно и свободно, и все его движения отличались бросающимся в глаза спокойствием. По костюму его можно было отнести скорее к беднякам: на нем была обыкновенная бархатная куртка и шапочка коричневого цвета, какие носили тогда в южных странах Европы. Его лицо было скорее грустнее, чем мрачно, и оживлялось полными огня, ума и страсти глазами.

Гондольер и моряк молчали, пока этот человек, пройдя мимо них, не скрылся из виду. Тогда Джино прошептал с выражением страха на лице.

— Это Джакопо!

Моряк таинственно поднял три пальца и указал на Дворец Дожей.

— Слушай-ка, Стефано Милано,—сказал серьезно гондольер,—если в Венеции вещи, о которых должен забыть тот, кто хочет спокойно есть свои макароны. Какие бы ни были дела, по которым ты приехал сюда в город, ты прибыл вовремя, и увидишь большую гонку гондол, которую устраивает правительство.

— А ты в ней участвуешь, Джино?

— И я, и Джорджию. Кому повезет, тот получит в награду серебряную лодку. Будет также венчанье дожа с Адриатическим морем.

— Твои дожи хорошо сделают, если будут лучше ухаживать за Адриатикой, потому что теперь много народу начинает предъявлять и нее свои права. По пути сюда мне встретился странно оснащенный корсар с удивительно быстрым ходом. Он, казалось, хотел гнаться за моею фелукой до самых лагун.

— И у тебя душа ушла в пятки?

— На его палубе о чалмах не было и помину... Виднелись матросские колпаки на взбитых волосах, подвязанные под чисто выбритые подбородки.

— Республика устарела, брат. Это, пожалуй, верно. Снасти нашего старого Буцентавра<sup>1</sup> пришли в ветхость. Я не раз слышал, как говорил моему хозяину, что и крылатый лев святого Марка не летает уже так как бывало в молодости.

— Твой хозяин, дон Камилло, рассуждает о судьбе города, потому что голова его находится в безопасности под крышей старинного замка святой Агаты. Если бы он отзывался с большим уважением о дожах Совета Трехсот, его притязания на права предков скорее получили бы удовлетворение.

— А все-таки, Стефано, ты и сам не думаешь, чтобы республика приобрела еще трофей для украшения собора и площади святого Марка?—заметил гондольер.

<sup>1</sup> Буцентавром назывался правительственный корабль Венецианской республики, на котором плавали венецианские правители—дожи. (Прим. реда.)

— Сопровождая твоего хозяина в прогулках, ты, приятель Джино, далек от того, что происходит в народе. Прошли красные денечки святого Марка, и наступают они для севера.

— Может быть...

— Джино!—раздался повелительный голос около гондольера.

— Слушаю, синьор.

Тот, кто прервал беседу двух товарищей, не проронив больше ни одного слова, жестом руки приказал подать гондолу.

— До свиданья!—прошептал поспешно гондольер.

Его собеседник пожал гондольеру дружески руку. Через минуту Джино оправляя подушки в палатке гондолы. Разбудив своего подручного, он вместе с ним взялся за весла.

## ГЛАВА II

Войдя в гондолу, дон Камилло стоял, погруженный в задумчивость, до тех пор, пока лодка, управляемая искусными гребцами, не выбралась из тесноты и не направилась к Большому каналу.

— Тебе хочется показать свое искусство на гонках, Джино, и по справедливости ты заслуживаешь награды,—сказал дон Камилло.—С кем ты разговаривал, когда я позвал тебя?

— Это мой приятель из Калабрии, синьор. В последний свой приезд он клялся, что не вернется больше в Венецию, а теперь пригнал опять свою фелуку.

— А как его имя, и как называется его фелука?

— „Прекрасная Соррентинка“, а его зовут Стефано Милано; он—сын старого вашего слуги, синьор. Его судно—одно из наиболее быстроходных, да и красотой может похвалиться.

Дон Камилло, казалось, заинтересовался разговором.

— „Прекрасная Соррентинка“! Как ты думаешь, мне когда-нибудь приходилось видеть эту фелуку?

— Очень возможно, синьор, потому что у ее хозяина есть родные в святой Агате, и он не раз оставлял свое судно зимовать на берегу около замка вашей светлости.

— Чего ему нужно в Венеции?

— Мне и самому хочется это знать. И хотя, вообще, я не люблю вмешиваться в чужие дела и хорошо понимаю, что скромность—лучшая добродетель гондольера, я все-таки не мог не поинтересоваться. Но все мои старания оказались без успеха.

Когда гондола приблизилась к Большому каналу, герцог вошел в палатку и прилег на элегантных подушках из черной кожи. Гондола плыла дальше. Джино, как старший, стоял на мостике кормы и с привычной ловкостью направлял лодку то вправо, то влево, лавируя между судами, попадавшимися по пути. Поровнявшись с одним из зданий, гребцы прекратили на время свою работу, оставив весла на поверхности воды, и ждали дальнейших приказаний хозяина.

Дворец, мимо которого плыла гондола, мог привлечь внимание как красотой и богатством внешних украшений, так и оригинальностью постройки. Его массивный мраморный фундамент устойчиво покоился среди

волн, словно был поставлен на вершине утеса. Несколько гондол бы привязано около широкой мраморной лестницы, ведущей к главному входу во дворец. Место стоянки гондол, окруженное остроконечными, наклонно стоявшими в воде столбами-сваями и защищенное ими от проходящих мимо барок, являлось как бы гаванью этого дворца.

— Куда ваша светлость пожелает отправиться?—спросил Джино.

— Домой.

Гребцы обменялись удивленными взглядами и круто повернули гондолу от этого богатого, но неприветливого здания. Войдя в более узкий канал, они вооружились короткими веслами и, подталкивая лодку вперед громкими возгласами предупреждали встречные суда. Наконец, Джино остановил лодку как-раз около лестницы.

— Ты пойдешь со мной, Джино,—сказал дон Камилло, осторожничая ступая на мокрый камень и опираясь на плечо слуги,—ты мне нужен.

Внешний вид этого здания не мог сравниться по роскоши и богатству с дворцом на Большом канале.

— Не хочешь ли вверить свою судьбу на гонках вот этой новой гондоле, Джино?—сказал герцог, поднимаясь по крутой лестнице и указывая на изящную лодку из каштанового дерева, стоящую на каменном полу входных сеней.

Глаза Джино радостно заблестели, и он рассыпался в благодарности. Новая гондола была мастерски выстроена.

Поднявшись в первый этаж, они прошли длинный ряд сумрачных комнат и, наконец, очутились в кабинете герцога.

— Теперь ты мне должен оказать особую услугу,—сказал герцог запирая дверь.—Скажи мне, ты знаешь Джакопо Фронтони?

— Ваша светлость!—вскричал испуганно гондольер.

— Я тебя спрашиваю, знаешь ли ты венецианца Джакопо Фронтони?

— Точно так, ваша светлость!.. Знаю... в лицо...

— Он известен несчастиями, которые преследуют его семью, его отец кажется, в ссылке в Далмации.

— Точно так, ваша светлость! Так, по крайней мере, говорят.

— Здесь несколько Фронтони, и важно, чтобы ты не ошибся. Джино копо только двадцать пять лет, хотя на вид ему можно дать и больше благодаря его степенной осанке и сосредоточенному выражению лица. Он не общителен и молчалив. Живет он в собственном домике около арсенала.

— Нет необходимости описывать его наружность, ваша светлость. Все гондольеры знают ее, как свои пять пальцев.

— Ну, стало быть, ты его знаешь,—сказал дон Камилло.

Он машинально передвинул некоторые вещи на письменном столе и после недолгого раздумья ласково и доверчиво обратился к Джино.

— Ведь ты уроженец моих поместий и всю жизнь провел у меня на службе, Джино. Я хочу, чтобы последние годы твоей жизни прошли спокойно и в достатке там, где ты их начал. До сих пор ты ни разу не обманул моего доверия, хотя тебе нередко приходилось быть свидетелем кое-чего в жизни твоего хозяина, что для чужих было бы очень любопытно.



Дон Камилло улыбнулся, но веселое выражение его лица быстро сменилось сосредоточенным.

— Так как ты знаешь того, о ком я говорил, то наше дело становится очень простым.

Герцог передал слуге конверт большого формата и, сняв с руки кольцо с печатью, добавил:

— Это будет подтверждать твои полномочия. Под аркой Дворца Дожей, ведущей к каналу святого Марка, под Мостом Вздохов<sup>1</sup>, ты сегодня, не позднее часа после заката солнца, встретишь Джакопо. Передай ему этот пакет, а если он потребует, то и кольцо. Дождись его ответа и принеси мне его...

Джино пришел в волнение, которого он не мог скрыть. Обычная покорность боролась в нем с тем отвращением, которое внушал ему приказ герцога. Но дон Камилло сделал вид, что не замечает колебаний слуги, и повторил:

— Итак, у арки, ведущей во дворец, под Мостом Вздохов, и по возможности не позднее первого часа ночи<sup>2</sup>.

— Разрешите мне, синьор, сопровождать вас вместе с Джорджио в Падую.

— Почему тебе вдруг захотелось отправиться в это утомительное путешествие?

— А потому, что там нет ни Дворца Дожей, ни Моста Вздохов, и потому, что там не встретишь этого негодяя Джакопо.

— Как я вижу, тебе не хочется исполнить мое поручение. Но ты забываешь, что обязанность слуги—повиноваться приказаниям хозяина. Ты—мой вассал, Джино Мональди, и хотя ты с детства—здесь, в Венеции, гондольером, все-таки ты мой вассал, как уроженец моих неаполитанских поместий!

— Синьор, скажу вам откровенно, что все мы здесь, в Венеции, простые люди,—начиная от продавцов воды и кончая гондольерами,—все мы желаем этому псу Джакопо самого что ни есть скорого успокоения в лоне Авраамовом<sup>3</sup>... Говорить с этим негодяем значит не дорожить своей честью. Это могут подтвердить все. И не дальше, как вчера, это же самое говорила красавица Аннина, дочка старого торговца вином... Да если кто из гондольеров увидит меня с Джакопо, мне не придется участвовать в гонках, даже несмотря на поддержку вашей светлости...

— Итак, если он тебя задержит, ты дождись его ответа... А если он прогонит тебя без разговоров, ты немедленно вернись сюда, чтобы я знал, чем кончилось мое поручение.

— Я очень хорошо понимаю, синьор, что самолюбие хозяина значит больше, чем честь слуги... Если бы какой-нибудь мерзавец осмелился нанести оскорбление вашей светлости, мы с Джорджио всегда сумели бы доказать нашу преданность...

— Ага, так... Ну, благодарю тебя... Ступай и спи спокойно в гондоле... А ко мне пошли Джорджио.

<sup>1</sup> Мост Вздохов вел через канал из Дворца Дожей в тюрьму для уголовных преступников.

<sup>2</sup> В Венеции счет времени производился с заката и восхода солнца.

<sup>3</sup> Т.е. смерти.

— Помилуйте, ваша светлость!

— Ты ведь отказываешься?

— Как прикажете, ваша светлость, отправиться к Мосту Вздохов улицами или каналами?

— Как хочешь. Только захвати с собой весло, потому что может понадобиться гондола.

— Не успеете, синьор, и глазом моргнуть, как принесу ответ с Джакопо,—сказал, вздохнув, Джино и, поклонившись, вышел из кабинета с запечатанным письмом в руке.

Спустившись по потайной лестнице, он миновал узкий коридор и пройдя по внутреннему двору через скрытую, немногим известную дверь вышел в темный переулочек, соединявшийся с соседней улицей.

Венеция расположена на низких песчаных островах. Вероятнее всего что обширная мель в глубине венецианского залива—наносного происхождения. Множество потоков, орошающих долины Альп, несут Адриатическому морю свою дань в виде остатков разрушенных ими горных пород. Этот наносный грунт образует в заливе мели, которые с течением времени выступили из воды группой низких островов. Песчаная отмель обращенная к Венеции и к ее лагунам, называется островом Лидо. Так как большинство глубоких каналов лагун оставлено в неприкосновенности то город в разных направлениях прорезывается множеством протоков. По берегам этих протоков стены домов буквально упираются в воду, так как недостаток твердой почвы заставлял строить дома у самых берегов каналов. Благодаря этому почти каждое из зданий имеет один выход на канал и другой во внутренние проходы улиц. Улицы Венеции хотя и очень узки, но все вымощены, удобно проложены, и, при наличии мостов, сообщение между островами незатруднительно.

Джино очутился на одной из таких улиц. С гибкостью угря, плавающего в лагунах, он пробирался в толпе, стараясь пройти незамеченным. Не останавливаясь ни разу, он добрался до маленького низкого домика, стоявшего на углу площади, населенной бедняками и рабочим людом. Пробравшись среди множества пустых бочек, груд снастей и разного хлама, гондольер нащупал дверь и вошел в комнату.

— Ты ли это, Джино?—вскричала хорошенькая, разбитная венецианка, в голосе которой слышалось кокетство и удивление.—Пешком, потайным входом и в необычный час!

— Твоя правда, Аннина, что я пришел не во время; мне некогда рассказывать; надо торопиться. Принеси ты мне, Аннина, пожалуйста, ту куртку, в которой я был с тобой на празднике в Фузине.

— Почему ты хочешь сменить ливрею твоего хозяина на платье простого лодочника? Ведь эта шелковая куртка идет тебе гораздо больше, чем выцветший бархат, и если я раньше никогда этого не говорила, то только оттого, что хотела поберечь похвалу для других, кто их тоже любит...

— Дело не в этом! Скорее как можно давай мою куртку!

— Вот она! Ты найдешь в ее кармане ответ на твое письмо, за которое я тебя вовсе не благодарю, потому что тебе его писал секретарь герцога. И я тебе скажу, что женщины всегда осторожнее в этих делах; они знают, что, выбирая поверенного, очень легко наткнуться на соперницу.

— Сам черт не написал бы этого письма лучше, моя дорогая, — сказал Джино, переодеваясь. — Теперь шапочку и маску!

— Тот, у кого на лице обман, не нуждается в маске, — ответила девушка, все же бросая Джино нужные вещи.

— Теперь хорошо! Никто не угадает во мне слугу дона Камилло Монфорте. Я готов даже нанести визит тому еврею, который взял в залог твою золотую цепочку, и пригрозить ему ножом, если бы он захотел взять процентов больше условленного.

— Но что же будет тогда с тем важным делом, ради которого ты так торопишься?

— Правда, правда, долг прежде всего! Что, лодки твоего отца все в разгоне?

— Ну, конечно, ты видишь, я одна. Отец уехал в Лидо, брат в Фунине, а слуги на островах.

— Чорт возьми! Неужели ни одной вашей лодки в канале не найдется?..

— Стой, Джино! Ты что-то очень уж торопишься. Я жалею теперь, что впустила тебя и позволила переодеваться в нашем доме. Я хочу знать, что это за спешное дело, и не навлечет ли оно каких-нибудь подозрений и на моего отца. Я хочу знать!

— Ах, пойми, время дорого! Если я опоздаю, это будет твоя вина. Дай скорее ключ от двери, которая выходит на канал.

— Ты не уйдешь отсюда, пока я не узнаю, почему тебе понадобилось переодеваться и вообще всего относительно этого „важного“ дела.

— Ты нерассудительна, Аннина! Я же тебе сказал, что я должен исполнить важное поручение, и малейшее промедление может навлечь большие неприятности.

— На кого? И что это за поручение? И почему ты так торопишься сегодня, тогда как обычно тебе надо напоминать об уходе. Ну, живей, Джино, или скажи мне всю правду, или надевай опять ливрею дона Монфорте!

— Ну, так и быть! Мы ведь с тобой друзья, Аннина; я вполне верю тебе, и ты все сейчас узнаешь. У меня остается еще несколько минут, так как на колокольне сейчас прозвонили три четверти.

— Но у тебя такой вид, будто ты что-то придумываешь...

— Да, я волнуюсь, потому что вижу, что ради любви к тебе я совершу большую ошибку. Ты слышала, конечно, что говорят о моем хозяине и о племяннице римского маркиза, утонувшего в Джудекке?

— Кто же не слышал этой басни, которую каждый гондольер рассказывает на свой лад!

— И вот, эта история близка к развязке. Я боюсь, как бы мой хозяин не сделал глупость.

— Он хочет жениться?

— Еще хуже! Он меня послал отыскать, как можно скорее священника...

Аннина с интересом слушала выдумку гондольера. Но, зная хорошо Джино, она сомневалась в правдивости его слов.

— В какой же монастырь велели тебе идти?

— Мне ничего определенного не сказали! Я знаю только, что должен отыскать священника-францисканца.

— Неправда! Лжешь! Дон Камилло Монфорте не женится так опрметчиво. Тебе не удастся меня обмануть. И я тебя не выпущу, пока не узнаю всю правду. Возьми-ка выпей вина из этой кружки: может быть тогда у тебя заговорит совесть.

— Ну, вот... видишь... Я хочу познакомить твоего отца и Стефан Милано, — сказал гондольер, отпив из кружки. — Он калабриец и част привозит чудные вина, которыми славится его страна. Он сейчас в Венеции, и, если хочешь, он может вам доставить несколько бурдюков.

— Ну, сомневаюсь, чтобы его вина были лучше тех вин, которые продаются на Лидо... Выпей-ка еще стаканчик! Недаром говорят, что второй стакан еще слаще первого! Но я не прочь познакомиться с калабрицем. И чем скорее, тем лучше! Если его фелука в порту, то можно теперь же пригнать сюда каналами и внести вино прямо сюда пскрытому входу.

— Но ты забыла про поручение! Дон Камилло привык к моей аккуратности. А жаль, если вино достанется другому!

— Ладно. Чтобы не упустить удобного случая, я сама пойду с тобой к калабрицу. Ведь ты знаешь, что отец поручает мне эти дела.

Джинно не успел опомниться, как Аннина надела маску, отворила дверь и вытолкнула его из дому.

Канал, у которого стоял домик винного торговца, был узкий, темный и безлюдный; незатейливая гондола была привязана при входе в дом. Гондольер видел, что сопротивляться бесполезно. Он вошел в лодку и занял свое обычное место на корме.

### ГЛАВА III

Присутствие Аннины сильно стесняло Джино. Он был молод и стремился нравиться дочке торговца вином, а тут две выпитые чарки крепкого вина ударили ему в голову. Но свежий ночной воздух вернул Джино обычное хладнокровие и осмотрительность. Проплыв канал, Джино начал искать глазами хорошо известную ему фелуку калабринца.

Порт был загроможден кораблями всех стран. Луна поднялась уже высоко и освещала весь широкий бассейн с лесом косых латинских рей, легких мачт мелких судов и с массивными корпусами барок, бригов и коммерческих шхун.

Джинно сделал несколько ударов веслами, и гондола остановилась рядом с фелукой.

— Доброй ночи „Прекрасной Соррентинке“ и ее уважаемому хозяину! — сказал гондольер, входя со своей спутницей на палубу судна.

После обычных приветствий гости объяснили калабрицу цель своего приезда.

— Мы приехали к тебе по делу, и тебе будет чем от нас поживиться, — сказал Джино. — Я привез к тебе дочку известного виноторговца, честного малого; он не прочь попробовать торговать твоим калабрицким вином.

— Я к вашим услугам, сударыня! Не пожелаете ли вы снять маску?— сказал моряк.

— Дело не в маске,—отвечал гондольер.—Чтоб не терять напрасно времени, скажи прямо: есть у тебя вино?

— Э-э, Джино! Ты, брат, вопрос ставишь ребром... Ну, так поверь мне, что трюм моей фелуки совсем пуст. А что касается вина, так мы сами были бы рады выпить стаканчик.

Аннина, несмотря на строгости венецианских законов о торговле привозными винами, привыкшая к коммерческим сделкам, хотела воспользоваться выгодным случаем.

— Не боишься ли ты шпионов, капитан? В таком случае Джино может тебя уверить, что меня опасаться не нужно.

— Конечно!—подтвердил Джино.—Но позволь мне сказать ему на ухо несколько слов!.. Стефано Милано!—сказал он, приблизившись к моряку так, чтобы Аннина его не слышала.—Не в службу, а в дружбу, удержи у себя эту девушку. И если даже действительно у тебя нет вина, не говори ей этого, начни с ней торговаться, заговори ее, чтобы я мог скрыться незамеченным. А после этого проводи ее до набережной.

— Из слов Джино я понял, что мы с вами сговоримся,—сказал хитрый калабриец,—Не погнушайтесь моей бедной каюткой; там вам будет удобнее и безопаснее говорить о нашем деле.

Хотя Аннина и была вообще недоверчива, но она направилась к каюте. Джино ждал только этой минуты. Он быстро прыгнул в лодку и сильным ударом весла оттолкнул ее от берега. Аннина заметила его уловку.

— Джино мне говорил, что у тебя есть лодка, которой я могу воспользоваться, когда мы окончим нашу беседу,—сказала она моряку, не выдавая своего беспокойства.

— Вся моя фелука к вашим услугам,—отвечал тот, галантно помогая ей спуститься в каюту...

Почувствовав себя на свободе, Джино разогнал лодку и вскоре очутился в узком канале, который отделял Дворец Дожей от тюрьмы; он проскользнул под аркой, поддерживающей крытую галлерею, которая вела из верхних этажей дворца к тюрьмам. Эта галлерея и называлась Мостом Вздохов. Гондола замедлила ход и подплыла к лестнице. Выпрыгнув на первую ступеньку, Джино воткнул маленькое железное копье в трещину между камнями и привязал к нему лодку. После этого он прошел под массивной аркой дворца и вошел в его обширный темный двор.

Место это было совершенно пустынно, хотя и находилось рядом с оживленной площадью; под тяжелыми сводами, окружавшими двор, слышались только мерные шаги часовых. Прежде чем Джино успел выйти из темного прохода, две или три фигуры показались в противоположном углу двора и сейчас же исчезли в воротах, вмешавшись в толпу на площади, на которую дворец выходил другим своим фасадом.

Обманутый в ожидании немедленно встретить здесь того, кого он искал, гондольер вышел на середину двора и громким покашливанием дал знать о своем присутствии. Он заметил приближавшуюся к нему фигуру. При слабом свете луны можно было видеть, что подходивший был в маске.

— Если я не ошибаюсь, вы—тот, кого я ищу здесь,—сказал гондольер.

Незнакомец, казалось, намеревался пройти мимо, но остановился и отвечал:

— Может быть, да, а может быть, и нет! Сними маску, чтобы я мог видеть, с кем имею дело.

— В таком случае, я тоже хотел бы видеть вас без маски, чтобы убедиться, что вы тот, к кому я послан.

— Я вижу, что ты осторожен. Это похвально. Но я все-таки не сниму маски и пойду дальше. Вижу, мы не столкнемся.

— Синьор, вы слишком поспешны в своих решениях. Посмотрите на это кольцо с печатью: может быть, оно вам объяснит что-нибудь.

Незнакомец взял перстень и с видом удивления и удовольствия стал рассматривать изображение, вырезанное на камне перстня.

— Это неаполитанский сокол, герб владетеля святой Агаты,—сказал он.

— Не считая тех владений и титулов, которых он добивается в Венеции,—подтвердил Джино.—Скажите мне теперь, синьор: вы действительно тот, кому я должен передать мое поручение?

— Перед тобою тот, чьи мысли заняты исключительно доном Камилло Монфорте. Но, кроме этого кольца, ты должен мне передать еще кой-что.

— Совершенно верно. Я должен передать пакет, когда узнаю, что не ошибаюсь в личности.

Незнакомец задумался на мгновение и, осмотревшись вокруг, прибавил:

— Здесь неудобно снимать маски. Подожди меня, я сейчас вернусь и проведу тебя в более надежное место.

Незнакомец быстро отошел. Он поднялся по мраморной Лестнице Гигантов<sup>1</sup> и приблизился к первому из отверстий, сделанных в стене дворца. Отверстия эти, известные под названием „Львиной Пасти“<sup>2</sup>, служили приемниками тайных доносов. Незнакомый бросил что-то в это отверстие и скрылся.

Джино побежал было за ним, но, очутившись на многолюдной площади Пьяцетты, понял бесполезность преследования. Но желание вернуть кольцо с печатью донна Камилло поддерживало в нем надежду отыскать в этой праздной толпе похитителя. Он, тревожно переходя с места на место, несколько раз заговаривал с масками, которые казались ему подозрительными, но смех и грубые ответы убеждали его в ошибке. Он заглядывал в каждую кофейню, внимательно рассматривая посетителей, как вдруг легкий удар по плечу заставил его остановиться. Перед ним стояла женщина в костюме трактирщицы. Измененным голосом она заговорила с ним.

— Почему ты так торопишься? И что ты потерял в этой толпе? Не сердце ли? Тогда надо поторопиться отыскать его, а то на него найдется много охотников!

<sup>1</sup> Лестница Гигантов—на верхней площадке ее короновались дожи.

<sup>2</sup> Львиные Пасти были разбросаны в разных частях Венеции.

— И на здоровье!—отвечал обескураженный гондольер.— Скажи мне лучше, не видела ли ты здесь замаскированного... Он среднего роста, по походке его можно принять за сенатора или за священника, а может быть, и за торговца.

Джино не успел окончить своего описания, как рядом появился арлекин. Паяц ударил его по плечу своей трещоткой... Кто-то сзади нахлобучил ему шапку на нос...

Протокавшись сквозь толпу, гондольер добрался до набережной. Здесь он свободнее мог наблюдать. Джино остановился, раздумывая: вернуться ли к герцогу или еще попытаться вернуть так глупо потерянный перстень... Он заметил, что здесь он был не один: кто-то, облокотившись на подножье статуи льва, стоял неподвижно. Несколько праздношатающихся подошли было к этому человеку, но поспешно с видимым испугом удалились от него. Джино счел нужным взглянуть поближе на человека, один вид которого, казалось, возбуждал страх и отвращение. Приблизившись, он узнал того, кого так долго искал. Первым побуждением гондольера было отойти скорее прочь, но, вспомнив о поручении и о потере, он остановился. Но Джино не заговорил и с видом смущения смотрел на браво<sup>1</sup>.

— Что тебе надо?—спросил гондольера Джакопо после нескольких минут молчания.

— Отдайте мне печать моего хозяина!

— Я тебя не знаю!

— Правда, я не имею удовольствия быть вашим другом, но ведь приходится иметь дела и не с приятелями. Пожалуйста, если вы—тот, кому неосторожный гондольер по ошибке передал перстень своего хозяина, то будьте великодушны, верните мне его, ведь для вас он не имеет никакой ценности.

— Ты со мной разговариваешь, словно с каким-нибудь ювелиром из Риаьто.

— Нет, я знаю, что вы известны в высшем обществе Венеции, и доказательством этого может быть поручение моего хозяина.

— Сними маску. Честные люди не нуждаются в масках.

— Вы правы, синьор! Но если вам это безразлично, то я хотел бы воспользоваться правом карнавала, когда в Венеции почти все ходят замаскированными... Я должен вам передать один пакет.

— Но я тебя не знаю. У тебя есть имя?

— Нет... По крайней мере, вам мое имя так же известно, как имя младенца, которого вам бы подкинули.

— Если твой хозяин так же неизвестен мне, как и его слуга, то не трудись передавать его поручение.

— Имя герцога святой Агаты известно в Венеции.

— Почему ты прямо не говоришь, что ты от донна Камилло Монфорте? Чем я могу быть ему полезен?

— Каково бы ни было содержание этих бумаг, по распоряжению герцога я должен их вам передать.

<sup>1</sup> Браво—множественное число брави, так в Италии назывались смельчаки-готовые за особую плату на всякие преступления. Браво—это вообще название вора и мошенника. (Прим. ред.)

Браво спокойно взял конверт. В его взгляде, остановившемся на печати и надписи, блеснуло выражение, которое доверчивый гондольер мысленно сравнил со взглядом тигра, любующегося своей добычей.

— Да, ты упоминал еще о кольце; оно с тобой? Я не люблю действовать наобум.

— В том-то и беда, что я его отдал кому-то, приняв его за вас. Но может быть, вы знаете почерк моего хозяина,—сказал поспешно Джино.— По изложению вы сейчас узнаете, что это писал герцог Монфорте. Он мастер писать: лучше пишет, чем даже я сам.

— Но я не учился разбирать такие каракули. Скажи, кому адресован этот пакет?

— Я не смею произнести ни одного слова относительно тайны моего хозяина. Достаточно с меня и того, что он доверил мне это поручение.

Браво окинул гондольера таким взглядом, что у того вся кровь застыла в жилах.

— Я тебе приказываю громко прочесть, кому адресованы эти бумаги. Здесь нет никого, кто бы мог нас услышать.

— И у стен есть уши, синьор! Но если вы этого требуете, то... мы лучше отложим этот экзамен до более удобного случая.

— Шутки в сторону! Скорей! Или имя, или какую-нибудь вещь твоего хозяина. Иначе это дело меня не касается.

— Синьор Джакопо, подумайте о последствиях, которые будет иметь такое быстрое решение.

— Не понимаю, какие последствия могут грозить человеку, который не хочет принять посылку, не убедившись в том, что она адресована ему.

— За это мне герцог обкорнает уши так, что я не буду уже никогда в состоянии слушать добрые советы.

— Ну, так что же! Он этим только облегчит работу палача...

Сказав это, браво бросил пакет к ногам гондольера и спокойно направился к Пьяцетте. Джино поднял пакет и закричал ему вслед:

— Я удивляюсь, что вы со всей вашей пронизательностью не поняли, что адресованный вам пакет должен носить ваше собственное имя.

Браво взял конверт и повернул его к лунному свету.

— Хотя я и не могу похвалиться большой ученостью, но необходимость научила меня разбирать мое имя, если оно написано. Теперь ты можешь отправляться, а я подумаю об этом деле.

Джино, радостный, направился домой. Но едва он сделал несколько шагов, как женская фигура скользнула между гранитными колоннадами. Джино узнал ее и догадался, что Аннина была свидетельницей его беседы с бравом.

#### ГЛАВА IV

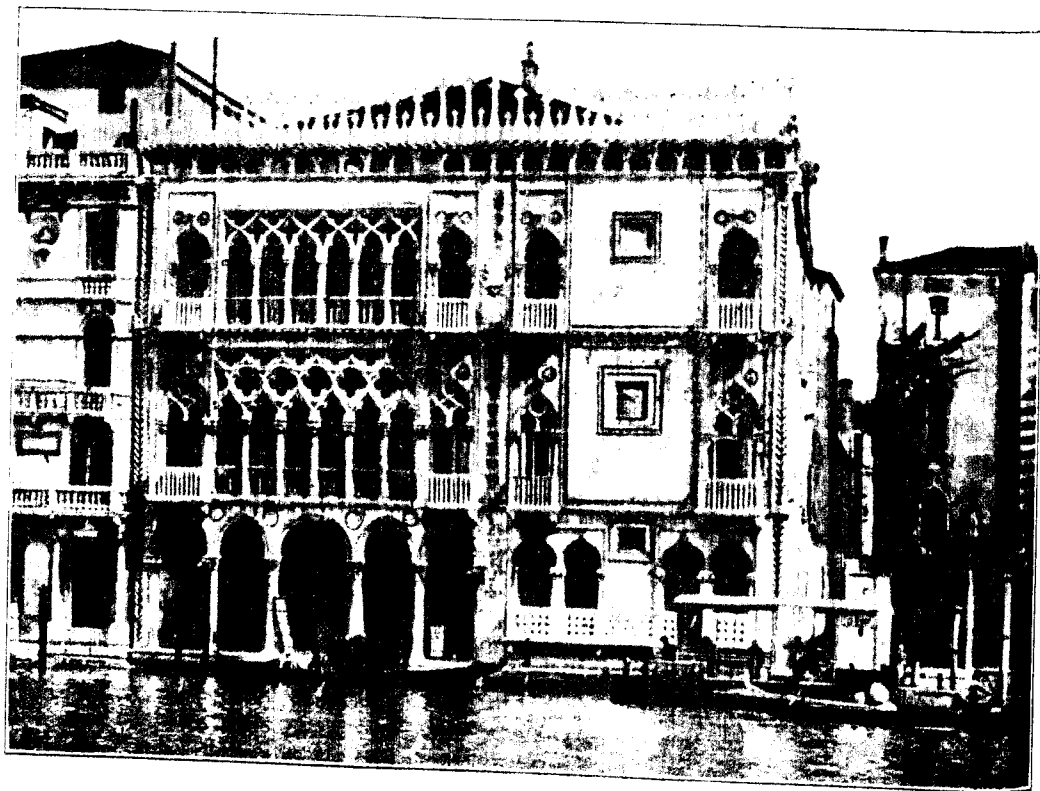
Дворец Пьеполо был одним из богатейших патрицианских<sup>1</sup> домов Венеции.

Богатство и роскошь заметны были всюду. Просторная сводчатая прихожая с широкой мраморной лестницей вела в обширные

<sup>1</sup> Патриция—итальянская знать. Это наименование перешло от времен древнего Рима. (Прим. ред.)

комнаты, изобиловавшие позолотой и скульптурой, на стенах висели картины известных художников Италии; большие зеркала занимали остальную часть стен, тяжелые бархатные и шелковые портьеры и паркет из лучшего итальянского мрамора дополняли красоту этой обстановки.

Длинный ряд приемных покоев и парадных зал вел в отдаленную часть дворца, обращенную на берег канала. Хотя здесь все было так же богато и роскошно, но чувствовалась большая простота. Здесь владелица этого дворца беседовала с своим духовником и с родственницей-компаньонкой. Виолетта Пьеполо была так молода, что где-нибудь на



Венецианский дворец.

севере ее считали бы еще девочкой, но в родной стране пропорциональность форм и выражение черных глаз обнаруживали в ней зрелость и ум женщины.

— Я вам так благодарна за ваш добрый совет, отец, и знаю, что милая донна Флоринда разделяет вполне мою признательность. Ваши с ней мнения имеют так много общего, что я иногда удивляюсь, как под влиянием житейской опытности доброта и благоразумие, действуя заодно, отодвигают на задний план личные интересы.

Строгие очертания рта монаха при этом замечании его юной ученицы оживились легкой улыбкой.

— С годами ты узнаешь, что в этом заключается минимум наших страстей и интересов, который мы разрешаем себе в границах осторожности и беспристрастия. Хотя донна Флоринда еще в том возрасте, когда многое привязывает к жизни, она, надеюсь, сумеет укрепить тебя в этой истине.

При этих словах кармелита<sup>1</sup> бледные щеки компаньонки вспыхнули ярким румянцем, и ее лицо выразило радость.

— Я надеюсь, что Виолетта и раньше слышала об этом, — тихо сказала Флоринда.

— Было бы очень грустно, если бы от меня скрывали то, что нужно знать в моем возрасте, — отозвалась Виолетта. — Но почему Сенат<sup>2</sup> вмешивается в судьбу девушки, когда та вполне довольна скромной жизнью, которую она ведет?

— Время беспощадно, и мало ли что придется тебе узнать в жизни. Она часто налагает тяжелые обязанности. Ты знаешь политику государства, которое создало свою славу военными подвигами, богатством и обширным влиянием на другие нации. В Венеции есть закон, запрещающий родниться с иностранцами, потому что здесь каждый должен служить прежде всего интересам правительства республики. Наши патриции не могут владеть иностранными землями, и женщина такого громкого имени, как твое, не может выйти замуж за иностранца без согласия сенаторов.

— Ах, было бы лучше, если бы я не принадлежала к знати! Мне думается, что, находясь под такой строгой опекой Совета Десяти, женщина не может быть счастлива.

— Мне грустно, но я должна тебе сказать, что говорить так нельзя, — отвечала наставница. — Приходится повиноваться законам. Мне непонятно, чем ты недовольна. Ты молода, богата, красива, знатного рода, и ты еще жалуешься на судьбу.

— Я извиняюсь, если я оскорбила кого-нибудь, — ответила Виолетта. — Но было бы гораздо лучше, если бы отцы государства занимались более важными делами и оставили бы шестнадцатилетнюю девушку в покое вместе с ее происхождением и богатством.

— Забота, которую проявляет республика к твоей судьбе, это — цена богатства и роскоши, окружающих тебя, — сказал в свою очередь монах. — Другая женщина, которой судьба менее благоприятствует, могла бы наслаждаться свободой, но эта свобода не была бы украшена пышностью.

— Я бы хотела, чтобы вокруг меня было меньше роскоши, но больше свободы.

— Но я не отрицаю, что преимущества, которыми ты пользуешься, имеют некоторые неудобства. Политика Венеции корыстна и безжалостна. Голос монаха понизился, и он боязливо посмотрел вокруг. — Сенат считает своей обязанностью предупреждать, насколько возможно, союз интересов, невыгодных для него. Я уже тебе говорил, что сенатор не может иметь владений за пределами республики, и лицо знатного происхождения не может вступить в брак с иностранцем без согласия на то Сената. Ты в таком же положении. Среди всех иностранцев, которые ищут твоей руки, Совет не видит ни одного достойного. Дон Камилло Монфорте, —

<sup>1</sup> Кармелиты — один из католических монашеских орденов.

<sup>2</sup> Сенат — высший правительственный орган в Венеции.

человек, которому ты обязана жизнью, и о котором ты недавно говорила с такой признательностью,—имеет больше тебя прав жаловаться на эти суровые постановления.

— Мое недовольство было бы еще больше, если бы я думала, что молодой человек, проявивший по отношению ко мне столько мужества, боится этой строгости,—возразила живо Виолетта.—Какой счастливый случай привел его в Венецию? Я полагаю, что могу спросить об этом без стеснения.

— Твой живой интерес к нему вполне понятен и даже похвален. Он молод и имеет свои слабости. Не забывай того, что он сделал для тебя. Его дела всем известны в городе; ты же о них не слышала лишь благодаря твоей замкнутой жизни.

— У моей ученицы, помимо этого, есть более интересные занятия,—заметила донна Флоринда.

— Я хочу знать, чего он добивается,—спросила Виолетта.

— Он все не может добиться в Сенате, чтобы его утвердили в правах его предков-сенаторов.

— Почему же ему в этом отказывают?

— Да ведь по существующему закону он должен отказаться от своих владений в Калабрии. Я плохо знаю законы, но противники нашей республики говорят, что трудно нести те обязательства, которые она налагает, и что за свои милости она требует слишком много.

— Разве это справедливо?

— Ты молода и высказываешься чересчур откровенно!

Монах с беспокойством взглянул на прекрасную венецианку. В его взгляде мелькнули заботливость и беспокойство.

— Сохрани благодарность к нему за спасение твоей жизни!

— Это чувство благодарности не принесет ему пользы, отец. У меня достаточно родства и связей, чтобы хлопотать в Сенате о деле дона Камилло.

— Будь осторожна, дочь моя, твое вмешательство может только повредить дону Камилло: твои интересы противоречат интересам Сената.

Монах нагнул капюшон на лицо и собирался уходить. Виолетта подошла под благословение. Монах поднял руки над склонившейся компаньонкой. Губы его зашевелились, но слов нельзя было расслышать. Если бы Виолетта была более наблюдательна, то эта молчаливая сцена открыла бы ей тайну глубокой симпатии, связывавшей монаха и компаньонку.

После ухода монаха Виолетта вышла на открытый балкон. Все было тихо. Вдруг раздались звуки гобоя<sup>1</sup>. Виолетта испуганно отступила с балкона.

— Толпа молодежи дает серенаду нашей милой Оливии под окнами дворца Ментони,—сказала девушка.—Ночь так хороша, что мне захотелось проехаться в лодке. Кстати, я должна передать свои работы моему опекуну. Съездим к нему?

Отложив в сторону работу, донна Флоринда согласилась исполнить желание Виолетты.

Лакей позвал гондоляеров, и дамы, завернувшись в мантильи и захватив с собой маски, сошли вниз и сели в гондолу.

<sup>1</sup> Г о б о й—музыкальный духовой инструмент. (Прим. ред.)

## ГЛАВА V

Гондола подвезла венецианку и ее спутницу ко дворцу патриция, которому Сенат поручил опеку над богатой наследницей. Это было старинное здание, отличавшееся богатством и роскошью, как и большинство патрицианских домов того времени.

Так как обе приехавшие дамы были частыми посетительницами дворца синьора Градениго, то они поднялись по массивной лестнице, не обращая внимания на оригинальность архитектуры, которая невольно привлекла бы взор непривычного посетителя. Положение донны Виолетты давало ей право на немедленный прием! Пройдя длинный ряд комнат, она остановилась во внутренней прихожей, опасаясь побеспокоить своего опекуна. Но ей не пришлось долго ждать: синьор Градениго поспешил ей навстречу. Лицо старика выражало неподдельную радость. Он не хотел слушать извинений за поздний приход и, предложив ей руку, повел Виолетту в кабинет.

— Мне всегда приятно видеть тебя, моя дорогая; ведь ты дочка моего старого друга, драгоценное сокровище Венеции. Двери моего дворца всегда открыты для тебя. И я буду счастлив разрешать твои сомнения и исполнять твои капризы.

— Я очень признательна вам,—отвечала Виолетта,—но боюсь, что я беспокою вас своей просьбой в тот самый момент, когда вы очень заняты делами государства.

— К сожалению, мой возраст и мои болезни не позволяют мне заниматься делами республики, как бы я того хотел. Но все обстоит лучше, чем можно было ожидать; договор с императором для нас очень выгоден, неприязнь Рима смягчена. Этим мы обязаны одному молодому неаполитанцу: он имеет хорошие связи при дворе папы через своего дядю...

— Вы так добры ко мне, синьор, и я не скрою от вас, что сегодня, кроме желания видеть вас, меня привело сюда намерение воспользоваться вашей добротой для одного дела,—скромно, но решительно обратилась к старику донна Виолетта.

— Посмотрите, донна Флоринда, наша питомица унаследовала от своих предков и привычку покровительствовать. Я одобряю это от всей души. Я только замечу тебе, что надо быть осторожной и, делая добро одному, не повредить этим другому. Так в чем же дело? За кого ты хлопочешь? За кого-нибудь из твоих служащих, за твою кормилицу?

— Нет, синьор, моя просьба гораздо важнее...

— В наш век, в век новых веяний, нельзя слишком сурово относиться к новшествам,—серьезно и даже сурово сказал синьор Градениго.—Но если бы Сенат не пресекал все сумасбродные теории молодости, то их пагубное влияние проникло бы в народ... Да, я многое согласен исполнить. Если ты нуждаешься в деньгах, проси у меня, сколько хочешь... Но помни, я не пожалею того, кто нарушает покой нашей республики.

Это неожиданное предупреждение смутило Виолетту, но она поборола смущение и сказала твердо:

— Вам известно, синьор Градениго, что я не отблагодарила еще за оказанную мне услугу.

— Дело принимает серьезный оборот. Донна Флоринда, наша Виолетта очень взволнована, и я просил бы вас объяснить мне все подробнее.

— Хотя я не совсем в курсе дела,—отвечала компаньонка,—но, насколько ты могла понять, я думаю, что это относится к спасению жизни Виолетты...

Лицо синьора Градениго стало серьезным.

— Теперь я понимаю. Правда,—сказал он, обращаясь к девушке,—дон Камилло прилетел к тебе на помощь как-раз в тот самый момент, когда ты могла пойти ко дну вслед за своим дядей. Но дон Камилло не какой-нибудь гондольер, чтобы ждать за это подачки. Ведь ты его поблагодарила, и этого вполне достаточно.

— О, да! Я вечно останусь ему признательна.

— Я вижу, донна Флоринда, что ваша ученица увлекается романами; ей не мешало бы почитать и молитвенник.

— Синьор, если я не оправдываю достаточно доверия моих наставников, то в этом виновата одна я,—с живостью заметила девушка. Дон Камилло Монфорте давно хлопочет в Сенате о восстановлении его в правах предков. Вы, синьор, пользуетесь там большим доверием, и если бы вы ему оказали поддержку, Венеция потеряла бы в доходах, но зато приобрела бы славу честности, которой она так добивается.

— Ты была бы хорошим адвокатом, милая. Хорошо, я подумаю о твоей просьбе,—сказал дон Градениго, снисходительно улыбаясь.

Донна Виолетта, обрадованная этим обещанием, схватила протянутую ей опекуном руку и с жаром поцеловала ее. Это волнение показало подозрительным старику.

— Ты слишком хороша, и всякий бы на моем месте не устоял против твоей просьбы. Что касается прав донна Камилло... Да, положим, все равно, ты этого хочешь, и дело будет рассмотрено с тем снисхождением, в котором так часто упрекают наше правосудие.

— Вы хотите сказать, что будете тверды, но не бесчувственны к интересам иностранца.

— Я боюсь, как бы подобное толкование не разрушило наших надежд. Но я рассмотрю дело... Ну, а теперь о другом. О моем сыне. Я надеюсь, что, ради любви ко мне, ты считаешь его своим другом.

— Двери моего дворца всегда открыты для синьора Джакомо,—сказала холодно Виолетта.—Сын моего опекуна всегда приятный гость для меня.

— Я очень рад этому и желал бы, чтобы он убедил тебя в своем расположении к тебе... Но в наше время осторожность—высшая добродетель. И если юноша немного робок, то, будь уверена, это из боязни преждевременно внести беспокойство в среду лиц, интересующихся твоей судьбой, моя девочка.

Обе женщины поклонились и запахнули свои мантильи: нетрудно было догадаться, что они собирались уходить. Донна Виолетта подошла к старику, и, простившись с ним, женщины вернулись на гондолу.

Синьор Градениго молча прошелся несколько раз по комнате. В обширных покоях его дворца было тихо; но эта тишина вскоре была нарушена приходом молодого человека. По виду и по манерам в нем сразу можно было распознать кутилу. Он с шумом вошел в кабинет отца.

— Как всегда, тебе не повезло сегодня, Джакомо,—сказал синьор Градениго с отеческой снисходительностью, к которой примешивался и упрек.—Донна Виолетта только-что ушла от меня. А ты, верно, возвращаешься со свидания с дочерью какого-нибудь ювелира.

— На этот раз вы ошибаетесь, отец,—возразила молодой человек,—ни сам ювелир, ни даже банкир, ни его дочь мне теперь не интересны.

— Гм... Это что-то необыкновенное. Я бы хотел, Джакомо, чтобы ты сумел воспользоваться тем случаем, который представляет моя опека над донной Виолеттой, и понял бы всю важность того, что я тебе советую.

— Будьте покойны, батюшка. Я довольно страдал от недостатка того, чего у донны Виолетты имеется с избытком, чтобы пропустить такой лакомый кусок. Отказывая мне в моих нуждах, вы как бы заручились моим согласием на этот счет.

— Теперь не до упреков, Джакомо, пойми: иностранец—твой соперник. После происшествия на Джудекке он победил сердце Виолетты. Она бредит им и совершенно не думает о тебе. Ты не забыл сообщить Совету об опасности, которая угрожает нашей наследнице миллионов?

— Да, я напомнил.

— И каким образом?

— Самым простым, но самым надежным... Лыбиная Пасть...

— Да, это решительный поступок.

— И, как все рискованные,—наиболее выигрышный. Наконец-то мне повезло, и в доказательство я мог представить кольцо с печатью неаполитанца.

— Ты не понимаешь опасности твоего поступка. Я боюсь, как бы не узнали почерка на твоем сообщении. А каким образом ты достал перстень?

— Будьте покойны! Если я иногда и не слушался ваших советов, то я их помнил. Неаполитанец погиб, и если Совет, в котором и вы, отец, состоите, будет себе верен, то наш враг будет отдан под надзор, если не выслан.

— Совет Трехсот исполнит свой долг, в этом нечего сомневаться; я буду счастлив, если твое усердие не повлечет за собой никаких нежелательных последствий,—многозначительно заметил старый сенатор.

Но молодой человек, привыкший к интригам и доносам, отнесся к предостережению отца с обычной беспечностью и вышел из комнаты, насвистывая что-то. Сенатор остался один. По его походке можно было заметить, что он был сильно озабочен. В это время какая-то фигура скользнула вдоль соседней полутемной комнаты и остановилась в дверях кабинета. Это был пожилой человек с загорелым лицом и седыми волосами. По одежде из грубой и дешевой материи в нем можно было узнать рыбака. Но было что-то благородное в его выразительных глазах; мускулы его голых рук и ног говорили о большой физической силе. Он мял в руках шапку.

— А, это ты, Антонио,—сказал патриций.—Что тебе надо?

— Синьор, у меня есть кой-что на душе.

— Вероятно, буря опять помешала твоему улову. Возьми вот! Ты—мой молочный брат, и я не хочу, чтобы ты нуждался.

Рыбак отступил с достоинством, не приняв подачки.

— Я не прошу милостыни, синьор; ведь, кроме денет, есть еще другие нужды и страдания.

Сенатор испытующе посмотрел на него и, прежде чем ответить, запер дверь кабинета.

— Как всегда ты всем недоволен, Антонио! Ты привык толковать о вещах, которые выше твоего понимания. Ведь тебе известно, что твои убеждения навлекли уже на тебя недовольство государства. Народ и бедняки должны слушаться, а не критиковать. Чего ты добиваешься на этот раз?

— Вы меня не понимаете, синьор: я привык к бедности и к нужде. Сенат—мой хозяин. Я признаю это. Но при всей бедности меня нельзя лишать человеческих чувств.

— Опять о своих чувствах! Ты о них говоришь при всяком удобном случае, Антонио, как-будто они важнее всего.

— Да, они важны для меня, синьор. Несмотря на то, что я мало придаю значения личным интересам, на этот раз я должен побеспокоить вас просьбой. С раннего моего детства я привык слышать от той женщины, которая была нашей общей кормилицей, что после моих родителей я больше всего должен любить ваше семейство. Я не ставлю себе в заслугу мою природную чуткость, но все же скажу, что правительство не должно легкомысленно относиться к людям, умеющим чувствовать.

— Опять правительство виновато! Ну, говори, чего ты хочешь?

— Вам, синьор, известна история моей скромной жизни. Я не стану вам говорить о моих детях, которых судьба отняла у меня одного за другим. Да, лишиться пяти славных честных сыновей! Но я примирился с этим.

— Можно позавидовать твоей покорности, Антонио. Знаешь ли, иногда легче перенести смерть ребенка, чем его ошибки при жизни.

— Ах, синьор, мои дети только смертью и причинили мне горе. Но и тогда я старался утешить себя тем, что больше им не придется страдать.

Старик отвернулся, чтобы скрыть волнение.

Губы сенатора задрожали, и он быстро прошелся по комнате.

— Теперь я хлопочу за живых,—продолжал рыбак.—Я прошу вашей помощи, чтобы спасти моего внука от галер<sup>1</sup>. Государство посылает его, четырнадцатилетнего мальчика, сражаться с турками, не обращая внимания ни на его годы, ни на мою старость и одиночество: его отец убит в последнем сражении с турками же.

Остановившись, рыбак посмотрел в глаза сенатора, но тот оставался бесстрастным. Расчет старого политика заглушал в нем всякую человечность, особенно когда дело касалось военных дел республики.

— Я бы хотел, чтобы ты обращался ко мне только за материальными нуждами, Антонио. Твой внук не подвергается большим опасностям, чем другие. Ты знаешь, что республика нуждается в службе всех своих подданных.

<sup>1</sup> Гале ры — гребные суда, на которых применялся труд каторжников. В данном случае просто военные суда. (Прим. ред.)

— Точно так, синьор! А вот я сейчас встретил синьора Джакомо, вашего сына,—он прогуливается в гондоле...

— Замолчи сейчас же!

— Мои дети меня никогда не огорчали при жизни,—проговорил рыбак тихо, но мрачно.

Синьор Градениго почувствовал резкую ноту этого упрека. Пройдясь несколько раз молча по комнате, он настолько овладел собой, что мог ответить спокойно.

— Антонио, твоя смелость и твой резкий характер мне давно известны. Если тебе нужны молитвы за умерших и материальная поддержка, я готов помочь тебе; но, прося моего ходатайства перед командиром галерного флота, ты просишь невозможного в это критическое время даже для дожа, если бы дождь был...

— Рыбак!—докончил Антонио, видя, что сенатор прервал его речь.—Прощайте, синьор!

— Антонио поклонился и вышел. Он ушел незамеченным, потому что сенатор избегал взгляда рыбака, чувствуя справедливость его слов. Прошло несколько минут. Новый шум заставил старика очнуться: дверь отворилась, и лакей доложил о приходе какого-то человека, который просил аудиенции.

— Пусть войдет!—ответил сенатор, придавая своему лицу обычное выражение.

Лакей удалился, и в комнату быстро вошел человек в маске и в плаще. Он снял маску и плащ. Сенатор узнал страшного браво Джакомо.

## ГЛАВА VI

— Заметил ли ты человека, который сейчас вышел от меня?—спросил поспешно сенатор.

— Да, синьор. Это Антонио, рыбак с лагуны.

— Тебе приходилось иметь с ним дело?

— Никогда, синьор.

— Но ты ручаешься, что он?..

— Молочный брат вашей светлости.

— Я тебя не спрашиваю о его детстве, о его происхождении, но о его настоящем положении,—резко оборвал синьор Градениго, избегая пронизательного взгляда Джакомо.—Ты слышал о нем что-нибудь от рыбаков?

— Нет, синьор, по роду моей службы мне не приходится возвращаться среди рыбаков.

— Скажи, в качестве кого тебе известен Антонио?

— В качестве человека, уважаемого среди его собратьев, человека ловкого, трудолюбивого,—одним словом, знатока своего дела.

— Не хочешь ли ты сказать, что он контрабандист?

— Нет, он занят с раннего утра до позднего вечера ловлей рыбы в лагунах, и ему некогда заниматься другими делами.

— Тебе известна, Джакомо, строгость наших законов, касающихся государственных доходов?



— Как же, я знаю, что приговор святого Марка всегда очень суров, если нарушаются его денежные интересы.

— Я не спрашиваю твоего мнения на этот счет! Так вот, этот человек имеет привычку искать популярности у своих собратьев и заниматься делами, о которых могут судить только представители власти.

— Синьор, он стар, а с годами люди становятся смелее.

Сенатор недоверчиво посмотрел на браво, словно желая прочесть в его лице точное значение его слов.

— Несмотря на годы, этот человек неосторожен в своих словах, и я боюсь как бы он не повредил себе этим. Я люблю этого человека; вполне естественно быть несколько пристрастным к тому, кто был вскормлен с тобой одной и той же грудью.

— Вы правы, синьор.

— Так вот, ради этого я хотел бы, чтобы он был осторожнее и сдержаннее. Тебе известен его взгляд на призыв во флот всех молодых людей из рыбаков?

— Я знаю, что у него отняли внука, который работал вместе с ним.

— Да, чтобы с честью, а может быть, и с выгодой служить республике!

— Может быть, синьор.

— Ты сегодня не разговорчив, Джакопо! Но, если ты знаешь этого рыбака, посоветуй ему быть осторожнее. Ведь Сенату может наскучить недовольство тех, о благосостоянии которых он заботится с отеческой любовью.

Браво поклонился в знак согласия, а сенатор с беспокойством ходил по комнате.

— Ты слышал о постановлении суда по делу генуэзца?—спросил он.— Приговор был вынесен немедленно, и, хотя говорят о вражде между нами и Генуэзской республикой, Европа, надеюсь, может убедиться в беспристрастии нашего суда. Ну, скажи, что говорят о нашем беспристрастии и особенно о быстроте суда? Заметь, ведь нет и недели, как это дело представлено на суд.

— Ничего нельзя сказать против той быстроты, с которой республика наказывает обиды.

— Да, у нас правосудие идет навстречу общественным нуждам. И так, быстрота последнего постановления служила темой для разговоров этой ночью?

— Синьор, венецианцы не знают, как нахвалиться своим правительством.

— Действительно, ты так думаешь, Джакопо? А мне кажется, что они охотнее высказывают недовольство. Положим, осуждать и скупиться на похвалы—это в натуре человека. Этот приговор не должен пройти мимо внимания венецианцев. А у кого постоянно перед глазами будут примеры справедливости, тот в конце-концов полюбит эту добродетель. Немногие республики способны на такое беспристрастие, когда дело идет об их интересах.

— Каким образом республика может отвечать за какого-нибудь торговца, синьор?

— Через посредство своих граждан. Тот, кто налагает наказание на своих подданных, страдает несомненно. Ведь какой палец ни укуси, все равно больно. Не правда ли, Джакопо?

— Так-то оно так! Но и пальцы бывают разные, синьор.

— Тот, кто тебя не знает, Джакопо, может тебя принять за противника нашего строя. Ни один воробей не упадет в республиканской Венеции, не причинив горя сердцу Сената... Скажи мне теперь: ропот торговцев относительно уменьшения золота все еще продолжается? Теперь не так легко разжиться цехинами<sup>1</sup>, как раньше, а между тем жадность влечет их к золоту.

— Ну, нет, судя по лицам, которые я встречал за последнее время на Риаальто, нельзя сказать, что их дела плохи.

— Гм... Так вот оно как... Среди них, правда, немало таких, которые дают займы нашим молодым людям под проценты.

— Я слышал, что синьор Джакомо приносит им дохода больше, чем остальные.

— Что? Мой сын, мой наследник! Не обманываешь ли ты меня?

— Известно, что ваш сын слишком широко распоряжается деньгами...

— Это важное сведение. Очень важное! Надо как можно скорее убедить юношу в важности последствий его неблагоразумия... А ростовщик, пользующийся его неопытностью, будет наказан. И, в назидание, долг будет конфискован в пользу должника. Я считаю своей святой обязанностью заняться этим делом. Ну, а приходилось тебе за это время выступать в твоей главной роли—„исправителя чужих ошибок“?

— Важного делать ничего не приходилось... Есть один, который сильно ко мне пристаёт, но я еще не знаю, чего он от меня добивается.

— Твое дело щекотливого свойства, но не забудь—награда обеспечена.

При этих словах глаза браво блеснули гневным огнем.

— Сенат бывает суров,—продолжал сенатор,—но его милости безграничны, и его прощение искренно. Мне трудно убедить тебя в этом, Джакопо... Нет, каково это!.. Скажите на милость, этот выродок тратит свое добро на пользу ростовщиков! Не могу я этого допустить... Но ты мне еще не сказал, Джакопо, кто именно ищет твоих услуг... О нем надо донести.

— На него нечего доносить, потому что он хочет иметь дело с тем, с кем почти преступно быть в каких-нибудь сношениях.

— Лучше предупредить преступление, чем довести его до наказания. Такова должна быть цель всего правления. Так ты не хочешь назвать его имени?

— Это один благородный неаполитанец, который уж давно живет в Венеции из-за дел, касающихся значительного наследства.

— А, это дон Камилло Монфорте. Не правда ли, неприятная личность?

— Он самый, синьор.

Молчание было нарушено звоном часов с колокольни. Пробыло одиннадцать часов...

— Хорошо, Джакопо. Твоя верность и твоя аккуратность не останутся без награды. Не забудь про рыбака Антонио: его ропот может навлечь

<sup>1</sup> Цехини—золотая монета. (Прим. ред.).

на него недовольство Сената: кроме этого, следи за тем, что происходит среди торговцев на Риальто. Что касается этого иностранца... возьми скорее твою маску и плащ и присоединись к любителям вечерних развлечений... Ступай к ним на площадь.

Браво быстро исполнил приказание с ловкостью человека, привыкшего к переодеваниям, и со спокойствием, которому мог бы позавидовать и сам сенатор. Дон Градениго нетерпеливым движением руки торопил Джакопо.

Когда дверь за браво закрылась, сенатор посмотрел на часы и начал ходить по комнате. Час спустя послышался стук в дверь, и человек в маске вошел в кабинет.

— Очень счастлив видеть вас у себя, дон Камилло,—сказал сенатор в то время, как пришедший снимал плащ и маску.—Судя по времени, я думал, что буду лишен удовольствия видеть вас сегодня.

— Простите великодушно, но вечерняя свежесть, уличное оживление, несмотря на боязнь лишиться вас драгоценного времени, задержали меня дольше, чем я рассчитывал. Но я надеюсь на вашу всем известную доброту, синьор Градениго.

— Точность властителей южной Италии—не самое значительное среди их качеств,—ответил сухо сенатор.—Молодежь обыкновенно думает, что жизнь длинна, и не дорожит уходящими минутами, между тем нам угрожает старость, и мы уже стремимся загладить потери юности. Однако, не будем терять времени. Можем ли мы рассчитывать на что-нибудь от испанца?

— Я все сделал, чтобы возбудить благоразумие этого человека и доказать ему всю необходимость приобрести уважение Сената.

— Вы действовали разумно, синьор. Сенат—это щедрый казначей для того, кто ему верно служит, но он заклятый враг того, кто вредит государству. Я надеюсь, что ваше дело о наследстве приходит к концу.

— Да, мне хотелось бы самому так думать. Я все сделал, чтобы подвинуть процесс, а он, между тем, подает не больше надежд, чем здоровье чахоточного. Если я не покажу себя достойным сыном святого Марка в деле испанца, то только по неопытности в политических делах, но никоим образом не от недостатка усердия.

— Вам надо действовать осторожнее, чтобы заслужить расположение патрициев, дон Камилло, и новыми заслугами перед посланником доказать вашу преданность государству. Ваша любящая душа почувствует себя удовлетворенной, узнав, что служа своей стране, она служит и интересам человечества.

Дон Камилло не был убежден в верности последнего заявления, но учтиво поклонился сенатору.

— Приятно быть так убежденным,—ответил он.—Мой родственник из Кастилии способен покориться рассудку, откуда бы ни раздавался его голос. Хотя он отвечает на мои доводы намеками на упадок республики, но я вижу в нем достаточно уважения к государству, которое так долго устрашало Европу своим могуществом и энергией.

— Венеция—не то, что представлял из себя когда-то этот город островов, тем не менее, и теперь она далеко не лишена силы,—замечил внушительно сенатор.

— Это верно, синьор. Теперь могу я спросить ваше мнение относительно средств для утверждения прав, которых я так давно добиваюсь? Могу я рассчитывать на свидание с почтенными отцами города? Я думаю, что в таком случае мои права были бы вскоре восстановлены.

— Это невозможно!—ответил поспешно сенатор.

— Я заранее знал, что эта просьба будет отклонена,—ответил герцог.—Прощайте, благородный синьор.

Сенатор проводил своего гостя до передней. Вернувшись в кабинет, он закрыл дверь и начал в раздумье ходить по комнате. Вдруг дверь, скрытая под обоями, осторожно отворилась, и показалось лицо нового посетителя.

— Войди!—сказал сенатор, не выказывая удивления при этом появлении.—Время прошло; я тебя жду.

Развешивающееся длинное платье, седая борода, резкие, правильные черты лица, быстрый и подозрительный взгляд с выражением пронизательности и подбострастия,—все в этом человеке обличало торговца с Риальто.

— Войди, Осия, и облегчи себя от твоей словесной ноши. Есть что-нибудь новое насчет общественного благополучия?

— Все по-старому, и все спокойно, и я не рассчитывал на свидание с вами в этот вечер, ваше сиятельство. Но в то время, как я собирался ко сну, ко мне пришел посланный от Совета; он принес мне кольцо с приказанием разобрать герб и другие символы, которые находятся на камне, вставленном в кольцо.

— Печать с тобой?—спросил сенатор, протягивая руку.

— Вот она. Это прекрасная, ценная бирюза, ваше сиятельство.

— Откуда взялось кольцо? И почему тебе его прислали?

— Его нашли, синьор, насколько я мог понять, в месте, похожем на то, откуда спасся Даниил...

— Ты хочешь сказать, из Львиной Пасти?

— Я думаю, что это самое хотел сказать агент Совета относительно этого кольца.

— Я вижу как-будто каску с забралом. Чей бы это мог быть герб? Не венецианцев ли?

— Камень, редкой красоты и должен принадлежать богатому человеку. Посмотрите на этот благородный блеск, синьор, какая ровность темно-голубого тона!

— Бирюза очень хороша. Но кому она принадлежит?

— Удивительно, когда подумаешь, сколько денег содержит в себе такая маленькая вещичка. Мне приходилось видеть, как платили огромные суммы за игрушки и менее изящные, чем эта.

— Ты, кажется, никогда не забудешь свою лавочку и торговлю на Риальто? Я тебе приказываю назвать фамилию, которая носит этот герб.

— Благородный синьор, я повинуюсь. Герб этот принадлежит роду Монфорте, последнему сенатору из этой фамилии, умершему приблизительно пятнадцать лет тому назад.

— А это кольцо с печатью?

— Оно в числе других драгоценностей, должно быть, досталось его родственнику и преемнику (если Сенату будет угодно, чтобы был преемник этого старинного имени)—дону Камилло.

— Дай мне перстень, его надо рассмотреть как следует. Что ты мне еще скажешь?.. Да вот, я слышал, что наша благородная молодежь часто обращается к ростовщикам Риальто за деньгами, которые они им дают под проценты. Обрати внимание на то, о чем я тебе говорю, потому что может выйти очень серьезное дело, если недовольство Сената падет на кого-нибудь из вас! Тебе не приносили еще других драгоценностей неаполитанца, кроме этой?

— Очень много под залог, но ничего выдающегося.

— Посмотри вот,—продолжал синьор Градениго, вынимая из потайного ящика маленький листок бумаги, к которому был приклеен кусок воска.—Что ты можешь сказать о том, кто употребляет эту печать?

Ювелир взял бумагу и поднес ее к свету, чтобы разглядеть отпечаток на воске.

— Это выше моей мудрости!—сказал он.—Здесь ничего нет, кроме галантного девиза, который молодые люди часто употребляют, чтобы обольстить дам.

— Это—сердце, пронзенное стрелой; а вон надпись: „Думай о сердце, пронзенном любовью“...

— И больше ничего! Я не думаю, чтобы эти слова имели много значения, синьор.

— Может быть. Ты ни разу не продавал вещи с такой надписью?

— Да нам приходится их продавать каждый день. Я не знаю более распространенного девиза.

— Я бы не пожалел ста цехинов тому, кто откроет мне хозяина этой именно печати.

Осия хотел было уже вернуть печать, когда синьор Градениго объявил это. Услышав эти слова, торговец опять приблизил бумагу к лампе.

— Я продал сердолик посредственной ценности с этим девизом жене испанского посла, но, продавая, я не отметил камня. Потом один молодой человек из фамилии равеннского легата<sup>1</sup> купил у меня аметист с такой же надписью... А вот, кажется и значок, сделанный моей рукой на камне.

— Ты нашел приметку? О каком значке ты говоришь?

— Ничего особенного, благородный синьор, кроме маленькой черточки в одной из букв.

И ты продал эту печать...

Осия медлил ответом; он боялся лишиться обещанной награды, если выскажется слишком скоро.

— Ну, если это так необходимо знать вашей светлости, то я посмотрю в моих книгах. В таком важном деле Сенат не должен быть введен в заблуждение.

— Конечно, дело это важное, награда служит доказательством этому.

— Ваше сиятельство изволили говорить о ста цехинах... Но меня это мало интересует, когда дело касается блага государства...

— Я в самом деле обещаю сто цехинов.

<sup>1</sup> Легат, или нунций—дипломатический представитель папы. (Прим. ред.)

— Извольте видеть, ваше сиятельство, я продал кольцо с печатью и с этим девизом женщине, служащей у первого дворянина из свиты папского нунция... Но это кольцо не может быть оттуда, потому что женщина по своему положению...

— Ты уверен?—вскричал с живостью синьор Градениго.

Торговец украдкой посмотрел на сенатора и, угадав, что это уверение ему приятно, поспешил подтвердить:

— Так же верно, как то, что я Осия. Эта безделушка долго оставалась непроданной, и я ее уступил по своей цене.

— Это рассеет все мои сомнения. Ты будешь награжден, и если у тебя записано еще что-нибудь на этот счет в твоей секретной торговой книге, дай мне немедленно знать. Ступай и будь аккуратен, как всегда, Осия. Я начинаю уставать от беспрерывных забот этого вечера.

Торговец, торжествуя в душе, почтительно раскланялся с сенатором и исчез в той двери, откуда пришел.

Вечерний прием сенатора был закончен. Он тщательно осмотрел замки потайных ящиков, потушил огни, запер двери и вышел. В продолжение некоторого времени он оставался еще в главных покоях своего дома, затем в обычный час улегся спать.

## ГЛАВА VII

В то время, как заканчивались секретные свидания синьора Градениго, площадь святого Марка начинала заметно пустеть. Кофейни были наполнены богатыми бездельниками, но те, которые должны были позаботиться о нуждах завтрашнего дня, возвращались в свои скромные жилища. Только один человек, казалось, не собирался покинуть площадь. По его неподвижности можно было подумать, что его босые ноги приросли к камню площади. Это был Антонио.

Луна освещала его мускулистую фигуру и загорелое лицо. Лицо его выражало страдание; но это было страдание человека, чувствительность которого пригуплялась привычкою к несчастьям. Глубокий вздох вырвался, наконец, из груди старика, и, поправив оставшиеся еще на его голове волосы, он поднял с мостовой шапку и, повидимому, собирался уходить.

— Слышишь, часы бьют пятый час ночи, а ты не торопишься идти спать,—послышался около рыбака чей-то голос.

Рыбак повернул голову к замаскированному человеку, говорившему это, и посмотрел на него с равнодушным видом, ничем не выдавая ни любопытства, ни волнения.

— Так как ты меня знаешь,—ответил он,—то тебе должно быть известно и то, что, уйдя отсюда, я вернусь в мое осиротелое жилище. Ведь ты должен был слышать о моем несчастье.

— Кто тебе причинил его, достойный рыбак, и как ты решаешься так смело говорить почти под самыми окнами дождей?

— Государство.

— Вот непривычная речь для уха святого Марка! Так в чем же ты обвиняешь республику?

— Приведи меня к тем, которые тебя послали, и тогда не будет надобности в посреднике. Я готов высказать все перед самим дожем, потому что может ли бедняк в моем возрасте бояться их гнева?

— Ты думаешь, что я послан, чтобы выдать тебя?

— Тебе лучше знать, что ты должен делать.

Неизвестный снял маску, и луна осветила его лицо.

— Джакопо!—вскричал рыбак, рассматривая выразительные черты браво.—Человек твоего положения не может иметь со мной никакого дела.

Румянец, заметный даже при лунном свете, покрыл лицо Джакопо, но он ничем больше не показал своего смущения.

— Ты ошибаешься; у меня есть к тебе дело.

— Разве Сенат считает какого-нибудь лагунского рыбака человеком, достойным удара кинжала? Если так, то делай, что тебе приказано.

— Антонио, ты меня оскорбляешь. Сенат не имеет вовсе этого намерения. Я слышал, что у тебя есть причины быть недовольным, и что ты откровенно говоришь в Лидо о делах, про которые патриции не позволяют рассуждать людям нашего сорта. Я не хочу причинить тебе никакого вреда; наоборот, как друг, предупреждаю тебя о худых последствиях твоей невоздержанности в речах. И в самом деле, к чему могут привести бесплодные жалобы на республику? Они принесут зло как тебе, так и юноше, твоему внуку. Перестань раздражать правителей своим недовольством и постарайся заслужить расположение дона Градениго; я слышал, что твоя мать была его кормилицей.

Антонио пристально посмотрел в лицо своего собеседника и покачал тоскливо головой, словно желая выразить этим, как мало надежды он возлагал на сенатора.

— Я ему рассказал все, что может сказать человек, выросший в лагунах,—сказал он наконец.—Но ведь он сенатор, и у него нет жалости к тем страданиям, которых он сам не испытывает.

— Ты не прав, старик, осуждая человека за то, что он не испытал бедности, которую ты сам охотно бросил бы, если бы была возможность. У тебя есть своя гондола, сети, ты здоров, силен, и ты счастливее многих, у которых ничего этого нет.

— Ты прав, говоря о нашем труде и о нашем положении. Но когда вопрос идет о наших детях, то закон должен быть равен для всех. Я не понимаю, почему сын патриция свободен, а сын рыбака обязан идти на верную смерть.

— Ты знаешь, Антонио, что государству нужны солдаты. Если бы офицеры стали искать во дворцах крепких моряков, то много ли таких наших бы они там? Несмотря на твой возраст, ты еще справляешься с своей работой, и вот такие, как ты, привычные к труду, и нужны государству.

— Ты должен добавить: и такие, грудь которых покрыта шрамами. Тебя еще не было на свете, Джакопо, когда я сражался с турками. Но они этого не помнят... Между тем, дорогой мрамор в церквах гласит о подвигах тех знатных, которые здоровы и невредимы вернулись с той же самой войны.

— Да, я помню, как отец говорил то же самое,—ответил браво взволнованным голосом.—Он тоже был ранен в той войне, и о нем также не вспомнили...

Рыбак посмотрел вокруг и, заметив, что на площади есть еще народ, дал знак своему собеседнику следовать за собой на набережную.

— Твой отец—сказал он,—был моим товарищем. Я стар и беден, Джакопо, я всю жизнь провел на лагунах, днем работая и лишь часть ночи отдыхая, чтобы набраться силы для работы следующего дня; но я с большой грустью узнал, что сын человека, которого я очень любил, и с которым вместе мы делили радость и горе, выбрал такое занятие, какое, говорят, выбрал ты. Деньги, как цена крови, не принесут счастья ни тому, кто их дает, ни тому, кто их принимает.

Браво молча слушал своего собеседника, который заметил, что мускулы лица браво судорожно вздрагивали, и бледность покрыла его лицо.

— Ты допустил, что бедность довела тебя до больших ошибок в жизни, Джакопо,—продолжал старик,—но никогда не поздно оставить кинжал! Конечно, для венецианца позорно иметь такую репутацию, как твоя, но друг твоего отца не оставит того, кто искренно раскаивается. Оставь свой кинжал и иди со мной в лагуны. И хотя ты никогда не будешь мне так дорог, как дитя, которое они отняли у меня, я все же буду видеть в тебе раскаявшегося сына моего старого друга. Идем со мной в лагуны; если я сделаюсь твоим другом, то, несмотря на мою нищету, я не буду от этого больше презираем.

— Что же, в самом деле, говорят обо мне люди, если ты так сурово обращаешься со мной?

— Я бы не хотел верить тому, что о тебе говорят, потому что тебя считают виновником каждого тайного убийства.

— Как же это терпят власти, что такой бесчестный человек, как я, открыто показывается на каналах и смешивается с толпой на Большой площади святого Марка?

— Мы не знаем и не понимаем соображений Сената. Что касается меня, то я все бы сделал, чтобы вывести на хорошую дорогу сына моего друга. Ты привык, Джакопо, иметь дело с патрициями. Скажи мне, возможно ли человеку моего положения быть допущенным к дожу? Если да, то я дождусь его здесь до завтра на мостовой этой площади и постараюсь тронуть его сердце. Он стар, как я, он был тоже ранен на службе, и, что важнее всего, он отец.

— А разве синьор Градениго сам не отец?

— Ты сомневаешься в его жалости?..

— Попробуй! Дож Венеции должен выслушать просьбу. И я думаю,—прибавил Джакопо так тихо, что его едва возможно было услышать,—я думаю, что он выслушал бы даже меня.

Браво простоял еще несколько минут около старика, который, скрестив на груди руки, приготовился провести ночь на площади, но, заметив, что Антонио видимо желал остаться в одиночестве, ушел, оставив рыбака с его грустными мыслями.

Ночь проходила; на площади оставалось уже совсем мало гуляющих. Джакопо направился к набережной. Лодки гондольеров виднелись на

воде, привязанные к причалам, и глубокая тишина стояла над всем заливом. Воздух был неподвижен, и поверхность воды была совершенно спокойна. Браво надвинул маску, отвязал одну из лодок и поплыл серединой гавани.

— Кто гребет?—спросил человек с фелуки, стоявшей на якоре поодаль от других судов.

— Тот, кого ждут.

— Родриго?

— Он самый.

— Ты что-то запоздал,—сказал калабриец в то время, как Джакопо поднимался на палубу „Прекрасной Соррентинки“.—Мои люди давно уже внизу, и мне, пока я ждал тебя, три раза снилось кораблекрушение и два раза сирокко.

— Тебе, стало быть, оставалось больше времени, чтобы обманывать таможенных.

— Что касается таможенных, то в этом жадном городе нельзя много рассчитывать на заработок. Сенаторы выговаривают все права на прибыль себе и своим друзьям, и выходит, что мы, моряки, работаем много, а выручаем очень мало. Я отправил дюжину бочек на каналы. Вот единственный источник дохода. Но все-таки осталось порядочно и для тебя. Хочешь выпить?

— Я дал обет трезвости. Надеюсь, лодка твоя готова для работы?

— А думает ли Сенат платить мне? Вот уже четвертая поездка по его делам, и он, надо полагать, доволен работой!

— Он доволен, да и ты ведь был хорошо награжден.

— Не очень-то; я больше заработал на перевозке фруктов с островов, чем со всех ночных поездок, которые я делал в угоду ему. Вот если бы господа сенаторы дали моей фелуке некоторую свободу на въезд в городские каналы, тогда бы мне можно было рассчитывать на барыши...

— Из всех преступлений святой Марк суровее всего наказывает контрабанду. Будь осторожен с твоим вином, иначе ты лишишься не только лодки, но и свободы.

— Вот это-то меня и возмущает больше всего, синьор Родриго. Иногда Сенат справедлив к нам, а иногда нам все запрещает, и мы должны прятаться от него в темноте ночи.

— Не забывай, что ты не в Средиземном море, а у входа в каналы Венеции... Такие разговоры были бы неосторожны, если бы ты говорил при ком-нибудь другом.

— Спасибо за совет, хотя вид вон того старого дворца—такое же спасительное предупреждение для болтуна, как для пирата—виселица на берегу моря. Я встретил старинного знакомого на Пьяцетте в то время, как там стали появляться маски, и мы с ним имели уже по этому поводу разговор. По его мнению, в Венеции пятьдесят человек на сто получают жалованье, чтобы идти и доносить о том, что делают другие пятьдесят. Досадно, Родриго, что Сенат оставляет на свободе столько негодяев, людей, одно лицо которых заставило бы покраснеть камни от стыда и гнева.

— Я не знал, что такие люди показываются открыто в Венеции. То, что сделано тайно, может оставаться безнаказанным некоторое время, потому что трудно доказать, но...

— Ну, а я знаю наверное, что есть тут один,—наемник Сената республики,—который ничего не боится... Слышал про браво Джакопо?.. Что с тобой, братец? Якорь, на который ты опираешься, не раскаленное железо.

— Но он и не из пуха.

— Так вот этот самый Джакопо не должен бы шататься на воле в честном городе; а его можно встретить на площади разгуливающим с такой же уверенностью, словно он патриций, гуляющий в Бролио.

— Я его не знаю.

— Это делает тебе честь, Родриго. Но среди нас в порту он хорошо известен, и при виде его мы все думаем с угрызением совести о наших грехах. Я удивляюсь, почему инквизиторы<sup>1</sup> не предадут его публично проклятию в назидание другим.

— Разве его преступлений так уж несомненны, что можно произнести над ним приговор без всяких доказательств?

— Спроси об этом первого встречного! Ни один человек не умрет в Венеции без того, чтобы не подумали прежде всего: не от руки ли Джакопо он умер? Ах, Родриго, ваши каналы—очень удобные могилы для скоропостижно умерших!

— Мне кажется, что есть противоречие в том, что ты говоришь. То у тебя „верный удар кинжала“ наемного убийцы Джакопо, то каналы поглощают жертвы. Ты несправедлив к Джакопо; может быть, он случайно оклеветанный человек?

— Ну, уж нет: можно оклеветать кого угодно, но на Джакопо нет клеветы даже на языке адвоката. Стоит ли заботиться о том, будет ли рука более или менее красной, когда она ежеминутно в крови?

— Положим, ты говоришь правду,—ответил мнимый Родриго, сдерживая вздох,—для осужденного на смерть безразлично, произнесен ли приговор за одно или за несколько преступлений.

— Однако, сними маску, синьор Родриго, чтобы морской ветерок освежил твои щеки; пора бросить секреты между старыми друзьями.

— Мой долг по отношению тех, кто меня послал, запрещает мне снять маску; не будь этого, я давно разрешил бы себе это ради тебя, друг Стефано.

— Несмотря на твою осторожность, хитрый синьор, я держу с тобой пари на десять цехинов, которые ты еще мне должен, что завтра я тебя встречу без маски на площади святого Марка и безошибочно назову тебя по имени.

— Я уже тебе сказал, что я обязан делать то, что мне приказано, а так как ты меня знаешь, то смотри—не выдай меня.

— Будь покоен, ты можешь мне довериться. На самом деле, я могу сказать, что во время мистралья или сирокко<sup>2</sup> никто из моих товарищей

<sup>1</sup> Инквизиция—церковный католический суд, прославившийся в средних веках своими жестокостями.

<sup>2</sup> Мистраль и сирокко—морские ветры.

не может похвалиться таким хладнокровием, как я, и что касается того, чтобы узнать товарища в толпе во время карнавала, то хоть сам черт перерядись, я его тотчас узнаю.

— Да. Это ценные качества и для моряка и для хитрого дельца.

— Вот, не дальше как сегодня ко мне приходил мой старинный приятель Джино; он гондольер дона Камилло Монфорте; он привел с собой замаскированную женщину и представил мне ее за иностранку; но я сразу узнал в ней дочь виноторговца, и мы с ней сторговались насчет нескольких бочек вина, которые спрятаны под балластом. А Джино тем временем обделывал дела своего хозяина на площади святого Марка.

— Тебе известно, какие такие у него дела?

— Нет, Джино едва успел со мной поздороваться. Но Аннина!

— Аннина?

— Она самая. Ты знаешь дочку старого Фомы; и я не говорил бы о ней так при тебе, если бы не знал, что ты сам, пожалуй, не прочь получить вина, которое не проходит через таможню.

— Относительно этого будь покоен; я тебе побожился, что ни один секрет этого рода не будет открыт. Но эта Аннина!.. У нее ума и смелости хоть отбавляй. Только вот кто этот Джино, о котором ты сейчас говорил? И каким образом этот твой земляк калабриец мог сделаться здешним гондольером?

— Этого я совершенно не знаю. Его хозяин,—я могу его назвать моим, потому что я родился в его владениях,—молодой герцог, тот самый, который предъявляет Сенату свои права на титул и имения покойного сенатора Монфорте. Этот процесс тянется так долго, что Джино успел за это время сделаться гондольером, перевозя своего хозяина из его дворца к здешним патрициям, у которых он ищет поддержки.

— Я вспоминаю этого человека. Он носит ливрею своего хозяина. Что, он не глуп?

— Синьор, никто из калабрийцев не может похвалиться этим преимуществом. Джино достаточно ловок в своем деле, но он только гондольер, не больше.

— Хорошо! Держи наготове свою фелуку, потому что она во всякое время может нам понадобиться.

— Чтобы окончить торг, вам остается только доставить груз.

— Прощай! Я тебе хочу еще посоветовать держаться подальше от других торговцев; и смотри, завтра в праздник держи на судне всех твоих матросов...

— Будьте покойны, синьор Родриго, все будет в исправности.

Браво вернулся к гондоле и стал быстро удаляться от фелуки. Он махнул рукой на прощанье, и вскоре гондола исчезла между судами, заполнявшими порт.

Хозяин „Прекрасной Соррентинки“ прошелся несколько раз по палубе фелуки, вдыхая ветерок, дувший с Лидо; потом он пошел отдохнуть. В этот час все было спокойно на воде. Не слышно было музыки на каналах. Венеция, которая никогда не была особенно оживленной, кроме ее главной площади и Большого канала, спала мертвым сном.

## ГЛАВА VIII

На следующий день, едва успело солнце подняться над Лидо, как на площади святого Марка раздался звук труб и рогов. Из отдаленного арсенала тотчас ответил выстрел пушки. Тысячи гондол понеслись вдоль каналов, и открытое море сразу покрылось бесчисленными судами, направлявшимися от Фузины и от островов к столице.

Городские жители в праздничных нарядах раньше обыкновенного стали показываться из домов, и, когда кончился трезвон колоколов древнего храма святого Марка, площадь уже была заполнена густой, оживленной толпой. Масок в этой толпе не было видно, но она была шумлива и весела, как в самый разгар карнавала. Знамена побежденных наций с шумом развевались вверху, на триумфальных мачтах. На башнях и колокольнях были вывешены изображения крылатого льва, и дворцы пестрели богатыми драпировками над окнами и на балконах.

Стоял гул стотысячной толпы, слышалась музыка, раздавались аплодисменты.

Пышные гондолы, богато украшенные золотом и резьбой, сотнями выходили из каналов в залив.

Толпа все увеличивалась. Несколько застенчивых и как бы перешитых масок смешалось с гуляющими; это были монахи, воспользовавшиеся масками, чтобы внести несколько светлых минут в свою монотонную жизнь. Явились, наконец, богатые гондолы послов разных государств; потом среди всеобщих криков и трубных звуков выплыл из арсенального канала корабль „Буцентавр“ и направился к пристани святого Марка.

Алебардчики и другие стражники, состоящие при главе республики, расчистили дорогу через толпу, и в то же время звуки сотни инструментов возвестили выход дожа... Толпа сенаторов в своих пышных одеяниях, в сопровождении бесчисленных лакеев в ливреях, прошла под галереями дворца и, спустившись по Лестнице Гигантов, вышла на Пьяцетту, и все разместились на крытой палубе „Буцентавра“. Посланники, высшие сановники государства и тот старец, который в ту пору, по выбору венецианской аристократии, считался главой государства, оставались еще на берегу, с привычным терпением ожидая момента, когда, по церемониалу, и они должны были вступить на палубу корабля. В это мгновение человек с смуглым лицом и с обнаженными ногами пробрался между стражей и упал к ногам дожа на камни набережной.

— Я прошу справедливости, великий дож!—вскричал смельчак.— Справедливости и сострадания! Выслушайте человека, который пролил свою кровь за Венецию! Эти шрамы могут быть тому доказательством!

— Правосудие и милосердие не всегда идут рука об руку,—заметил спокойным голосом старец в головном уборе дожа, делая знак офицерам, чтобы просители оставили в покое.

— Великий государь, я к вашей милости.

— Кто ты такой?

— Бедный лагунский рыбак Антонио; я прошу свободы для дорогого мне юноши, которого силой вырвали из моих рук.

— Это, должно быть, не так: в правосудии не должно быть насилия. По всей вероятности, юноша нарушил законы, и он наказан потому, что он этого заслуживал.

— Ваше высочество! Он виновен только в том, что он молод, силен и ловок в морском деле. Он взят без его согласия, без предупреждения на службу в галеры, и я остался одиноким на старости лет.

Жалость, показавшаяся на лице дожа, сменилась сомнением и недоверием. Его взгляд, смягчившийся было состраданием, словно оледенел, и глаза его многозначительно остановились настраже. Дож с достоинством



Венецианский дож.

поклонился внимательной и любопытной толпе и дал знак своей свите двинуться вперед.

— Пусть удалят этого человека! — сказал офицер, понявший взгляд своего повелителя. — Нельзя задерживать церемонию подобной просьбой.

Антонио не выказал никакого сопротивления и, уступая напору стражи, отступил назад в толпу.

Вскоре эта сцена была всеми забыта. После того, как дож и его свита разместились на палубе „Буцентавра“, адмирал взял в руки руль, и огромный роскошный корабль с золочеными галереями начал удаляться от набережной. Его отплытие было возведено звуками труб и рогов.

Прежде чем „Буцентавр“ достиг середины порта, вся поверхность воды вокруг него оказалась покрытой гондолами.

Когда „Буцентавр“ остановился, и вокруг его кормы образовалось свободное пространство, дож появился на галерее, устроенной таким образом, что он был виден всей толпе. Держа в руке блестящее кольцо, усыпанное драгоценными камнями, он произнес слова обручения и бросил кольцо в воду<sup>1</sup>. Раздались громкие аплодисменты, заиграли трубы. Вдруг одна лодка проскользнула под кормовой галереей „Буцентавра“. Ею управляла ловкая и сильная рука, хотя голова гребца была уже покрыта сединою. Маленький рыбацкий буй упал из лодки, которая так быстро исчезла, что это маленькое происшествие прошло почти незамеченным.

„Буцентавр“ двинулся обратно к городу.

Венеция разделялась на две почти одинаковые части каналом, который как по ширине, так и по своему значению был назван Большим каналом<sup>2</sup>. Окруженный дворцами главных сенаторов, этот канал представлял все удобства для устройства на нем гонок, которыми должен был закончиться праздник.

Гребцы, явившиеся на состязание, собрались уже на канале; их глаза были устремлены на толпу, ища одобрения в лицах друзей. Наконец, все формальности были соблюдены, и состязавшиеся заняли свои места. В каждой гондоле помещались по три гребца; гондолы управлялись еще четвертым, который, стоя на маленькой палубе кормы, греб рулевым веслом, направляя и в то же время ускоряя ход судна. На носу развевались флаги: одни из них носили отличительные знаки правящих фамилий республики, другие были просто украшены вымышленными девизами их хозяев. По пушечному выстрелу гондолы устремились вперед. Их отъезд сопровождался аплодисментами, которые, пронесясь по всему каналу, перенеслись на галерею „Буцентавра“.

Вначале все гондолы скользили по воде с легкостью ласточек, слегка касающихся воды. Через некоторое время сплошная масса выехавших лодок начала мало-помалу редеть, и они образовали посередине канала длинную колеблющуюся линию. По мере приближения к цели расстояние между гондолами все увеличивалось, и, наконец, три гондолы друг за другом примчались под корму „Буцентавра“. Приз был взят, победители награждены, артиллерия дала сигнал, музыка ответила залпами пушек.

Герольд возвестил начало нового состязания. Для первой, можно сказать национальной, гонки выбраны были, следуя старинному обычаю, гондольеры из коренных венецианцев. Награда была назначена государством, и все это состязание носило в известной степени политический и официальный характер. Во второй гонке могли, как было объявлено, принять участие все желающие, независимо от их происхождения и занятий. Сам дож должен был вручить золотое весло на такой же цепи победителю в этом состязании; точно такое же украшение из серебра

<sup>1</sup> Церемония венчания дожа с Адриатикой, как символ морского могущества Венеции, была установлена дожем Себастьяном Зиони в 1177 году и получила „благословение“ папы.

<sup>2</sup> Большой канал, длиною в четыре километра, имеет местами ширину до шестидесяти метров. (Прим. ред.)

должно было быть второй премией, а третья премия состояла из маленькой лодочки, сделанной из менее драгоценного металла. Так как цель этой гонки была—показать особенный талант гребцов Королевы Островов, то в каждой гондоле должен был находиться только один гондольер. Никто из принимавших участие в первой гонке не был допущен ко второй, и все, кто хотел в ней участвовать, должны были собраться под кормой „Буцентавра“, где должны были быть удостоверены их личности.

Перерыв между обеими гонками был непродолжителен.

Первый из гондольеров, выступивший из толпы соперников, был хорошо известен всей Венеции своей ловкостью и пением.

— Как тебя зовут, и кому ты вручаешь свою судьбу?—спросил его герольд.

— Меня зовут Бартоломео; я живу между Пьяцеттой и Лидо, и, как верный венецианец, я возлагаю упования мои на святого Феодора.

— Займи место и жди своей судьбы.

Ловкий гондольер коснулся веслом поверхности воды, и легкая гондола, словно лебедь, вынеслась на середину пространства, оставленного свободным посреди Большого канала.

— Кто ты такой?—спросил герольд следующего.

— Эрико, гондольер из Фузины; я вверяюсь покровительству Антония Падуанского.

— Мы одобряем твою смелость. Займи место в ряду состязающихся.

— А ты кто?—спросил герольд третьего.

— Меня зовут Джино из Калабрии, гондольер на частной службе.

— У кого ты в услужении?

— У знаменитого и высокочтимого дона Камилло Монфорте, владетельного герцога святой Агаты в Неаполе и по праву—сенатора Венеции.

— По твоей претензии на знание законов ты как-будто из Падуи. Вверяешь ли ты свою судьбу патронессе твоего хозяина?

Когда Джино обдумывал ответ, ему казалось, что среди сенаторов произошло какое-то волнение, и недовольство выразилось на многих лицах. Джино поворачивался во все стороны вокруг и искал глазами помощи того, чьей знатностью он только что хвалился.

— Что же ты не хочешь назвать, кому ты вручаешь твою судьбу?

— Покровительнице моего господина, а также святому Януарию и святому Марку,—прошептал растерявшийся Джино.

— У тебя хорошая защита: если тебе двух последних будет мало, ты всегда можешь рассчитывать на первую.

— Синьор Монфорте—имя знаменитое, и он будет всегда желанным гостем на празднествах в Венеции,—заметил дож, склоняясь в сторону герцога святой Агаты, который находился недалеко от „Буцентавра“ в красивой гондоле и с интересом наблюдал эту сцену.

Камилло ответил глубоким поклоном. Церемония продолжалась.

— Займи твое место, Джино,—сказал герольд.—Желаю тебе успеха.

Потом, обернувшись к следующему, он вскричал с удивлением.

— Ты как здесь?

— Я хочу тоже попробовать быстроту моей гондолы.

— Ты слишком стар для такого состязания. Побереги свои силы для ежедневных работ. Не надо поддаваться безнадежному честолюбию.

Новый кандидат пригнал под галерею „Буцентавра“ рыбацкую лодку довольно красивой формы, но со следами ежедневной работы. Он спокойно выслушал насмешку и хотел уже повернуть гондолу назад, когда дож сделал ему знак остаться.

— Расспросите его, как и других,—сказал дож.

— Как твое имя?—спросил пренебрежительно герольд.

— Меня зовут Антонио; рыбак из лагун.

— Ты уже очень не молод.

— Синьор, мне это известно лучше всех. Прошло уже шестьдесят лет с тех пор, как я первый раз забросил сети в море.

— Ты одет слишком бедно, чтобы участвовать в гонках Венеции.

— На мне все, что я имею лучшего.

— Ты даже босой, грудь у тебя открыта; по всему видно, что ты устал. Ступай, напрасно только ты прерываешь развлечение благородных господ...

Антонио опять хотел было скрыться от толпы, но спокойный голос дожа вновь пришел ему на помощь.

— Состязание доступно всем,—сказал дож,—но я все-таки советую старцу подумать. Пусть ему дадут денег; нужда толкает его, вероятно, на эту бесполезную борьбу.

— Слышишь, тебе дают милостыню, уступи место более крепким и одетым более прилично, чем ты.

— Повиноваться должен каждый, рожденный в бедности; но ведь говорили, что доступ сюда открыт для всех. Я извиняюсь перед господами, я не хотел их оскорбить.

— Справедливость должна быть повсюду,—заметил дож.—Если он хочет, он может остаться.

— Слышишь? Его высочество изволил разрешить тебе остаться, но все-таки тебе лучше бы удалиться.

— Если так, то я посмотрю, насколько я еще силен,—ответил Антонио, смотря с грустью на свое изношенное платье, хотя его лицо выражало затаенную гордость.

— Кому ты себя вверяешь?

— Святому Антонию.

— Займи место! А! Вот кто-то не хочет быть узнанным! Интересно, кто это явился, закрыв свое лицо маской?

— Маской просто и назови меня.

— Судя по красивым рукам и ногам, видно, что ты сделал оплошность, спрятав лицо. Угодно ли будет вашему высочеству допустить маску к состязанию?

— Без всякого сомнения. В Венеции маска священна. Наши прекрасные законы разрешают каждому, желающему спрятаться от любопытства посторонних, появляться беспрепятственно везде в маске. Таковы преимущества граждан великодушного государства.

Со всех сторон раздавалось одобрение, и из уст в уста начали передавать весть, что под маской скрывается, должно быть, дворянин, желающий попытать счастья в гонках ради каприза какой-нибудь красавицы.

— Такова справедливость!—вскричал герольд громким голосом.—Счастливец тот, кто родился в Венеции! Кому ты вверяешь свою судьбу?



— Собственной руке.

— Но это неблагочестиво. Такой самонадеянный человек не может принимать участия в состязании.

Это восклицание герольда произвело сильное волнение в толпе.

— Для республики все ее дети равны,—сказал дож,—но все же непристойно отказываться от покровительства святых.

— Назови твоего покровителя или уступи свое место другим,—сказал герольд.

Незнакомцу подумал минуту, потом ответил:

— Иоанн Пустынник.

— Ты называешь почитаемое имя.

— Может быть, он пожалеет меня: мое сердце—пустыня...

— Тебе лучше судить о состоянии твоей души.

Наконец было объявлено, что список участников гонки заполнен, и гондольеры, как и в первый раз, направились к месту старта, оставляя свободное пространство под кормой „Буцентавра“.

На этом празднике было много дам в сопровождении кавалеров; они сидели в собственных гондолах. Особенное внимание обращала на себя одна дама. Грацией и простотой наряда она выделялась среди разряженной толпы. Лодка, гондольеры и дамы,—так как их было две,—отличались строгой простотой внешности. Их сопровождал монах-кармелит. Сотни гондол пытались сопроводить эту лодку, но оставляли ее, чтобы справиться у других об имени юной красавицы. Но вот великолепная лодка поровнялась с этой гондолой. В ней был только один мужчина; он с непринужденностью хорошо знакомого, но с глубоким уважением поклонился маскированным дамам.

— В этой гонке принимает участие мой слуга, на искусство и ловкость которого я очень надеюсь,—сказал он вежливо.—Все это время я напрасно искал даму, за улыбку которой я бы мог пожертвовать успехом своего слуги. Теперь я ее нашел.

— У вас очень пронизательный взгляд, синьор, если вы под нашими масками находите то, что искали,—отозвалась старшая из дам в то время, как кармелит ответил вежливым поклоном на комплименты, которые допускались в подобных случаях.

— Бывают случаи, когда узнаешь не только глазами. Закройтесь как вам будет угодно, но вы мне не помешаете утверждать, что около меня самое красивое лицо, самое доброе сердце и самая чистая душа Венеции.

С этими словами кавалер поднес молчаливой красавице букет прекрасных живых цветов, среди которых виднелись цветы, воспетые поэтами, как символ постоянства и любви. Та, которой было сделано это подношение, колебалась—принять ли его—со скромностью девушки, не привыкшей еще к подобным проявлениям галантности.

— Не отказывайся принять эти цветы, моя милая,—сказала ее компаньонка.—Молодой человек предлагает их тебе только ради учтивости.

— Это будет видно позже,—ответил живо дон Камилло.—До свиданья, синьора, мы с вами уже встречались в этих водах, и тогда между нами было меньше принужденности.

Он поклонился и дал знак своему гондольеру. Вскоре его лодка затерялась среди других. Но, прежде чем две гондолы разошлись, маска молодой девушки приподнялась, и неаполитанец был вознагражден за свою любезность, увидев прекрасное лицо Виолетты.

— У твоего опекуна недовольный вид,—заметила донна Флоринда.— Я удивляюсь, каким образом нас могли узнать.

— А я бы больше удивилась обратному. Я бы могла узнать неаполитанца среди тысячи молодых людей. Разве ты забыла, чем я ему обязана?

Донна Флоринда ничего не ответила. Она обменялась быстрым взглядом с монахом. Ни тот, ни другая не нашли нужным заговорить.

Пушечный выстрел, оживление, начавшееся на Большом канале, и военный марш напомнили о начале состязания...

## ГЛАВА IX

Для того, чтобы гондольеры могли сохранить свои силы для состязания, гондолы, допущенные к гонке, были отведены на буксире на место, откуда начинались гонки. Лодка рыбака была привязана к одной из больших галер-буксиров. В то время, как Антонио медленно двигался вдоль канала мимо разукрашенных балконов, со всех сторон раздавался презрительный смех, который бывает обыкновенно тем сильнее и смелее, чем очевиднее бедность предмета насмешки.

Старик слышал замечания по своему адресу. Он окидывал взглядом эти бесчисленные лица на балконах и, казалось, искал сострадания. В это время гондольер под маской очутился рядом с Антонио.

— Публика к тебе неблагоклонна,—заметил он, когда слышались новые насмешки над рыбаком,—ты не позаботился о своем костюме. А мы в таком городе, где роскошь в почете, и тот, кто хочет сорвать аплодисменты, должен, появляясь в каналах Венеции, скрывать свою бедность.

— Я хорошо знаю венецианцев,—ответил рыбак,—они слишком горды и считают ниже себя тех, кто не может разделить их тщеславия. Но я не стыжусь показаться здесь, хотя я стар и загорелое лицо мое покрыто морщинами.

— У меня есть причины, которые заставляют меня носить маску. И хотя лицо мое скрыто, но по моим рукам и ногам, надеюсь, видно, что у меня достаточно силы, чтобы рассчитывать на успех. А тебе, старик, надо бы хорошенько подумать, прежде чем решиться на такое чрезмерное напряжение.

В это время они поровнялись с группой рыбаков, товарищей Антонио; те казались возмущенными его смелостью, которая могла принести поражение всей их корпорации.

— А, почтеннейший Антонио,—крикнул один из толпы,—тебе мало твоего рыбацкого заработка, и тебе недостает золотого весла на шею.

— Он скоро будет заседать в Сенате,—усмехнулся другой.

— Нет, он добывается шапки дожа,—решил третий.—И мы вскоре увидим адмирала Антонио плавающим на „Буцентавре“ вместе с патрициями республики.

Эти шутки вызвали взрыв смеха среди толпы и заставили улыбнуться даже дам на балконах. Старик почувствовал, что энергия его оставляет.

Но какие-то тайные побуждения заставляли его упорствовать. Приблизившись к месту начала гонки, гондольер в маске снова обратился к Антонио:

— Еще есть время удалиться отсюда, — сказал он. — Охота тебе подвергаться насмешкам твоих товарищей и омрачать последние дни своей жизни.

— Я не хочу колебаться в тот момент, когда я должен быть решительным.

Маскированный моряк, видя бесполезность попыток убедить рыбака в бессмысленности его попытки, умолк.

Узкие каналы Венеции и их бесчисленные изгибы оказали свое влияние на форму гондол. Это — длинное, узкое, легкое судно. Недостаток ширины каналов не позволяет пользоваться двумя веслами с обеих сторон. Необходимость каждую минуту сворачивать в стороны, чтобы уступить дорогу другим, и множество мостов заставили устроить на корме гондолы небольшую площадку для гребца, который гребет все время стоя. Прямое положение гондольера требует, чтобы опора, на которой лежит середина весла, имела соответствующую высоту, и поэтому с одной стороны гондолы устраивается высокая рогатая уключина. Эта точка опоры известной вышины, сделанная из гнutoго дерева, имеет несколько надрезов, устроенных один над другим, чтобы быть пригодной для всякого роста гондольера. Принимая во внимание все особые условия, можно сказать, что искусство гондольера является одной из наиболее тонких отраслей гребного дела, так как, помимо силы мускулов, гондольер должен обладать значительной ловкостью.

Большой канал Венеции со всеми его поворотами имеет в длину более четырех километров. Но расстояние, которое должны были проехать гондольеры, выехав из Риальто, было сокращено наполовину. Все зрители столпились на берегу между „Буцентавром“ и мостом.

— Джино из Калабрии! — крикнул герольд, размещавший гондолы.

Слуга дона Камилло двинул весло, и лодка плавно проплыла на указанное место.

— Следующим станет Энрико из Фузины.

Поставив еще нескольких из состязавшихся, он крикнул:

— А затем твое место, маска, — и слегка поклонился неизвестному гондольеру, потому что он, как и большинство, был убежден, что это кто-нибудь из патрициев.

— Ты забыл вызвать старого рыбака, — сказал маскированный, занимая свое место слева от всех уже вызванных участников гонки.

— Сумасшедший старик все-таки хочет показать свое честолюбие и свои лохмотья перед избранным обществом Венеции?

— Я могу стать и сзади, — сказал скромно Антонио, — может быть, между гондольерами есть лица, которым нежелательно быть рядом с бедным рыбаком, а несколько лишних ударов весла не имеют значения в такой длинной гонке.

— Как хочешь, можешь оставаться на своем месте. Теперь, славные гондольеры, слушайте. Вам запрещается пересекать дорогу друг другу, вы не должны прибегать ни к каким уловкам, полагаясь только на весла и крепость ваших рук. Тот, кто нарушит правила гонки каким бы то ни было способом, будет строго наказан. А теперь ждите сигнала!

Грянул пушечный выстрел, и все гондолы, выстроившиеся в одну линию, кинулись вперед, рассекая волны с одинаковой скоростью. Убогая, но не менее легкая лодка рыбака сохраняла свое место сзади всех.

Мало-по-малу, однако, линия их начала колебаться, изогнулась, и блестящая корма гондолы Энрико из Фузины выдвинулась вперед. Он скоро долетел до середины канала, избегая таким образом неровностей берега. Этот прием, кроме того, имел то преимущество, что возмущая воду, он затруднял ход других лодок. За ним следовал немного сзади Бартоломео из Лидо, как его называли его товарищи. Гондольер дона Камилло также выдвинулся из строя и, быстро подвигаясь вперед, держался немного сзади Бартоломео. Левее виднелась гондола маскированного, оставшаяся, однако, по неизвестным причинам сзади других. Нисколько этим не смущаясь, неизвестный продолжал спокойно и ловко управлять гондолой. Так как он возбудил общий интерес своим таинственным видом, то в толпе старались оправдать его неудачу; некоторые приписывали ее плохому устройству гондолы, другие обвиняли его за риск участвовать вместе с опытными гондольерами-профессионалами. Вскоре эти рассуждения сменились насмешками, когда с ним поровнялась одинокая лодка рыбака.

Не раз уже глаза Антонио обращались печально к толпе, как-будто он желал упрекнуть тех, кто так безжалостно оскорблял его природную гордость, которую не могли принизить ни бедность, ни тяжелый труд.

Энрико был все еще впереди всех; но постоянные посетители гонок открывали уже некоторые признаки усталости в его ослабевших движениях. Гребец с Лидо был вблизи него, а калабриец мало-по-малу нагонял их обоих. В эту минуту неизвестный выказал неожиданную силу и ловкость. Его гондола отделилась от других, перешла в середину канала, и вскоре он стал четвертым в гонке.

За ним Антонио, перестав обращать внимание на насмешки толпы, разогнал лодку и, опередив прочие гондолы, занял пятое место в борьбе.

С этой минуты взоры всех были прикованы только к этим пяти соперникам, усилия которых увеличивались с каждым ударом весла, и на которых теперь сосредоточился интерес этого дня. Несмотря на усилия гондольера из Фузины, его гондола отставала. Гондола Бартоломео перегнала ее неожиданно, а за нею и гондола Джино и неизвестного. Ни один крик не выдал возрастающего интереса толпы; но когда и лодка Антонио вынеслась вслед за передними, послышался шопот одобрения, выражавший неожиданную перемену настроения народа.

Имена побежденных вскоре были забыты: имя Бартоломео передавалось из уст в уста, и его товарищи по Пьяцетте и Лидо криками побуждали его бороться до последних сил. Но неожиданно с ним произошло то же, что с его предшественником. Несмотря на все его усилия, лодка не ускорила хода, и Джино, маска и Антонио проскользнули мимо него, оставив далеко за собою того, кто только-что был первым. Но он не оставил поля сражения.

Еще значительное расстояние разделяло гондолы и их цель, когда борьба приняла такой оборот. Джино плыл впереди, и много благоприятных признаков обещали ему успех, как вдруг легкая гондола моряка в маске устремилась вперед и стала во главе соперников. Но только-что неизвестный обогнал слугу дона Камилло, как и лодка Антонио последовала

за ним. Расстояние между этими гондолами начало заметно уменьшаться, и даже был момент, когда можно было думать, что рыбак, не смотря на свои годы и простую лодку, опередит соперника. Моряк в маске оглянулся назад, чтобы убедиться в своем преимуществе; потом, наклонившись к рукоятке весла, заговорил так тихо, чтобы не быть услышанным другими:

— Ты меня обманул, старик; теперь я вижу, что ты сильнее, чем я думал. Придешь вторым. Делать нечего, примиись с своей судьбой.

— Во что бы то ни стало я хочу быть первым, недаром я не жалел моих последних сил на старости лет.

Неизвестный замолчал, но его уверенность, казалось, начала изменять ему. Оставалось только двадцать сильных ударов, и он был бы у цели; но мускулы его рук, казалось, стали терять свое напряжение и ноги твердость упора. Лодка старого Антонио проскользнула вперед. Он вложил всю силу в удар весла и опередил своего соперника на несколько футов. Следующий удар весла покачнул лодку на киле, и вода еще сильнее запенилась вокруг ее носа. Его лодка пронеслась между двумя барками, которые служили створом, и в этот момент два флага, обозначавшие конечную линию, упали на воду. Почти в ту же минуту мимо створ проскользнула гондола замаскированного с такой быстротой, что со стороны, пожалуй, трудно было решить, которая из этих двух лодок пришла первой. Джино был недалеко от них; Бартоломео пришел четвертым и последним в этой гонке.

Заиграли фанфары, и герольд возвестил:

— Антонио, рыбак из лагун, получил золотую награду, вторая, серебряная, награда присуждена моряку, скрывающему свое имя, и, наконец, третья награда принадлежит калабрийцу Джино, слуге дона Камилло Монфорте, герцога святой Агаты и владельца многих поместий в Неаполитанском королевстве.

После того, как были объявлены победители, среди глубокой тишины поднялся общий шум. Презрение к рыбаку исчезло под влиянием его успеха. Лагунские рыбаки, которые только что, не стесняясь, оскорбляли насмешками своего старого товарища, теперь восхваляли его силу и ловкость.

Сам Антонио скромно наслаждался своей победой. Он остановил лодку, когда она пришла к цели, и, ничем не проявляя усталости, оставался все время на ногах. Он улыбался на крики, поднявшиеся со всех сторон, но, казалось, что не гордость, а другое, более глубокое чувство руководило им в этот момент. Взор его блестел надеждой, черты его лица оживились.

Маскированный незнакомец не казался утомленным больше своего соперника; колена его не дрожали, и он не выпустил весла из крепкой руки. Но Джино и Бартоломео были до такой степени утомлены, что, достигнув цели, тут же упали на дно гондолы и с трудом переводили дыхание. Толпа громкими и продолжительными аплодисментами выразила свою симпатию победителю. Едва шум затих, как герольд приказал Антонио из лагун, моряку в маске и Джино из Калабрии предстать перед ложем, чтобы получить награды.

## ГЛАВА X

Когда три гондолы приблизились к „Буцентавру“, рыбак остановился сзади всех. Однако, ему было приказано подняться на палубу и двум остальным—следовать за ним.

Все патриции расположились по сторонам палубы от носа до кормы, где, окруженный сановниками государства, находился дож. Едва дож начал говорить, как тихий говор, возбужденный любопытством, сменился глубоким молчанием.

— Наша достоправная республика всем известна справедливостью, с которой она награждает своих подданных. Этот рыбак, заслужив почетную награду на гонке, получит ее так же немедленно и неотменно, как если бы дело касалось наиболее близкого к нам придворного кавалера. Патриции и простые граждане Венеции, учитесь ценить ваши справедливые законы.

Он остановился, и шопот одобрения пронесся из уст в уста; сенаторы наклонили головы в знак согласия со словами главы, который продолжал:

— Мой долг, и долг приятный, Антонио, возложить золотую цепь тебе на шею. Это золотое весло—символ твоей ловкости, а среди твоих товарищей оно будет доказательством беспристрастия республики. Возьми награду, старик! Ты доказал сегодня, что старость не отняла у тебя силы и мужества.

— Ваше высочество!—сказал Антонио, отступая в то время, когда он должен был склониться, чтобы принять из рук дожа драгоценную награду.—Я не избалован судьбою. Эта драгоценность, возложенная вашей рукой на мою обнаженную шею, будет не на месте; блеск золота еще больше подчеркнет мою нищету.

— Я думаю, что ты принял участие в состязании, имея в виду награду,—сказал удивленный дож.—Но ты прав, золотое украшение мало подходит к твоему ежедневному обиходу. Возьми его сейчас, а позднее передай его моему казначею, и он его заменит более подходящим для тебя золотом.

— Вы не ошибаетесь, ваше высочество: я рассчитывал на награду. Но не золото и не желание похвалиться перед товарищами этой драгоценностью заставили меня подвергаться презрению толпы и возбуждать недовольство высших. Хотя я беден, но мне достаточно моих заработков на лагунах. Но в вашей власти сделать счастливым человека перед концом его жизни. Верни, великий дож, мне моего внука и прости мою смелость.

— Да это, кажется, тот самый старик, который уже надоедал нам своей просьбой об юноше, взятом на службу государства?—сказал дож, лицо которого выражало холодное равнодушие.

— Да, это он,—ответил сурово синьор Градениго.

— Твое невежество возбуждает в нас жалость и даже смягчает гнев; получи эту цепь и ступай!

Взгляд Антонио не выразил страха; он стал на колени с глубоким почтением и, скрестив на груди руки, сказал:

— Сделайте милость, ваше высочество, выслушайте то, что я хочу вам сказать. Вы видите, что я человек бедный, живущий тяжелым трудом. Я стар. Я не обманываю себя надеждой, что скромное имя нашего рода будет среди тех патрициев, которые сражались за республику; этой чести удостоиваются только богатые; но если мои заслуги не будут вписаны в золотую книгу, то они записаны здесь,—сказал Антонио, указывая на шрамы на своей груди.—Вот доказательство моих боев с врагами родины, и, благодаря этим документам, я осмеливаюсь искать защиты перед Сенатом.

— Но ты не говоришь определенно, чего ты хочешь?

— Справедливости, ваше высочество. Похищена единственная крепкая ветвь старого дуба, отрезан его единственный отросток, и ввергнут в опасность единственный товарищ моих трудов и радостей. Дитя, в котором была вся моя надежда, еще совсем юное, неопытное в жизни, брошено в среду галерных матросов.

— И это все? А я думал, что тебе запретили ловлю на лагунах или что твоя гондола стала совсем плоха.

— Да, это все!—повторил с горечью Антонио.—Дожд Венеции, это все, и это выше сил старика с разбитым сердцем.

— Подойди, возьми эту золотую цепь, будь доволен своей победой, на которую ты не мог рассчитывать, и предоставь управлять государством тем, кто более, чем ты, способен держать в руках бразды правления.

— Нагни голову, рыбак. Его высочество передаст тебе награду,—сказал Антонио один из стоявших вблизи придворных.

— Мне ничего не надо, ни золота, ни другого весла, кроме того, с которым я ежедневно отправляюсь в лагуны. Верните мне моего внука: или он, или ничего!

— Пусть его уберут отсюда!—послышалось несколько голосов.—Он возбуждает смуту. Долой его с галеры!

Антонио свели с палубы „Буцентавра“ и столкнули в его гондолу.

Этот необыкновенный перерыв церемонии возмутил многих; подозрительность венецианских аристократов делала их решительными при подавлении всякого недовольства, хотя гордость повелевала им, обычно, скрывать действительные чувства.

— Пусть подойдет второй победитель,—сказал дож с самообладанием, сохранив которое ему позволяла только долгая привычка к притворству. Незвестный приблизился, не снимая маски.

— Ты выиграл второй приз,—сказал дож,—но по справедливости должен получить первый, потому что нельзя безнаказанно отвергать наших милостей. Встань на колени, и я передам тебе заслуженную тобой награду.

— Ваше высочество, простите за смелость,—сказал, кланяясь неизвестный,—но если вам угодно наградить меня за мой успех на гонках, то я тоже просил бы, чтобы награда была выражена в другой форме.

— Это что-то неслыханное. Отказываться от наград, присужденных самим дожем!

— Я не хотел бы быть более докучливым, чем мне это позволяет мое уважение к высокому собранию. Я прошу немногого, и, в сущности, это стоило бы дешевле для республики, чем то, что она мне сейчас предлагает.

— Ну, говори!

— Я тоже на коленях прошу исполнить просьбу рыбака и вернуть ему внука, иначе эта разлука пагубно подействует на юношу и омрачит дни старика.

— Это, наконец, становится скучным! Кто ты такой, чтобы настаивать на просьбе, в которой уже отказано? Сними маску, чтобы я знал, с кем я имею дело!

— Ваше высочество, я второй победитель на гонках. А относительно маски, я слышал, что в Венеции никому нет дела до имени и занятий человека, скрывшего свое лицо под маскою.

— Это справедливо, когда не оскорбляет республику; но здесь я должен быть осведомлен. И я тебе приказываю открыться.

Неизвестный понял необходимость повиноваться и снял медленно маску. Все увидели бледное лицо и блестящие глаза Джакопо. Невольно находившиеся поблизости от браво отступили и оставили его одного перед властителем Венеции, посредине широкого круга удивленных и заинтересованных слушателей.

— Я тебя не знаю!—вскричал с удивлением дож, посмотрев внимательно на Джакопо.—Вероятно, причины, ради которых ты не хотел снять маску, важнее тех, по которым ты отказываешься от награды.

Синьор Градениго подошел к дожу и тихо сказал ему несколько слов на ухо. Дожд быстро кинул на браво взгляд, в котором выразилось отвращение и любопытство. Потом он дал знак Джакопо удалиться.

— Мы займемся на досуге этим делом,—сказал дож,—не надо прерывать праздник.

— Гондольер дона Камилло Монфорте!—позвал герольд, повинувшись приказанию своего начальника.

— Я здесь, ваше высочество,—ответил взволнованный Джино.

— Ты родом из Калабрии, но, как видно, уже с давних пор привык к нашим каналам, иначе ты не обогнал бы наших лучших гребцов. Преклонись и получи награду за твою силу и ловкость.

Джино преклонил колено и принял награду с низким поклоном.

В эту минуту внимание зрителей было привлечено шумными криками, раздавшимися на воде в незначительном расстоянии от галеры дожа. Это лагунские рыбаки чествовали Антонио; тот, кого час тому назад они осмеивали, как самонадеянного хвастуна, вызывал теперь крики торжества.

Если бы торжество рыбаков ограничивалось этой естественной радостью, то неусыпная и подозрительная власть Венеции ничем бы не была оскорблена, но к крикам одобрения примешивались угрозы тем, кто не хотел вернуть внука Антонио. Рыбаки тесной толпой лодок, ничего не опасаясь, продолжали свой путь к Лидо, а в это время то здесь, то там в их толпу втирались уже лодки с агентами тайной полиции. В числе лодок была и лодка виноторговца, а в ней находилась Аннина. Она выехала с большим запасом товара, надеясь получить доход от своих обычных покупателей.

Гонки продолжались.

Хотя сенаторы делали вид, что интересовались происходившим перед их глазами, но на самом деле они прислушивались к каждому звуку, долетавшему с Лидо.

Но этот день прошел, как и все другие. Победители торжествовали, толпа аплодировала, а Сенат, по виду, сочувствовал развлечениям народа.

### ГЛАВА XI

Вечер этого дня прошел так же оживленно и весело, как и его начало. Большая площадь святого Марка была переполнена народом: шуты и плясуны развлекали народ своими прыжками, крики продавцов фруктов и других лакомств смешивались со звуками флейт, гитар и арф; бездельники и занятые люди, разговорщики и полицейские агенты бок-о-бок бродили в толпе... Близился рассвет, когда гондола с легкостью лебедя проскользнула мимо судов, стоявших в порте, и клювом<sup>1</sup> коснулась набережной в том месте, где канал святого Марка вливается в бухту.

— Добро пожаловать, Антонио, — сказал стоявший на набережной человек, подходя к прибывшему, — добро пожаловать, хотя час уже ранний.

— Я начинаю узнавать твой голос даже через маску, — отвечал рыбак; — друг, ведь я тебе обязан нынешним успехом, и хотя это не кончилось так, как я хотел, но все же я тебе очень благодарен.

— Ничего не поделаешь! Сенат не соглашается на уменьшение числа матросов на галерах. А теперь я надеюсь, что ты примешь из моих рук свою награду; я захватил с собой золотую цепь с веслом, вот они.

Антонио, уступая естественному любопытству, посмотрел на приз, но через минуту сказал решительно:

— Мне будет всегда казаться, что эта драгоценность — цена крови моего внука. Тебе ее дали, и возьми ее себе: ведь они отказались исполнить мою просьбу, так и этой цепи мне не нужно... По совести говоря, ведь ты ее выиграл. Не уступи ты мне...

— Как это ты, рыбак, не придаешь никакого значения разнице в летах и силе мускулов? Я думаю, что, присуждая награду, на это обратили большое внимание; все же видно было, что ты нас всех побил. И вот тебе мое слово: мне еще ни разу не приходилось гоняться с таким гребцом! Ты чуть касался веслами воды, а между тем твои удары были так сильны, что волны от них катились до Лидо.

— Да, какая-то внутренняя сила толкала меня вперед. Только ни к чему это не послужило!

— Это еще неизвестно, Антонио. Может быть, наши желания исполнятся. Так бывает иногда, когда мы меньше всего надеемся. Иди за мной, ведь меня прислали за тобой.

Рыбак с удивлением посмотрел на своего нового знакомого и, привязав лодку, собрался следовать за ним. Джакопо подождал Антонио. Когда тот подошел, он развернул плащ, который висел у него на руке, и, не спрашивая разрешения, набросил его на плечи рыбака. Затем он покрыл голову Антонио шапкой, которую носил сам.

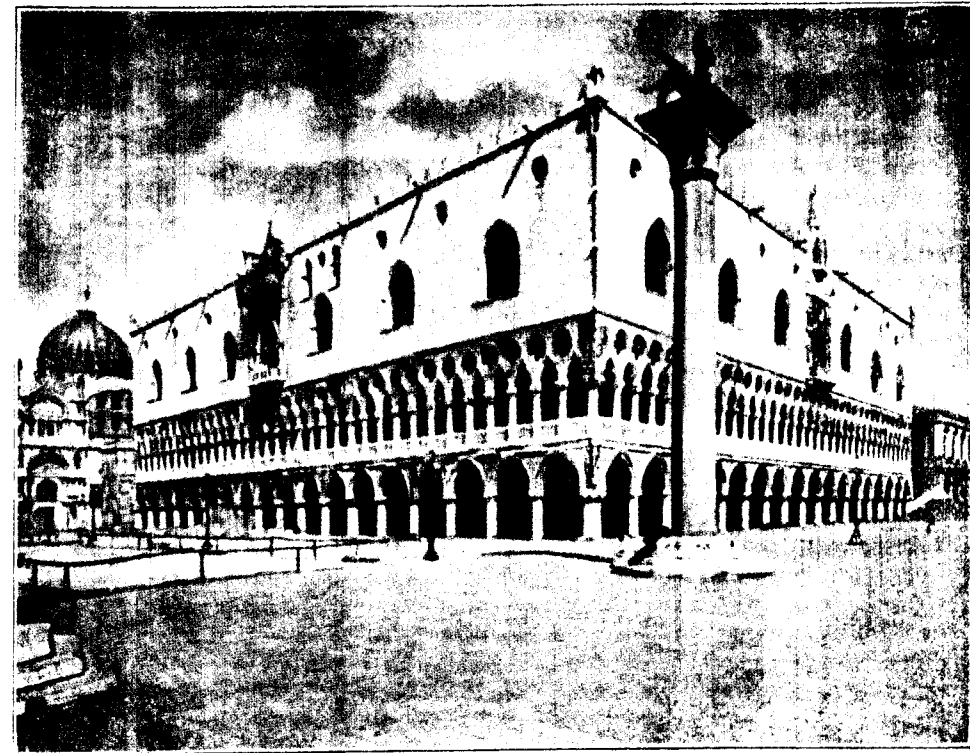
— Не нужно и маску надевать, — заметил он, осматривая своего спутника, — в этом наряде никто не узнает Антонио.

<sup>1</sup> Венецианские гондолы имеют на передней части поднятый металлический «клюв», в роде тех, которые изображаются на носу древних галер. (Прим. ред.)

— Да и это все лишнее, Джакопо. Я тебя очень благодарю за твое доброе намерение; оно сослужило бы большую службу, если бы богатые и сильные были более сострадательны. А что касается маски, то в ней нуждаются только негодяи да ночные воры.

— Ты ведь знаешь венецианские обычаи, а в нашем деле осторожность необходима.

— Но ты забыл, что твои намерения мне неизвестны. Я тебя еще раз искренно благодарю, но, Джакопо, меня печалит то, что ты носишь кличку, такую, что я желал бы, чтобы она не принадлежала тебе. Мне



Дворец дожей.

грустно было слышать, когда этой кличкой клеймили в Лидо человека, такого сострадательного к бедным и оскорбленным.

Молчание было нарушено глубоким вздохом Джакопо.

— Я не хотел тебя обидеть, — сказал рыбак.

— Ничего, Антонио, — отозвался Джакопо глухим голосом, — ничего, мы поговорим об этом после, а теперь иди за мной потихоньку.

— Они покинули набережную и, миновав первые ворота, очутились во дворе Дворца Дожей. Здесь, поднявшись по Лестнице Гигантов и пройдя мимо Пасти Льва, они быстро пошли вдоль открытой галереи, где их встретил алебарщик придворной стражи.

— Кто идет?—спросил гвардеец, выставляя вперед свое длинное и острое оружие.

— Друзья правительства и Венеции.

— Никто не имеет права проходить здесь в этот час.

— Остановись,—сказал Джакопо рыбаку и, подойдя ближе к алебардщику, сказал ему несколько слов на ухо. Алебарда была тотчас же отставлена, и часовой попрежнему зашагал по длинной галлерее.

Антонио, удивленный тем, что видел, следовал быстрым шагом за своим спутником. Он с трудом мог запоминать дорогу, потому что, покинув общий вход, они прошли через потайную дверь в темные коридоры. Наконец, они остановились в мрачной комнате, убранной очень просто.

— Оказывается, ты хорошо знаешь жилище нашего властителя,—заметил Антонио.—Самый опытный гондольер Венеции менее ловок на ее каналах, чем ты в этих коридорах.

— Моя обязанность привести тебя сюда, Антонио, а если я берусь за что-нибудь, то стараюсь сделать это как можно лучше. Ты не бойшься сильных, но все-таки будь поосторожнее в своих словах; они любят почтительную речь; собери все свое мужество, потому что решительные минуты наступают.

— Думается мне,—сказал старик, взглянув на товарища с простодушным видом,—что нет большой разницы между сильными и слабыми, если поглядеть на них без их одежды.

— Эту истину нельзя говорить здесь.

— Я сомневаюсь, Джакопо, чтобы я мог добиться у них чего-нибудь.

— Говори с ними так, чтобы ничем не оскорбить их самолюбия; они прощают многое, если ничто не угрожает их власти.

— Я лучше уйду отсюда, потому что я привык говорить то, что мне подсказывает сердце, и я думаю, что мне поздно учиться кривить душою. Скажи им, что я пришел сюда, чтобы почтительно поговорить с ними, но, предвидя бесплодность моих усилий, вернулся к моим сетям.

Антонио пожал руку своего неподвижного товарища и повернулся, чтобы уйти. Две алебарды скрестились у него на груди, и тут рыбак заметил, что два вооруженных гвардейца загородили ему проход, и что он стал, таким образом, пленником. Вместо того, чтобы вступать в бесплодный спор и выказывать испуг, Антонио с терпеливым и покорным видом повернулся к Джакопо.

— Это означает, что знаменитые синьоры желают мне оказать справедливость,—сказал он.—И было бы неприлично скромному рыбаку оказывать им в таком редком случае. Лучше бы, конечно, чтобы в Венеции употребляли меньше силы, решая, кто прав, кто виноват. Но сильные любят показывать силу, а слабые должны ей подчиняться.

— Увидим,—сказал коротко Джакопо, который не выказал ни малейшего волнения, когда его собеседник хотел удалиться.

Наступило глубокое молчание. Алебардщики сохраняли свои угрожающие позы, стоя у входа. Джакопо и его спутник помещались в центре комнаты.

Венецианская „республика“ того времени на деле являлась страной слепой и жестокой власти аристократии. Ее правительство обслуживало

лишь интересы немногих, пренебрегая нуждами народной массы. Народ был совершенно бесправен. Основанием венецианского управления было чиновничество, совершенно независимое от народной власти. Власть была захвачена исключительно дворянством. Достигнув известного возраста, все сенаторы вступали в число членов одного из государственных советов. Имена лиц знатных фамилий вписывались в так называемую „Золотую книгу“, и тот, кто пользовался этим отличием, за малыми исключениями (как, например, положение, в котором находился дон Камилло), мог участвовать в Сенате и добиваться даже власти дожа.

Так как Сенат был учреждением слишком громоздким, то наиболее важные дела были вверены особому совету, составленному из трехсот членов. Наконец, чтобы избежать медлительности, неизбежной все-таки при такой многочисленности, был избран Совет Десяти, облеченный исполнительной властью. Но государство, благосостояние которого было основано, главным образом, на поборах, собираемых с провинций, и существованию которого одинаково грозила столько же ложность его принципов, как усиление соседних государств, нуждалось в еще более действительном орудии правления. Поэтому в Венеции существовал еще безответственный Совет Трех, облеченный неограниченной властью. Этот Совет ведал секретными делами, которые он вершил в совершенной тайне. Выбор его членов происходил по жребию, и имена их были известны только трем его членам да нескольким чиновникам-исполнителям, вполне преданным правительству.

Совет Трех собирался тайно. Он выносил свои приговоры, обыкновенно не советуясь с другими государственными учреждениями, и поспешно и тайно приводил их в исполнение. Сам дож не был застрахован от его приговоров; даже больше того—был случай, когда один из Трех был осужден своими товарищами...

## ГЛАВА XII

Комната, в которой находился Антонио, была передней таинственного и страшного судилища—Совета Трех. Рыбак имел лишь смутное представление о существовании Совета, перед которым он должен был предстать. Он с интересом думал о том, кого он здесь встретит. Дверь открылась, и слуга дал знак Джакопо войти в нее.

Зала была не велика, пол ее был вымощен в клетку белым и черным мрамором, стены затянуты черным сукном. Единственная бронзовая лампа горела посредине на одиноком столике, покрытом, как и вся остальная обстановка, той же траурной материей. В углах комнаты стояли шкафы, которые, может быть, служили открытыми проходами в другие помещения дворца. Все двери были скрыты под обоями. В противоположной стороне от Антонио сидело три человека, но маски и складки их одежды не позволяли различить ни их лиц, ни фигур. Один из них был в яркомалиновом одеянии, оба другие—в черном. Все трое молчали, повидимому, чтобы произвести более сильное впечатление на Антонио.

Наконец судья в малиновом одеянии дал тайный знак начать допрос.

— Тебя зовут Антонио из лагун?—спросил один из секретарей.

— Да, ваше превосходительство. Я бедный рыбак.

— У тебя есть сын, которого зовут тоже Антонио?

— Вот уже двенадцать лет, как мой сын убит в числе многих в кровавом бою с турками.

Среди секретарей произошло замешательство; они с удивлением пересматривали бумаги и, как бы прося объяснения, смотрели на трех молчаливых судей. По тайному знаку человека в красном, Антонио и его спутника вывели из залы.

— Здесь допущена очевидная оплошность,—сказал сурово один из трех замаскированных, когда шаги выведенных затихли.—Венецианской инквизиции непозволительно делать подобные ошибки.

— Но это касается ведь только семьи никому не известного рыбака, милостивый господин,—ответил, дрожа, секретарь.—А может быть, он хотел нас обмануть с начала допроса.

— Ты заблуждаешься,—прервал другой из Трех.—Этого человека зовут Антонио Теккио, и он говорит правду. Его сын убит в сражении с турками. Тот, о ком идет здесь речь,—его внук, и он совсем еще ребенок.

— Благородный синьор прав,—ответил секретарь.—За множеством дел мы ошиблись, но мудрость Совета тотчас сумела это исправить. Венеция должна гордиться тем, что имеет среди своих благороднейших и наиболее старинных фамилий таких сенаторов, которые так осведомлены в делах своих самых последних детей...

— Пусть введут опять этого человека,—сказал судья, наклоня слегка голову в ответ на этот комплимент.—Где много дела, там неизбежны ошибки.

Необходимые распоряжения были сделаны, и Антонио с своим спутником были снова приведены.

— Твой сын умер на службе республики, Антонио?—спросил секретарь.

— Да, синьор.

— У тебя есть внук?

— Точно так, сенатор, у меня был внук, и я надеюсь, что он еще жив.

— Разве он не работает с тобой вместе в лагунах?

— Его у меня отняли, синьор, и в числе юношей, его сверстников, повели на галеры. Ваша светлость, я на коленях прошу вас замолвить слово за моего ребенка, если вам придется увидеть адмирала галерного флота... За все время до того момента, как он попал в когти святого Марка, он ни разу не огорчал меня.

— Поднимись, не в этом дело. Ты сегодня говорил с нашим славным правителем, дожем?

— Я просил его высочество дать свободу моему ребенку.

— И ты это сделал откровенно, без всякого уважения к высокому сану правителя республики.

— Я поступил как мужчина и, в частности, как отец, и если бы половина того, что рассказывают про справедливость республики, было верно, то его высочество выслушала бы меня, как человек и как отец.

Легкое движение среди Трех заставило секретаря остановиться. Заметив, однако, что его начальники молчат, он продолжал спрашивать:

— Ты действовал публично и перед сенаторами. Когда же ты увидел, что твоя неуместная просьба была отклонена, ты стал искать для исполнения ее других средств?

— Точно так, милостивый господин.

— Ты явился среди участников гонки в неподходящем для этого костюме, и ты пролез вперед между теми, кто добивался милости Сената и дожа.

— Я пришел в том, что ношу каждый день; а моим успехом я скорее обязан великодушию вот этого молодого человека, который сейчас рядом со мной, чем силе моего старого тела.

Снова движение любопытства и как бы удивления среди судей; секретарь прервал свой допрос.

— Ты слышишь, Джакопо,—сказал один из Трех,—что ты ответишь на это?

— Синьор, он сказал правду.

— Как ты осмелился фальшивить в таком состязании и ни во что не ставить волю самого дожа!

— Славный секретарь, я виновен, если считать преступлением то, что я пожалел старика, оплакивающего своего ребенка, и что уступил ему мой никого бы не обрадовавший успех.

Продолжительное молчание наступило после этого ответа. Тайный знак заставил секретаря продолжать:

— Итак, Антонио, ты обязан победой снисхождению твоего соперника, и твоим единственным желанием при этом было снова заявить ходатайство о молодом матросе?

— Да, синьор, у меня не было другой цели; первенство на гонках и награда за это не могут принести радости человеку моих лет. Золото ведь не залечит моих ран. Сжальтесь, милостивые господа! Верните мне моего ребенка, чтобы я мог своими советами направить его на все доброе, и чтобы он закрыл мне глаза при моей смерти. Что касается золота, то я вовсе не думаю о драгоценностях Риальто. Это не пустая похвальба: я предлагаю суду вот эту драгоценность.

Окончив это, рыбак несмело подошел к столу и положил на черное сукно блестящий перстень. Удивленный секретарь поднял драгоценность перед глазами судей.

— Что такое?—вскричал один из Трех.—Если не ошибаюсь, это залог нашего сегодняшнего обручения с морем!..

— Действительно так, славный сенатор. Этим самым кольцом господин наш дож обручился сегодня с Адриатикой в присутствии послов и народа.

— Можешь ли ты что-нибудь сказать по этому поводу, Джакопо?

— Нет, синьор; это для меня совершенно неожиданно.

Секретарь продолжал:

— Антонио, ты должен рассказать все подробно, каким образом попало к тебе это кольцо? Но говори только правду, если ты дорожишь жизнью.

— Должно быть, вам часто говорят неправду, синьор, что вы так угрожаете, но мы, из лагун, не боимся говорить о том, что видели и что сделали. Итак, синьор, между нами, рыбаками, существует предание, что будто в давние времена жил один рыбак. Однажды, закинув

сеть в заливе, он вытащил со дна морского тот самый перстень, которым обручился его высочество дож с Адриатикой. Бедному рыбаку, перебивавшемуся с хлеба на квас, кольцо было ни к чему, и он отнес его дожу. Об этом поступке рыбака и теперь часто рассказывают на лагунах и в Лидо и говорят, будто один венецианский художник воспроизвел все это на полотне, которое украшает теперь дворец. Будто дож сидит на троне, а счастливый рыбак стоит перед ним босиком и передает кольцо его высочеству.

— Да, действительно, все так происходило, и такая картина находится во внутренних покоях дворца.

— Вот как! А я и не предполагал, что богатые и счастливые помнят заслуги бедняков. А чьей она работы, не великого ли Тициана?

— Нет, она принадлежит кисти менее известного художника. Но продолжай рассказывать нам, как к тебе попало это кольцо.

— Ваше высочество, я не скрою от вас, что я часто завидовал моему счастливому собрату и не раз видел во сне, будто тяну сети, а сам думаю все об одном, чтобы мне найти кольцо. И вот, наконец, то, о чем я так долго мечтал, исполнилось. Много уж лет я здесь рыбаку, и все мели от Фузины до Джорджио мне хорошо знакомы. Я хорошо знал то место, где обыкновенно „Буцентавр“ бросает якорь во время церемоний, и в этом самом месте я разостлал сети по морскому дну в надежде выловить кольцо. И, чтобы приметить то место, куда упадет перстень, я подплыл к „Буцентавру“ и выкинул буюк сейчас после того, как дож бросил кольцо. Вот и вся моя история.

— У тебя была какая-нибудь причина так действовать?

— Конечно, я думал так: если дож и Сенат пожаловали свою милость рыбаку, нашедшему кольцо, то они охотно наградят и другого, отпустив на свободу его внука, который, по своей молодости, не может еще принести много пользы республике.

— А когда твою просьбу отклонили, и ты отказался от награды победителя, ты отправился к товарищам и стал возбуждать их, жалуясь на несправедливость святого Марка и на тиранство Сената?

— Ваша светлость, в этом не было надобности. Товарищи знали о моем несчастии, и все возмущались обращением со мной.

— Тебя видели во главе бунтовщиков, которые хвалились силой своего флота и угрожали флоту республики.

— А по-моему, между ними только та разница и есть, что люди нашего рыбацкого флота ездят на лодках с сетями, а другие—на казенных галерах. Чего ради они будут проливать кровь друг друга?

Движение между судьями проявилось заметнее прежнего, и, пошептавшись между собой, они передали секретарю бумагу, содержащую несколько слов, написанных карандашом.

— Итак, ты открыто говорил с товарищами о своих мнимых обидах, и вы сговаривались идти к дворцу дожа, чтобы требовать свободу твоему внуку от имени рыбаков Лидо.

— Да, синьор, некоторые были до такой степени великодушны, что предложили это. Но я—старик и знаю, как управляет святой Марк. Не мне верить, что какие-нибудь невооруженные рыбаки и гондольеры будут выслушаны с...

— Как, и гондольеры тоже на твоей стороне? А я полагал, что они завидовали твоему успеху.

— Гондольеры тоже люди, и им понятно как чувство зависти, так и чувство сострадания. И я боюсь, что будет сильное недовольство, если они увидят моего внука на борту галеры.

— Это твое мнение? А много насчитывается гондольеров в Лидо?

— Да, по окончании игр, ваша светлость, они прибывали сотнями, и я должен сказать: они всем жертвуют ради справедливости. Это вовсе не такое плохое сословие, как многие стараются доказать. Они такие же люди, как мы, и жалеют своего ближнего.

Секретарь кончил допрос; зловещее молчание наступило в темной зале. Через минуту один из Трех начал говорить.

— Антонио Теккио,—сказал он,—ты сам служил на галерах, и служил, говорят, честно. Почему же теперь ты имеешь к ним такое отвращение?

— Да, синьор, я служил на галере и сражался с турками, но я был совсем взрослым. И нет другой службы, которую бы мы исполняли так охотно, как охрана наших островов и лагун от неприятеля.

— И всех владений республики... Не должно делать никакого различия между владениями государства.

— Не все одинакового разума, синьор. Я вот не понимаю, почему Венеция имеет право распространять свои законы на Кандию или на Крит, а Турция там распоряжаться вы не позволяете...

— Смеее вы там у себя, в Лидо, рассуждать о правах республики относительно ее завоеваний! Может быть, вы не признаете за ней и славы?

— Ваша светлость, я ничего не понимаю в правах, приобретенных силою. И слава, о которой вы изволили сейчас говорить, может быть, легка для сенатора, но она давит рыбацкое сердце.

— Ты рассуждаешь, дерзкий, о вещах, которых не понимаешь.

— Очень жаль, синьор, что осужденные на страдание лишены понимания.

Выразительное молчание последовало за этим ответом старого рыбака.

— Теперь ты можешь удалиться,—сказал председатель Совета Трех.— Ступай и жди непогрешимого приговора святого Марка.

— Я повинуюсь вашему приказанию, но у меня так тяжело на душе, что раньше, чем уйти отсюда, я желал бы сказать еще несколько слов о моем внуке.

— Говори о чем хочешь, о твоих желаниях или печалях, если они у тебя есть. У святого Марка одна забота—исполнять просьбы своих детей. Говори, но воздержись от непристойных речей,—добавил тихо секретарь.

— Я не привык хвалиться моими заслугами перед государством, но всему есть границы, и отеческая любовь берет верх над скромностью. Благородные синьоры, вы богаты, могущественны, почитаемы и не знаете испытаний, которые выпадают на долю бедных. Я служил на галерах и потерял там сыновей одного за другим. И я решаюсь вам сказать, что если старый служака не имеет никого, кто бы мог прокормить его,



то Венеция обязана о нем позаботиться и не должна забывать, что и у лагунского рыбака есть сердце, как и у дожа на троне.

— Можешь удалиться,—сказал один из Трех.

— Я еще не кончил, синьор, и мне хочется сказать несколько слов о лагунских рыбаках, до какой степени они возмущаются действиями республики, безвинно отправляющей детей их на галеры.

— Послушаем, как они возмущаются...

— Благородные синьоры, я не буду повторять в точности их слова, чтобы не оскорбить ваш слух. Но они говорят, что святой Марк не должен делать различия между своими подданными и обязан выслушивать одинаково самого бедного, как и богатого.

— Да смеют ли они так рассуждать?

— Не знаю, синьор, смеют ли, но в этом глубокая истина. Мы, бедные лагунские работники, не роптали бы на свою судьбу, если бы Сенат признавал за нами человеческие права. Не всем на роду написано одинаковое счастье, но человек не имеет права осуждать на гибель невинные создания.

— Ты можешь удалиться,—сказал судья.

— Мне бы не хотелось,—продолжал Антонио,—чтобы человек моего сословия сделался причиной взаимного недовольства между правителями и подчиненными. Однако, я не мог не попросить о своем ребенке; но вы остались глухи к моей просьбе, вы даже отвернулись от меня, когда я стал говорить о ваших правах, как-будто я не должен был защищать ребенка, вверенного мне на старости лет. Так в этом справедливость святого Марка! Нет, эта черствость и пренебрежение к правам бедных допустимы только у какого-нибудь судьи из Риальто!

— Ты кончил, Антонио?—спросил нетерпеливо судья.

— Я знаю, что я вас утомил; я вам много сказал, потому что, хотя я вас и не знаю, но я предполагаю найти среди вас человека, ответственного перед врученным ему сокровищем. Напрасно вы говорите о справедливости, когда вся тяжесть вашей власти падает на самых слабых! И хотя вы сами можете ошибаться, зато самый бедный из гондольеров знает...

Джакопо остановил его в это мгновение, закрыв ему рукой рот.

— Кто тебе позволил прерывать жалобы старика?—спросил его мрачно судья.

— Непристойно такому собранию слушать неуважительную речь рыбака, сиятельный сенатор. Да и он сам потом поймет, когда будет хладнокровней.

— Святой Марк не боится правды. И если он хочет еще что-нибудь сказать, пусть говорит.

Но на Антонио напало раздумье. Он стоял смущенный, с опущенными глазами и молчал.

— Если я вас обидел, благородные господа,—сказал он, наконец, тихим голосом,—прошу вас забыть, что я сказал здесь лишнего; я не умею сдерживать свои чувства и, говоря правду, восстанавливаю против себя.

— Ты можешь удалиться.

Стражи приблизились и, повинаясь знаку секретаря, вывели Антонио и его спутника из залы. Секретари последовали за ними, и только трое тайных судей остались в зале, чтобы вынести свой приговор.

### ГЛАВА XIII

За этим допросом снова наступило молчание. Трое встали и начали переодеваться. Все они были очень пожилые люди. Они раздевались молча, находясь под неприятным впечатлением оконченного допроса. Освободившись от своих мантий, масок и капюшонов, они уселись удобнее вокруг стола.

— Вы слышали, что перехватили письма французского короля?—сказал один из них.—Кажется, письма касаются новых намерений императора.

— Что же, их вручили послу или представили в Сенат?—спросил другой.

— Мы потолкуем об этом на досуге. Больше я ничего не имею сообщить Совету, кроме того, что приказание задержать папского курьера не могло быть исполнено.

— Я слышал это от секретарей; необходимо обратить внимание на небрежность агентов, потому что мы могли бы извлечь из этого ареста полезные сведения.

— Так как эта попытка уже известна, и о ней уже говорят, то надо дать приказание казнить каких-нибудь негодяев, как-будто за нападение на курьера с целью грабежа. Иначе мы рассорим республику с ее друзьями... В нашем списке уже отмечены имена таких, которые достойны смертной казни.

— Мы об этом позаботимся, тем более если, как вы утверждаете, это дело такое серьезное. Каждый, кто небрежно относится к своим обязанностям, не может надеяться на снисхождение.

— Честолюбие Габсбургов<sup>1</sup> не дает мне покоя и во сне!—сказал другой, бросая на стол просмотренные бумаги.—До чего Австрия стремится увеличить свою территорию и распространить свое владычество за пределы рассудка и природы! Нам принадлежат уже давным-давно провинции, приспособленные к нашей системе управления. Эти провинции были покорены еще нашими предками, между тем, теперь они являются предметом жадной зависти наших соседей Габсбургов.

— А вы забываете притязания испанского короля?

— Да все они, кого ни возьмете, только и думают, как бы лишить нас наших доходов.

— Вот хоть бы португальцы! Они нам нанесли большой вред своими открытиями в Африке; без этого мы могли бы удержать торговлю нашими товарами в Индии. Я искренно признаюсь, что ненавижу этих выродков!

— Синьор Градениго, вы сегодня что-то задумчивы?

Третий член совета, не проронивший ни одного слова после ухода Антонио, был действительно синьор Градениго. Он медленно поднял голову.

<sup>1</sup> Габсбурги—династия австрийских императоров. (Прим. ред.)

— Допрос рыбака напомнил мне детство,—сказал он,—ведь мы с ним молочные братья, и первые годы нашей жизни прошли в совместных играх.

— Подобное родство, конечно, ставит нередко в неловкое положение. Но я доволен, что ваше волнение не имеет другой причины; а то я беспокоился, что до вас дошли слухи, которые распускают о вашем молодом наследнике...

Лицо синьора Градениго сразу изменилось, и он с тревогой взглянул на своих собеседников.

— В чем обвиняют моего сына?—спросил он нерешительно.—Вам понятно чувство отца, и я надеюсь, вы мне скажете правду.

— Синьор, вам известна расторопность агентов нашей полиции... Впрочем, то, что они донесли Совету о вашем сыне, не представляет собой ничего ужасного. Ему придется только проехать на время в Далмацию или провести лето у подножия Альп...

— Молодость—возраст необдуманности, синьор,—заметил отец, вздыхая с облегчением,—и каждому из нас хорошо известны слабости этого возраста. Но я ручаюсь за моего сына: он неспособен предпринять что-либо против республики.

— Его никто в этом и не подозревает.

При этих словах легкая ироническая улыбка скользнула по лицу старого сенатора.

— Утверждают, между прочим,—продолжал он,—что ваш сын слишком открыто метит на опекаемую вами девицу и на ее богатства... Молодая девушка—самое ценное сокровище Венеции, и нельзя допустить, чтобы за ней ухаживали без согласия на то Сената.

— Таков закон, и я ему повинуюсь,—отвечал Градениго,—я открыто заявил о своих планах на этот союз и с покорностью ожидаю решения Сената.

— Никто в этом не сомневается, достойный синьор Градениго, потому что твое повиновение государству всегда служило примером для юношества так же, как предметом похвалы людей пожилых. Что ты можешь сообщить относительно молодой наследницы?

— Я с сожалением должен вам сказать, что услуга, оказанная ей доном Камилло Монфорте, кажется, не на шутку вскружила ей голову, и я боюсь, как бы государству не пришлось бороться с ее женским капризом.

— Скажите: она доверена надежным людям?

— Да, синьор, ее воспитательница и компаньонка—особа, хорошо известная Сенату, без разрешения которого я не стал бы вмешиваться в это серьезное дело, требующее большой осторожности. Так как большая часть имений моей опекаемой находится в папских владениях, то, прежде чем притти к какому-нибудь решению, необходимо выждать подходящий момент, а потом воспользоваться и распорядиться ее правами и перевести ее имения в границы республики. Тогда уже можно будет и ею располагать, как будет более удобно для государства.

— Молодая особа обладает богатством и красотой, благодаря которым она могла бы быть полезной в тех сложных политических комбинациях, которые принесли бы пользу республике. Был же такой случай, когда

венецианская девушка, менее красивая, чем она, была выдана замуж за монарха.

— Синьор, эти дни, дни славы и величия, прошли безвозвратно... Если бы пренебрегли правами моего сына и если бы девушкой воспользовались для выгод республики, то все, что можно будет от этого ожидать, явится не более, не менее, как какой-нибудь уступкой в будущем договоре или поддержкой каких-либо новых интересов Венеции. В этом случае девушка будет, вполне возможно, полезнее самого старого и самого мудрого из членов нашего Совета. Но если бы выбор ее был свободен, и если бы она не видела препятствий к своему счастью, то правительству было бы необходимо принять немедленное решение относительно прав дона Камилло Монфорте. И лучше ничего нельзя сделать, как войти с ним в сделку, сделать ему некоторые уступки, чтобы он мог без отлагательств вернуться с свою Калабрию.

— Да, это важное дело и требует серьезного обсуждения.

— Он уже жалуется на нашу медлительность, и не без основания: вот уже пять лет, как дело его тянется. И мне кажется, что мы выиграли бы, удалив такого опасного человека с глаз и из памяти молодой девушки, сердце которой он сумел затронуть.

— Разве она так сильно им увлечена? В таком случае пусть она сходит на исповедь. Настоятель святого Марка внушит ей, если захочет, что неаполитанец—все равно, что чудовище. Но вспомни то время, мой друг Градениго, когда наказания были весьма бесполезны для обуздания твоего легкомыслия и твоего чрезмерного увлечения удовольствиями...

— Да, синьор Градениго был известный волокита в свое время,—заметил другой член Совета,—о нем много говорили и в Версале, и в Вене.

— Я протестую против этих обманчивых воспоминаний,—ответил уличаемый, между тем как легкая улыбка оживила его поблекшее лицо.—Мы были тогда молоды, синьоры, но никто среди нас не пользовался таким успехом, особенно среди французских дам, как тот венецианец, который только-что меня обвинял...

— Не говори, не говори! Все это пустяки... А вот мне помнится, я тебя видел в Мадриде, Энрико, и все говорили, что никогда еще не видели при испанском дворе более изящного и любезного кавалера.

— Ты был ко мне пристрастен, мой друг. Я был пылкий юноша, вот и все! Ты слышал, конечно, в Париже о моем деле с мушкетером?.. Да, в наше время столица Франции была самым приятным местопребыванием...

— Да, нигде не дышалось так свободно, как там. И сколько я там провел приятных часов! Скажите, вы никогда не встречали в Версале графиню Миньон?

— Тс! Ты становишься болтлив. Кто же ее не знал! А какая азартная игра шла тогда в модных домах!

— Я это хорошо знаю по моим расходам. Поверите ли, друзья мои, я потерял в один вечер за игорным столом известной, конечно, вам герцогини сумму в тысячу цехинов! И я так ясно это помню, будто это было не больше, как вчера.

— Да, и я помню этот вечер... Но я заплатила бы половину твоего проигрыша, только бы прочесть то письмо, которое ты получил после проигрыша от твоего отца.

— Ну, он об этом никогда не узнал. На что же были наши друзья, торговцы с Риальто! И спустя несколько лет мы с ними свели счеты.

Трое стариков весело засмеялись при приятных воспоминаниях, но эхо, повторявшее их смех в зловещей и мрачной зале, напомнило им об их обязанностях. Председатель Совета вытер слезы, вызванные припадком смеха, и принял обычный степенный вид.

— Синьоры,—сказал он, роясь в кипе бумаг,—прежде чем приступить к делу рыбака, мы должны справиться относительно печати, брошенной прошлой ночью в Львиную Пасть. Синьор Градениго, вам было поручено это расследование.

— Поручение это исполнено, синьоры, с успехом, которого я не ожидал. Вот донос, приписывающий дону Камилло Монфорте желание освободить донну Виолетту из-под власти Сената, с целью завладеть ею и ее богатством. Эта бумага приводит такие доказательства, которыми обвинитель может обладать единственно в том случае, если он является доверенным агентом со стороны неаполитанца. И в залог истины своих слов, как я предполагаю, он опустил в Львиную Пасть кольцо с печатью самого дона Камилло.

— Но верно ли, что это кольцо принадлежит неаполитанцу?

— Что касается кольца, то я в этом совершенно убежден. Вам известно, что я должен представить в Сенат доклады по делу дона Камилло, и мне приходится ради этого нередко посещать его. И вот я заметил, что у него в последнее время не видно на пальце перстня с печатью, который он имел обыкновенно носить постоянно. Кроме того, в тождестве кольца меня убедил мой ювелир Осия с Риальто.

— До сих пор все достаточно ясно, но то обстоятельство, что перстень находится при доносе, придает этому делу несколько неопределенный и даже подозрительный характер. Можете ли вы узнать почерк или объяснить, ради чего пущена в ход эта бумага?

Легкий румянец покрыл лицо синьора Градениго; но старый сенатор скрыл беспокойство и твердо отказался дать какие-либо объяснения.

— Раньше чем придти к какому-нибудь окончательному решению, необходимо в таком случае ждать новых доказательств. Слишком поспешное решение дела, касающегося одного из наиболее могущественных патрициев Италии, могло бы повредить репутации святого Марка.

— Но как бы наша излишняя осторожность не повредила делу моей молодой опекаемой?

— Разве мало в Венеции монастырей, синьор Градениго?

— Монастырская жизнь мало подходит к характеру моей воспитанницы,—ответил сухо синьор Градениго,—и я не рискнул бы проделать с ней такой опыт: золото—ключ, отпирающий самые крепкие кельи. Впрочем, по-совести, мы и не можем запереть в тюрьму ребенка, порученного попечению правительства.

— Синьор Градениго, мы имели уже по этому поводу серьезное совещание и советовались с его высочеством, мнение которого согласно с нашим. Ваш личный интерес к этой особе мог бы затемнить ваше,

обыкновенно здоровое, суждение; без этого, будьте уверены, мы пригласили бы и вас на совещание.

— Было решено,—продолжал другой из судей,—найти приличное уединенное место для донны Виолетты. Ты будешь пока освобожден от тяжелой должности опекуна, которая отнимала у тебя много времени.

Несмотря на вежливый тон этого сообщения, синьор Градениго понял, в чем его подозревали, но, чтобы избежать дальнейших обвинений, он с деланной признательностью ответил своим товарищам:

— Я вижу, что его высочество дож и вы, мои уважаемые товарищи, собрали этот совет, руководимые вашей сердечной добротой и расположением ко мне. Признаюсь, что очень не легко руководить капризным воображением женщины, но я готов снова взять на себя эту обязанность, когда это будет угодно правительству.

— Никто в этом не сомневается. Мы не можем не сознавать, что вы единственный человек, которому можно доверить это дело. Вы, конечно, согласны с нами, синьор, что было бы недостойно правительства республики оставить его воспитанницу в таком положении, которое может навлечь незаслуженные нарекания на одного из наиболее уважаемых и знатных граждан. Верьте мне, в этом деле мы меньше думали о самой Венеции, чем об ваших интересах, потому что, если бы неаполитанец разрушил наши планы, то на вас первого пало бы обвинение в этой неудаче.

Покончив с вопросом, требовавшим большого такта, так как дело касалось одного из членов Совета. Трое принялись за другие дела с тем поддельным безразличием, которое умеют придавать себе люди, привыкшие к интригам.

— Так как мы все так счастливо пришли к соглашению в деле донны Виолетты,—заметил холодно старший из сенаторов,—то мы можем просмотреть список очередных дел. Что говорит нам нового Львиная Пасть?

— Обыкновенные ничтожные обвинения, рождающиеся на почве личной злобы,—ответил другой.—Один доносит на своего соседа, что тот не исполняет правил религии, не соблюдает постов.

— Нет ли чего поинтереснее?

— Покинутая жена жалуется на своего мужа... А вот кто-то сетует на медлительность судей.

— На это надо обратить внимание, потому что дело тут касается репутации святого Марка...

— Э, полноте,—прервал синьор Градениго,—суд действует благоразумно. Тут тяжба одного торговца, который, как говорят, владеет важными тайнами. Это дело требует серьезных соображений, могу вас в этом уверить.

— Разорвите донос. Есть еще что-нибудь?

— Ничего серьезного.

— В таком случае не поговорим ли мы с его высочеством дожем, синьор?

— Но вы забываете о рыбаке,—заметил строго дон Градениго.

— Верно, верно! Ничто нужное не ускользнет от тебя, Градениго.

Старый сенатор, слишком опытный, чтобы поверить в искренность этих слов, все же счел нужным показаться польщенным и многократными

поклонами ответить на сделанный ему комплимент. Когда эта комедия окончилась, Трое открыли совещание по делу рыбака.

Заседание Совета на этот раз продолжалось так долго, что, когда оно окончилось, башенные часы на площади медленно пробили полночь.

— Дож, я думаю, ожидает нас с нетерпением,—сказал один из членов.—Мне показалось, что его высочество был более обыкновенного утомлен в этот раз на празднике.

— Его высочество уже не молод, синьор. Ведь он гораздо старше нас всех. Боюсь, что его пребывание у власти уже непродолжительно!

— Конечно, в нем уже видна дряхлость. Это достойный правитель, и с его смертью мы потеряем в нем отца. Синьор Градениго, ты сегодня особенно задумчив и никогда не был так молчалив со своими друзьями.

— Но это не значит, что я менее признателен им за дружбу, синьор. И если лицо мое кажется грустным, то лично я доволен. Радость, как и горе, вызывает иногда слезы.

Оба сенатора взглянули с видимым сожалением на своего товарища, и Трое покинули Залу Приговоров. Вошедшие слуги потушили огни, и зала погрузилась в темноту.

#### ГЛАВА XIV

Несмотря на поздний час, музыка еще раздавалась на каналах Венеции. Пьяцетта была еще освещена и наполнена праздной толпой, которая, казалось, не знала усталости.

Жилище донны Виолетты находилось вдали от места развлечений, но все же неясный гул голосов и звуки духовых инструментов время от времени долетали и сюда.

Луна оставалась в тени всю ту часть узкого канала, на которую выходили окна внутренних покоев Виолетты.

Девушка отдыхала на балконе, висевшем над водою. Ее постоянная спутница, которая была в то же время и ее наставницей, сидела около нее, а их общий духовник находился внутри комнаты.

— Может быть, есть на свете более великолепные города, но в такую ночь ничто не может сравниться с Венецией,—сказала Виолетта, отходя от перил балкона.

— Ну, нет, дочь моя,—отозвался монах,—из всех городов знойной Италии Неаполь самый красивый и наиболее одаренный природой город.

— Должно быть, это и на самом деле необыкновенный город, если может воспламенить даже ваше воображение.

— Это замечание справедливо: я предался воспоминаниям молодости более, чем это подобало бы мне...

В это время на канале, под балконом Виолетты, послышалась музыка. Девушка вздрогнула, щеки ее вспыхнули румянцем, и она, казалось, переживала то сладостное ощущение, которое возбуждает нежная и красивая музыка.

— Это едут музыканты,—заметила тихо донна Флоринда.

— Нет, это какой-то кавалер. На гондоле много слуг и гондольеров в ливреях.

Нельзя было дольше сомневаться: это была серенада. Хотя серенады—дело обычное в Венеции, но под окнами донны Виолетты она давалась впервые. Уединенная жизнь девушки, строгий надзор над ней обрекали на неудачу подобные попытки молодых людей.

— Это для меня!—прошептала Виолетта, дрожа и от страха, и от радости.

— В самом деле, это для кого-нибудь из нас,—ответила осторожно донна Флоринда.



Пьяцетта.

— Для кого бы то ни было, но это дерзость,—сказал монах.

— Ах, это ария на слова Петрарки!

— В первой гондоле музыканты в ливреях какой-то патрицианской фамилии, а во второй—один только кавалер,—сказала донна Флоринда, внимательно рассматривавшая гондолы.

— Есть гребцы, или он сам управляет гондолой?

— Это было бы неприлично; на корме гондольер в шелковой куртке, украшенной цветами.

— Поговори с ним, милая Флоринда! Я тебя прошу.

— Да разве можно?

— Конечно! Скажи им, что я в полной власти Сената, что нельзя петь под моими окнами; скажи, что хочешь, только скажи что-нибудь.

— Да это дон Камилло Монфорте!

— Такая смелость может его погубить; прикажи ему поскорее уехать, милая Флоринда. Но, может быть, мы не имеем права обращаться так с лицом его положения? Отец, дайте ваш совет, что делать? Вы видите, в какой он опасности.

Волнение Виолетты удивило монаха. Он молча оставил свое кресло и направился на балкон.

Музыка сразу затихла, и вместо нее послышались равномерные удары весел.

— Он уехал!—вскричала молодая девушка.—А мы не успели даже его поблагодарить.

— Тем лучше, иначе мы придали бы слишком уж много значения такому и без того серьезному происшествию. Ты не должна забывать о твоём высоком назначении, дочь моя. Войди в комнату.

Оставшаяся на балконе донна Флоринда внимательно следила за гондолами и передавала свои наблюдения Виолетте:

— Гондолы ушли; та, в которой сидят музыканты, выезжает уже на Большой канал, но я не вижу, что случилось с той, в которой сидел кавалер.

— Посмотри хорошенько, не может быть, чтобы он так скоро удалился.

— Вижу, вижу: его гондола остановилась возле моста нашего канала. Слуга как-будто ждет кого-то на ступеньках набережной, а самого кавалера там нет.

— Вдруг с ним что-нибудь случилось?!

— Ничего дурного! Я счастлив, что могу быть здесь!—сказал кто-то около Виолетты.

Она обернулась и увидела того, кем были полны ее мысли.

— Как это неблагоприятно!—сказал с упреком отец Ансельм.—Дон Камилло, вы меня заставите сожалеть, что я уступил вашей просьбе. Вы нарушаете наши условия.

— Отец, напрасно противиться тому, что должно случиться. Не правда ли, прекрасная Виолетта, вы не позволите Сенату распоряжаться вами? Вы не согласитесь выйти замуж за какого-нибудь корыстолюбца?

— Камилло, вы ведь знаете законы Венеции, и я не надеюсь избежать их.

— Герцог святой Агаты,—сказал монах,—я позволил вам войти во дворец, чтобы избежать скандала и чтобы спасти вас от гнева Сената. Опасно поощрять надежды, противные целям республики. Не забывайте ваших обещаний.

Все зависит от донны Виолетты. Ободрите меня одним вашим взглядом, и тогда ничто,—ни Венеция с ее инквизицией, ни сам дож,—ничто не будет в состоянии оторвать меня от вас.

— Камилло,—ответила дрожащая девушка,—вы мой спаситель!

— Перестаньте, герцог святой Агаты!.. Дочь моя!..

— Не слушайте его, донна Виолетта: он говорит так потому, что не испытал силы страсти. Холод кельи заморозил его сердце. Если бы он

был настоящим мужчиной, он любил бы; а если б он любил когда-нибудь, на нем не было бы теперь его кармелитской одежды.

Лицо отца Ансельма покрылось мертвенной бледностью, губы зашевелились, и он что-то хотел сказать, но вместо слов послышался тяжелый, подавленный вздох. Флоринда поспешила встать между дном Камилло и своей воспитанницей.

— Все это, может быть, так, как вы говорите, синьор Монфорте, но вы должны же знать, что Сенат взял на себя право найти человека, достойного наследницы богатого дома Пьеполо. И может быть, Сенат выберет ей не менее достойного, чем герцог святой Агаты!

— Разве это может случиться?—вскричала Виолетта.

— Не верьте этому, донна Виолетта! Цель моей поездки в Венецию—не тайна. Я приехал требовать возвращения мне наших родовых владений и звания сенатора Венеции, которое мне принадлежит по справедливости. Но я все оставляю, если вы мне дадите хоть маленькую надежду.

— Слышишь, что он говорит, Флоринда? Дон Камилло неспособен обманывать,—сказала, еще более зардевшись, молодая девушка.

— Согласитесь быть моею, Виолетта, а там в Калабрии, в моем укрепленном замке, месть и хитрости Сената не будут нам страшны. Они полагают, что могут распоряжаться вами так, как им вздумается; а вы разрушите их планы. Я прочел в ваших глазах, что вы решитесь на это, Виолетта...

— Я не хочу быть проданной, дон Камилло; рука моя должна быть отдана мною добровольно. Еще недавно синьор Градениго сказал мне, что мне будет предоставлен свободный выбор... Он говорил мне о каком-то новом помещении для меня...

— Не верьте ему, это самый черствый и эгоистичный человек в Венеции. Он хочет устроить вам брак со своим распутным сыном. Повторяю вам: не верьте ему, потому что он лжив до мозга костей.

— Если это действительно так, то он сильно ошибается в расчетах, потому что из всей молодежи Венеции Джакомо Градениго мне меньше всех нравится.

— Это свидание должно же когда-нибудь окончиться,—сказал монах,—я боюсь, как бы о нем не узнали. Ведь мы окружены шпионами, и ни один дворец в Венеции не охраняется так строго, как наш. А если ваше присутствие здесь, герцог, будет обнаружено, то вам не избежать тюрьмы.

— Я ко всему приготовился. Мне бы только иметь уверенность в вашей любви, Виолетта, а в остальном положитесь на меня.

— Флоринда, ты слышишь, что он говорит?

— Девушке твоего положения надо быть осторожнее и повиняться выбору твоих опекунов.

— А если они выберут Джакомо Градениго?

— Сенат не хочет и слышать об этом молодом человеке. Хитрость его отца тебе давно известна, и ты должна была заметить из его обращения с тобой, что он сам сомневается в решении Совета. Много кавалеров ищут твоей руки, и теперь правительство избирает тебе партию, достойную тебя.

— А дон Камилло разве не достоин меня?

Снова вмешался монах:

— Это свидание не должно продолжаться дольше. Уходите, синьор, иначе вы нарушите ваше честное слово.

— Как, уйти одному?

— Но разве может донна Виолетта покинуть сразу дом своих предков.

— Синьор Монфорте,—тихо, но решительно сказала Виолетта.—Вы, идя на это свидание со мной, не могли рассчитывать на немедленный ответ на ваше предложение... Но, что оно будет принято благосклонно, пусть послужит залогом...

— Залогом?

— Вот вам мой залог,—сказала Виолетта, протягивая ему руку.

Гувернантка и монах вскрикнули от неожиданности.

— Простите мне мою поспешность, друзья мои,—обратилась к ним Виолетта,—но не забывайте, что если бы дон Камилло не бросился без колебаний в Джудекку, то я не могла бы сейчас оказать ему это маленькое внимание. Зачем же мне быть менее его великодушной? Знайте, Камилло, если Сенат меня заставит выйти за другого, то это будет моим приговором к безбрачию.

Эта искренняя речь Виолетты была прервана звонком доверенного слуги, которому было приказано извещать таким способом о своем приходе.

— Что это значит?—сказал взволнованно монах, обращаясь к вошедшему лакею.—Как ты смел войти без моего приказа?

— Батюшка, там внизу чиновники. От имени республики они требуют, чтоб их впустили сюда.

— Дело принимает серьезный оборот,—сказал дон Камилло, который казался спокойнее всех.—Мое посещение открыто. Успокойтесь, я один буду в ответе, если на это посмотрят, как на преступление.

— Это полицейские агенты?—спросил монах.

— Батюшка, это высшие должностные лица, имеющие знаки отличия.

— И чего они хотят?

— Они имеют сказать что-то лично донне Виолетте.

— Это, кажется, не так опасно,—заметил монах, облегченно вздыхая. Он отворил дверь в домовую молельню:—Войдите сюда в часовню, дон Камилло,—сказал он.

Так как раздумывать было некогда, то дон Камилло повиновался приказанию монаха. Дверь часовни затворилась за ним, и слуги ввели ожидавших.

Вошел человек, в котором сразу можно было узнать одного из высших агентов по тайным делам государства. Донна Виолетта с присущей ей приветливостью пошла ему навстречу.

— Чему должна я приписать ваше посещение?—сказала она, отвечая легким кивком головы на глубокий поклон чиновника.

— Сударыня, мне приказано видеть состоящую на попечении правительств донну Виолетту, наследницу знаменитого дома Пьеполо, вместе с донной Флориндой Меркато, ее наставницей, с ее духовником, отцом Ансельмом, и с прочими, имеющими удовольствие находиться в ее обществе.

— Все, кого вы желаете видеть,—перед вами: я—Виолетта Пьеполо, эта дама заменяет мне мать, а этот почтенный отец—мой духовник. Нужно ли позвать моих служителей?

— Нет, это лишнее. Мое поручение скорее секретного, чем публичного характера. После смерти вашего уважаемого батюшки, известного сенатора Пьеполо, заботы о вашем воспитании были поручены республикой опеке и мудрости синьора Александра Градениго. Теперь Совет решил взять на себя непосредственные заботы о вашей особе, сударыня.

— Не правда ли, это надо понимать так, что синьор Градениго не состоит больше моим опекуном?

— Точно так, сударыня. Этот благородный патриций освобожден от обязанностей, которые он так удачно исполнял. Завтра вам будут названы ваши новые опекуны, имеющие состоять ими впредь до того времени, когда Сенату будет угодно заключить ваш брак с особой, достойной ваших несравненных качеств.

— Не хотят ли меня заставить расстаться с теми, к кому я так привыкла и которых так люблю?—спросила запальчиво молодая девушка.

— Положитесь на мудрость Сената, сударыня. Я не знаю его решений относительно тех, кто вас окружает, но нельзя сомневаться в его доброте и осторожности. Мне остается сказать, что для вас приличнее было бы сохранить прежнюю осторожность и не принимать лишних посетителей. Ваша дверь должна быть закрыта для синьора Градениго, как и для других мужчин.

— Разве я не могу поблагодарить его за заботы обо мне?

— Сенат сам об этом позаботится. Теперь мое поручение исполнено, сударыня, и я имею честь вам откланяться, глубоко польщенный тем, что Сенат нашел меня достойным предстать перед вами.

Когда чиновник окончил свою речь, Виолетта, ответив на его поклон, испуганно посмотрела на своих опечаленных друзей.

Двусмысленные слова посланного были, однако, достаточно понятны, чтобы отнять надежду на лучшее будущее. Все трое со страхом думали, что завтра, может быть, им придется расстаться, хотя и не могли понять причины этой внезапной перемены в намерениях Сената. Но чиновник не торопился уходить. Он пристально посмотрел на монаха, как бы обдумывая какую-то вновь явившуюся у него мысль.

— Почтенный отец,—сказал он, могу ли я просить вас на одну минуту поехать со мною по делу, касающемуся души грешника?

Несмотря на волнение, монах, не колеблясь, пошел за чиновником до его гондолы.

— Вы должны пользоваться большим уважением Сената,—заметил посланный,—если он доверил вам ту особу, в которой он принимает живое участие.

— И я горжусь этим доверием, мой друг.

— Люди, подобные вам, почтенный отец, достойны общего уважения. Скажите, давно вы в Венеции?

— Я приехал в этот город в качестве духовника последнего посланника Флоренции.

— Да, это почтенное место. Таким образом, вы давно уже здесь, и вам должно быть известно, что республика не забывает заслуг и не прощает обид.

— Венеция—старинная республика, влияние которой настигает и вблизи, и вдали...

— Будьте осторожны на этих ступеньках, почтенный отец; они опасны для тех, кто их не знает.

— Я слишком привык к ним, чтобы бояться. Надеюсь, что схожу по ним не в последний раз?

Посланец притворился, будто не понял этого вопроса, и ответил только на первое замечание.

— В самом деле, республика стала стара, и всякий, кто любит свободу, должен жалеть об ее упадке. Да. „Так проходит слава мира!“ Вы, кармелиты, хорошо делаете, умерщвляя в юности свою плоть. У вас на совести нет ошибок молодости?

— Никто не без греха,—ответил монах.

— Людям моего положения редко приходится беседовать с своею совестью. И я рад, что встретил такого святого человека... Гондола моя здесь, войдемте в нее.

Монах недоверчиво посмотрел на своего спутника, но, сознавая бесполезность сопротивления, вошел в каюту гондолы вслед за чиновником. Весла сразу ударили по воде.

## ГЛАВА XV

Луна освещала купола и кровли Венеции. Бухта блестящей каймой облегла внешнюю часть города, и эта естественная рама была, пожалуй, красивее самой картины, потому что в эту минуту, как бы ни была богата Королева Адриатики памятниками, пышностью дворцов и всем, чем она обязана искусству и промышленности, все это отходило на второй план перед величием ночи.

Небо было усеяно звездами. Внизу лежало спокойное Адриатическое море. Ни шум весел, ни веселый смех, ни мелодичное пение—ничто не нарушало тишины. Город и лагуны, залив и высокие Альпы, бесконечные равнины Ломбардии и лазурь неба,—все наслаждалось торжественным покоем.

Вдруг появилась гондола. Выйдя из городских каналов, она направлялась в море, придерживаясь ближе южных выходов из залива и острова святого Георгия. Сильная и опытная рука управляла гондолой; быстрота, с которой она подвигалась, свидетельствовала, как спешил ее хозяин. Гребец часто оборачивался назад, как бы боясь погони, и потом снова внимательно всматривался вдали, ища что-то впереди.

Наконец, черная точка показалась на волнах, и мелодичные звуки отдаленной песни разнеслись по лагунам. Это пел человек на барке. Мотив был хорошо известен всем рыбакам и гондольерам, и особенно тому, кто ее слушал в этот момент.

Гондольер сделал несколько сильных ударов весла и очутился рядом с баркой.

— Ты сегодня рано выехал на рыбную ловлю, Антонио,—сказал гондольер, переходя в барку старого рыбака,—а другие на твоём месте, после свидания с Советом Трех, долго не могли бы уснуть.

— Нигде рыбак не может так свободно беседовать с своею совестью, Джакопо, как здесь, на лагунах. Но с некоторого времени я так был занят мыслью о моем внуке, что забыл про все остальное, даже про еду. А если я уже теперь, в необычный час, так это оттого, что человек не может жить одним горем.

— Я думал о твоём положении, Антонио; вот возьми эту корзину, здесь есть кой-что, чтобы поддержать твою жизнь и восстановить твою бодрость; вот далматский хлеб, вино из южной Италии и винные ягоды с Востока; поешь и соберись с силами,—сказал браво, вытаскивая корзину из своей гондолы.

Рыбак кинул завистливый взгляд на корзину с едой, но не выпустил удочки.

— Это ты сам от себя принес мне, Джакопо?—спросил он.

— Антонио, прими это от человека, который уважает тебя за твою честность и храбрость.

— И все это куплено на его заработанные деньги?

— Иначе не может и быть, ведь я не побираюсь по городу. Так ешь скорей, поверь, все я предлагаю тебе от чистого сердца.

— Убери эту корзину, Джакопо, и не искушай меня, это выше моих сил.

Почему ты не хочешь поесть?

— Я не могу питаться тем, что стоит пролитой крови...

Протянутая рука Джакопо упала, как-будто пораженная молнией. Антонио взглянул на собеседника и, несмотря на всю твердость своих убеждений, смутился под гордым взглядом Джакопо.

— Я сказал так, Джакопо, потому что привык говорить то, что думаю. Но поверь мне, я так говорю не из ненависти, а из жалости к тебе; после моего внука я более всех жалею тебя.

Браво ничего не ответил и тяжело вздохнул.

— Джакопо,—продолжал рыбак заботливым тоном,—не сердись на меня за то, что я тебе сказал. Жалость бедного и страдающего не похожа на презрение богатого и знатного человека. Твоя печаль мне дороже твоей радости.

— Перестань, старик, и ешь безбоязненно: все это было куплено на честный заработок.

— Не надо, Джакопо. Мы, рыбаки, привыкли ложиться без ужина.

Браво перестал настаивать на своей просьбе. Приняв обратно корзину, он задумался над тем, что произошло.

— Неужели ты только для этого и ехал сюда?—спросил Антонио, желая смягчить свой отказ.

Этот вопрос, казалось, напомнил браво причину его поездки. Он поднялся и внимательно огляделся кругом. Он вглядывался больше в сторону города. Невольная дрожь выдала его удивление и испуг.

— Посмотри, там, кажется, военная лодка?—спросил он поспешно, протягивая руку в сторону города.

— Да, пожалуй, правда. Это не могут быть рыбаки: час еще ранний; но с некоторого времени ловля стала очень неудачной, да еще вчерашний

праздник отвлек многих от работы. Так уж положено, что бедные работают, а патриции едят.

Браво тихо опустился на скамью и беспокойно посмотрел в лицо своего спутника.

— Ты уж давно здесь, Антонио?

— Не больше часа. Помнишь, когда нас отпустили из замка, я тебе рассказал о моей бедности. Обыкновенно это место считается самым лучшим для рыбной ловли, а вот сегодня я понапрасну бьюсь здесь. Да, голод не тетка, но и его приходится переносить, как и другие страдания... Джакопо, ты привык к обращению патрициев, которые меня допрашивали. Как ты думаешь, послушаются они рассудка? Надеюсь, я не повредил моему делу тем, что говорил с ними откровенно, как с людьми, имеющими сердце?

— Сенаторы не имеют его. Ты не представляешь себе ясно душевного склада этих патрициев. В тесной беседе они в лучших выражениях будут отзывать о человечестве и о справедливости. Но когда они собираются вместе, чтобы защищать интересы своего Марка, то делают бесчувственное камня и бессердечнее зверя.

— С тобой сегодня тяжело говорить, Джакопо. Мне не хочется быть несправедливым даже к тем, кто мне выказал несправедливость. Сенаторы тоже люди и имеют человеческие чувства.

— Антонио, ты сам много страдал, поэтому чересчур снисходителен к другим. Сенаторы не умеют жалеть: их детей не берут в гребцы на галерах, их надежды не бывают обмануты законами неумолимого господина, им не приходится плакать от развращения их детей, осужденных жить с отбросами общества.

— Джакопо, люди разные: один велик, другой мал, этот силен, а тот слаб; есть люди очень честные, есть подлые.

— Послушай, Антонио, что я тебе скажу: ты их оскорбил своим разговором, и ты в опасности в Венеции. Они все простят, кроме жалоб на их несправедливость.

— Неужели они захотят повредить человеку, который ищет своего ребенка?

— Если бы ты был какой-нибудь патриций, лицо с положением, то они потихоньку подкопались бы под твое богатство и репутацию, прежде чем ты мог бы стать опасным их системе. Но так как ты беден и слаб, то они уничтожат тебя без всяких церемоний... Посмотри, а лодка-то сюда подвигается очень быстро. Вид ее и движения мне что-то подозрительны.

— Да, это не рыбацкая лодка; она с каютой, и на ней несколько гребцов.

— Это правительственная гондола!—воскликнул Джакопо, поднимаясь и прыгая в свою гондолу. Подумав немного, он добавил:— Антонио, нам лучше расстаться.

— Твои опасения вполне естественны,—ответил рыбак спокойным голосом.—И мне жаль, что ты имеешь причины бояться. Бедный Джакопо!

— Антонио, снимайся скорее с якоря. Я знаю эту гондолу. Люди на ней лживы, как демоны... Но мне больше нельзя с тобой оставаться, я удаляюсь.

Гондола продолжала приближаться и привлекла к себе внимание старика. Джакопо въехал в блестящую полосу лунного света, которая, ослепляя глаза, мешала различить, что находилось на ее протяжении. Когда рыбак увидел, что браво исчез, он улыбнулся и вздохнул свободнее.

— Пусть они подехали бы ко мне,—прошептал он.—Тогда у Джакопо было бы больше времени, чтоб скрыться. Должно быть, бедняга, оставив замок, успел нанести еще удар кинжалом, и теперь Совет не хочет больше ему прощать...

Антонио замолчал, потому что казенная гондола с шумом остановилась около его лодки, человек из гондолы перешел к нему, и гондола мгновенно, отъехав на некоторое расстояние, остановилась неподвижно.

Ночь была светлая, и рыбак мог разглядеть одежду и внешность босого кармелита. Монах казался сильно смущенным быстротою всего происшедшего. И еще большее смущение и удивление выразились на его поблекшем лице, когда он увидел перед собой в лодке седого, смиренного старика.

— Кто ты такой?—спросил он с удивлением.

— Лагунский рыбак Антонио.

— Чем навлек ты на себя гнев Сената?

— Я сам честен и готов быть справедливым к другим. Если это оскорбляет старших, то они заслуживают не зависти, а жалости.

— Виноватые никогда не сознают своей вины, а считают себя обиженными.

— Скажите это патрициям: они нуждаются в советах.

— Послушай, в твоих словах слышится гордость и озлобление.

— Вы, может быть, приехали сюда исповедать осужденного?

— Да. Это мне поручено... Я сожалею об этом. Если то, чего я так боюсь, справедливо, то я еще больше жалею, что пожилой человек, как ты, навлек на себя гнев Сената.

Антонио улыбнулся и посмотрел в сторону полосы лунного света, в которой скрылась гондола браво.

— Отец, не беда сказать правду человеку вашего сана. Не правда ли, вам сказали, что здесь в лагунах есть преступник?

— Ты не ошибся.

— Не легко узнать, удовлетворен или недоволен святой Марк,—продолжал Антонио с спокойным видом, поправляя свою удочку.—Он долго терпел того, кого теперь ищет. У Сената есть свои причины, недоступные пониманию темного люда... Но все-таки можно пожалеть, что республика с самого начала не отвлекла молодого человека от его худого ремесла.

— Ты говоришь о ком-то другом. Так ты не тот преступник, которого сейчас ищут?

— Я убивал только на войне. Сейчас, однако, здесь был один, который не мог бы сказать того же самого...

— Где же он?

— Он уехал; отсюда он недалеко, но его не легко догнать.

Монах сел и опустил голову.

— Вам досадно, отец, что преступник исчез?



— Наоборот, мой друг, я рад, что избежал этой тяжелой обязанности. Надо позвать приехавших со мною агентов правительства и сказать им, что сейчас они не могут исполнить то, что им поручено.

Монах дал знак гребцам подплыть. Двое вошли в лодку рыбака и помогли монаху перейти в правительственную гондолу.

— Получил осужденный отпущение?—спросил тихим голосом тот из вошедших в лодку, который казался начальником.

— Здесь произошла ошибка,—так же ответил монах.—Тот, кого ты ищешь, скрылся, а это рыбак Антонио, человек, не способный оскорбить святого Марка. Bravo уплыл к острову святого Георгия, и его надо искать в той стороне.

Офицер не стал долее задерживать монаха и дал ему войти в каюту гондолы... На нос рыбацкой лодки была закинута петля, чтобы взять лодку на буксир. Якорь лодки Антонио был поднят в то же мгновение, затем что-то плеснуло, словно тяжелое тело упало в воду, и обе лодки, гонимые сильными ударами весел, быстро пошли по направлению к берегу. Прежнее число гребцов управляло гондолой с черной каютой, похожей на катафалк. Лодка рыбака плыла сзади пустая...

Шум первого удара весел и падения в воду тела Антонио слились в один звук. Когда через несколько секунд спустя рыбак показался на поверхности воды,—он был один посредине широкой и недвижимой водной скатерти. У него мог бы быть луч надежды, если бы башни Венеции не были так далеко, и, кроме того, его силы не были бы истощены голодом и усталостью. Обе лодки стремительно уходили к городу; Антонио повернулся в другую сторону и, употребляя все силы, чтобы удержаться на воде, старался отыскать на поверхности воды черную точку, в которой раньше узнавал лодку браво.

Джакопо с большим вниманием следил за всем происходившим на лодке Антонио. Благодаря своему выгодному положению, он мог наблюдать, не будучи замеченным. Он видел, как монах встал, как гондола подъехала к лодке; он слышал всплеск, более громкий, чем от работы весла; наконец, он увидел, как гондола увозила пустую лодку Антонио. И как только гондольеры ударили веслами по воде лагуны, Джакопо начал грести назад.

— Джакопо! Джакопо!—слабо долетело до него издали, и крик заставил его вздрогнуть.

Он знал этот голос, и понимал причину этих криков отчаяния. Bravo удвоил силу, и гондола еще быстрее понеслась вдоль блестящей полосы, оставляя за своей кормой кипящую пену.

— Сюда, Джакопо! Ты идешь в сторону.

Ход гондолы изменил направление, и зоркий глаз браво увидел маленьком голову рыбака.

— Скорей, милый Джакопо! Силы мне изменяют.

Плеск воды под веслами опять заглушил голос, полный предсмертного отчаяния.

— Джакопо! Я здесь, милый Джакопо!

— Я еду, еду!

— Джакопо! Дитя мое! Внучек!

Вода вскипела; рука показалась в воздухе и мгновенно исчезла. Гондола подплыла к месту, где показалась рука; обратный удар весел оставил вздрогнувшую лодку, и вода вокруг нее вспенилась... Но, когда пена исчезла, поверхность воды была так же спокойна, как отражавшийся в ней голубой свод неба.

— Антонио!—крикнул браво.

Ответа не было. Ужасная тишина повсюду... Ничто не показалось на воде. Джакопо изо всей силы сдвинул рукоять весла. Он с отчаянием смотрел во все стороны и со всех сторон видел лишь глубокий покой.

## ГЛАВА XVI

Когда монах вошел в покои донны Виолетты, лицо его было мертвенно-бледно, и он с трудом добрался до кресла. Он едва заметил присутствие донна Камилло Монфорте и не обратил внимания на радость, освещавшую его лицо, и счастье, сверкавшее в глазах Виолетты.

— Вам плохо?—спросила монаха испуганно донна Флоринда.—Вас беспокоили, вероятно, по важному делу?

Монах откинул капюшон. Он казался очень утомленным и с трудом узнавал находившихся около него.

— Фердинандо! Отец Ансельм!—вскрикнула донна Флоринда, едва подавляя неволью вырвавшуюся фамильярность.—Скажи, тебе плохо?

— Да, Флоринда, мне тяжело.

— Не обманывай меня, скажи правду. Может быть, ты получил неприятные известия?.. Венеция...

— Она в ужасном положении.

— Почему тебя так долго не было?

— Я был нужен правительству,—сказал монах, тяжелым вздохом облегчая свои страдания.

— Понимаю, отец Ансельм. Ты был у осужденного.

— Да, дочь моя.

— Но он наказан справедливо?—спросила донна Флоринда.

— Нет, он не заслуживал смерти,—сказал с жаром монах.

— О, в каком ужасном состоянии находится Венеция!

— И все это делают те, Виолетта, которые распорядятся тобой,—сказал дон Камилло.—Отец, можно узнать подробнее, свидетелем чего вы сейчас были?

— Стыдно не за умершего, а за живых. Стыдно за то, что у нас существуют такие порядки.

— Я узнаю в этом руку тех, кто заседает там, в этом гнусном Совете Трех,—сказал дон Камилло.—Они вмешались из подлого расчета в мое дело, и я должен признаться, к моему стыду, чтобы добиться справедливости, я вынужден был прибегнуть к приниженности, которая вовсе не в моем характере. Это отвратительное правление подвергает страну серьезным опасностям, облакая все тайной: намерения, действия и ответственность.

— Ты прав, сын мой: против угнетений и несправедливости в Венеции нет спасения.

— Мы слишком смело говорим, — заметила донна Флоринда.

— Уверены ли вы, донна Флоринда, в преданности вашей прислуги? И как вы думаете, отец, известно ли шпионам о моем присутствии здесь? — спросил дон Камилло.

— Я не думаю, чтобы кто-нибудь вас видел, потому что вы прошли через потайную дверь, но нельзя рассчитывать и на полную безопасность, когда из пяти служащих один уже непременно подкупленный шпион, — серьезно заметила донна Флоринда.

— Если меня здесь видели, то гибель моя неизбежна. И все-таки эта опасность меня не пугает. Лишь бы мне заслужить твое расположение, милая Виолетта.

— Я вижу, однако, что неопытная и искренняя молодость хорошо воспользовалась моим отсутствием, чтобы поговорить между собою более свободно, чем это позволяет скромность, — сказал монах.

После недолгого размышления он бросил беспокойный взгляд на донна Камилло и спросил его:

— Хорошо ли ты обдумал, к каким последствиям может привести твоя смелость? На что ты идешь, шутя с гневом республики? Хотя ты знатен и имеешь много владений, тем не менее ты не можешь сделать неприступную крепость из твоего венецианского замка.

— Вы правы. Но власть святого Марка не простирается на всю землю. Мы можем бежать. И если нам это удастся, то, несмотря на всю досаду правителей Венеции, дело будет ими проиграно.

— О, они всегда найдут средства разлучить вас и на твои права не обратят внимания.

— Они могут поступать самовольно только в пределах земли святого Марка, но когда мы будем в замке святой Агаты, то им, пожалуй, придется отказаться от их тайных замыслов. И вот что я вам скажу: в Венеции сейчас находится один калабриец, мой вассал, Стефано Милано. Джино — мой верный слуга, гондольер — говорит, что он здесь по каким-то делам республики, но я знаю, что его фелука всегда к моим услугам, уже хоть бы потому, что я могу ему заплатить не меньше сенаторов.

— Я очень боюсь за благоприятный исход этого предприятия, — сказал монах. — Если нас узнают и перехватят, мы все погибнем.

— Положитесь на меня, вы знаете, что у меня есть дядя, кардинал; даю вам слово, что я употреблю все усилия, чтобы при его содействии удалить от вас всякую опасность в случае нашей общей неудачи.

— Ты неправильно понял мои опасения, дон Камилло, я боюсь опасности не за себя, а за вас. За то время, как я состою духовником Виолетты, я успел к ней сильно привязаться, и... — он остановился и, казалось, боролся сам с собою. — Мне очень хорошо известны достоинства донны Флоринды, чтобы хладнокровно подвергать ее явной опасности. Будем лучше надеяться, что правители согласятся на счастье нашей Виолетты.

— Скорее крылатый лев преобразится в ягненка, а бездушные сенаторы в монахов-картезианцев<sup>1</sup>. Нет, нам надо дорожить этой счастливой

<sup>1</sup> Монахи-картезианцы — по уставу, должны были вести особо строгий образ жизни. (Прим. ред.)

встречей. Не потребуется и часу времени, чтобы предупредить моряка, и, прежде чем взойдет солнце, мы уже будем далеко от ненавистных лагун.

— Не надо забывать, что мы окружены агентами тайной полиции, и мы не можем переступить порога замка, чтобы об этом уже не было известно. Подождите! Мне показалось, будто гондола остановилась у входа, — заметила донна Флоринда.

Она выбежала на балкон и тотчас поспешно вернулась обратно с известием, что какой-то чиновник республики входит во дворец. Едва дон Камилло успел спрятаться в часовню, как в комнату вошел тот самый чиновник, который незадолго перед тем известил донну Виолетту о снятии прав опекуна с синьора Градениго.

Внимательно оглядев всю комнату, он с официальной улыбкой обратился к присутствующим:

— Сударыня, — сказал он, кланяясь Виолетте, — мое позднее появление с поручением Сената должно вас убедить в той заботливости, которую он проявляет к вам. Желая доставить вам на летнее время более удобное местопребывание, Сенат позаботился о вас и предлагает вам немедленно сделать необходимые приготовления, потому что отъезд ваш назначен до восхода солнца. Чтобы избежать затруднений со сборами прислуги, вас будет сопровождать только одна горничная.

— Как, синьор, мне придется расстаться и с теми, кто мне заменяет здесь отца и мать: с донной Флориндой и с отцом Ансельмом?

— Они будут освобождены от их обязанностей на время вашего отсутствия... Аннина, — позвал он, приближаясь к двери, — твоя новая госпожа хочет тебя видеть.

В дверях показалась дочь винооторговца.

Несмотря на притворно униженный вид, она старалась показать себя независимой от капризов своей новой хозяйки.

— И эта девушка должна остаться со мной! — вскричала Виолетта, с нескрываемым отвращением разглядывая хитрое и лживое лицо Аннины.

— Таково желание ваших почтенных опекунов, сударыня. Я удаляюсь, чтобы не беспокоить вас дольше.

Тяжелое продолжительное молчание наступило после ухода чиновника. Но, вспомнив о доне Камилло, Виолетта начала умышленно громко разговаривать с новой горничной.

— Ты уже была в услужении, Аннина? — спросила она.

— Да, сударыня, но мне ни разу не приходилось служить у такой прекрасной дамы, как вы.

— Что касается умения льстить, ты, очевидно, не новичок в этом деле. А теперь ступай и извести моих служащих об этом неожиданном решении Сената. Они тебе помогут сделать необходимые приготовления.

Аннина недовольно повиновалась и вышла из комнаты. Когда дверь затворилась за ней, дон Камилло вышел из своей засады, и все четверо обменялись грустными, испуганными взглядами.

— Долго еще вы будете колебаться? — спросил дон Камилло, подходя к монаху.

— Я ни минуты не колебался бы, если бы был уверен в безопасности нашего бегства.

— Так вы не оставите меня, мои милые?—вскричала с радостью Виолетта.

— Нет, Виолетта, мы пойдем с тобой всюду: и в замок святой Агаты, и в тюрьмы святого Марка.

В это время послышались шаги, и едва дон Камилло успел скрыться в часовню, как вошла Аннина и, подобно сенатскому чиновнику, подозрительно окинула взглядом всю комнату, объясняя свой приход желанием узнать от своей хозяйки цвет дорожного платья. Так как она медлила уходить, то монах обратился к ней строгим тоном:

— Ступай, моя милая, и исполни, что тебе приказано! Не беспокой нас больше.

Аннина извинилась, но, уходя, не забыла снова окинуть комнату беспокойным и подозрительным взглядом.

— Будь осторожнее,—сказал монах, обращаясь к входившему дону Камилло,—в этом несчастном городе ни на кого нельзя надеяться. И если ты уверен, что можешь вывести нас из этого тяжелого положения, то—будь, что будет—мы готовы тебя слушаться.

Крик радости вырвался из уст Виолетты, но, повинуясь серьезному взгляду своего духовника, она взглянула на дона Камилло, желая слышать его ответ. Не говоря ни слова, дон Камилло поспешно написал что-то; вложив в записку монету, он вышел на балкон и подал знак. В то же время послышался шум весел приблизившейся гондолы. Гондольер поднял брошенную в его лодку записку с монетой и, запев песенку, не спеша, отплыл от дворца.

— Пока все благополучно,—сказал дон Камилло, прислушиваясь к пенью гондольера.—Через какой-нибудь час мой посланный приведет фелуку к морской набережной, и если нам удастся благополучно добраться до судна, то я думаю, нам тогда лучше всего прямо направиться в Адриатику.

Кармелит вошел в часовню и зажег свечи на престоле. Когда все ожидали начала венчания, в комнату неожиданно и поспешно вошла Аннина.

Чтобы прервать общее замешательство, дон Камилло появился среди присутствующих.

— Начинайте, отец,—сказал он,—ничего не значит, что будет больше одним свидетелем моего счастья.

Говоря это, дон Камилло дотронулся до шпаги и так многозначительно посмотрел на Аннину, что та едва смогла сдержать крик, готовый вырваться из ее груди. Монах, казалось, понял это немое соглашение и тотчас же начал обряд.

— Мы во-время окончили с венчанием; я слышу шум весел,—сказал дон Камилло.

Он не ошибся: большая шестивесельная гондола с каютой остановилась у калитки дворца. Оставалось сделать последний, но самый опасный, решительный шаг.

— Теперь нельзя терять ни минуты, чтобы нас не увидели шпионы республики. Едем, Виолетта! Донна Флоринда, отец, едьте!

Наставница и воспитанница вернулись из их комнаты с футлярами, содержащими драгоценности Виолетты, дон Камилло был, конечно, готов, а монах не нуждался ни в чем лишнем.

Он первый пошел вперед, донна Флоринда и Виолетта шли за ним. Дон Камилло взял за руку Аннину и тихим голосом приказал ей под страхом смерти повиноваться.

Они прошли благополучно, не будучи никем замеченными, длинный ряд комнат, но в передней они очутились перед дюжиной слуг обоего пола.

— Дорогу!—крикнул дон Камилло, голос и наружность которого были незнакомы всем присутствующим.—Ваша госпожа желает проехаться для прогулки по каналам.

Удивление и любопытство было на всех лицах, но подозрение вскоре заняло их место, и едва Виолетта успела пройти переднюю, как несколько слуг быстро спустились по лестнице, разными выходами вышли из дворца, и каждый из них направился к тому из представителей власти, шпионом которого являлся.

Гондола стояла внизу мраморных ступеней, ведущих к выходу наружу; двое гребцов вышли из нее и притягивали ее к берегу. Дон Камилло заметил, что замаскированные гондольеры приняли все предосторожности: у каждого на боку висела короткая рапира, а под складками плащей можно было различить пистолеты. Виолетта и кармелит были уже в гондоле; донна Флоринда входила за ними; Аннина намеревалась последовать их примеру, но дон Камилло удержал ее за руку.

— Этот кончается твоя служба,—сказал он вполголоса.—Поищи себе другую госпожу, а за неимением лучшей ты можешь поступить на службу Венеции.

Потом он оглянулся назад на толпу, теснившуюся в сенях дворца.

— Прощайте, друзья!—крикнул он им.—Ваша верная служба вашей госпоже не будет забыта.

Вдруг он почувствовал, что кто-то схватил его за руки; он поспешно обернулся и увидел двух гондольеров, которые заранее вышли из гондолы и теперь с силой держали его. Неожиданность лишила его возможности бороться, и они его оттеснили к сеням дворца. Аннина, повинуясь их знаку, прошла мимо него и прыгнула в лодку. Двое гондольеров быстро отскочили и заняли свои места; весла ударили по воде, и гондола удалилась от лестницы.

— Джино! Изменник!

Дон Камилло с отчаянием смотрел на удаляющуюся гондолу, которая тотчас же, завернув за угол дворца, скрылась из виду.

Погоня в Венеции была сопряжена с большими неудобствами, потому что по бокам каналов прохода не было. Дон Камилло хотел было уже кинуться в воду, чтоб воспользоваться одной из лодок, стоявших между сваями около дворца, как вдруг послышался шум воды. Скоро из темноты выехала большая лодка, управляемая шестью замаскированными гондольерами. Сходство этой гондолы с отпавшей было так велико, что не только дон Камилло, но и все присутствовавшие подумали, что это было то же самое судно, которое, объехав вокруг соседних дворцов, возвращалось к двери донны Виолетты.

— Джино!—вскрикнул в изумлении неаполитанец.

— Синьор,—ответил слуга.

— Ну, подъезжай скорей! Разве можно терять время, когда оно так дорого!

Дон Камилло прямо из дверей дворца прыгнул в гондолу, но, войдя тотчас в каюту, увидел, что, кроме гондольеров, на ней никого не было.

— Негодяи! Как вы посмели обмануть меня?— вскричал герцог.

В это время на колокольне пробило два часа, и, когда в ночной тишине раздались тягучие звуки колокола, дон Камилло понял истину.

— Джино,—сказал он, затаив дыхание,—скажи мне: эти гребцы надежные люди? Можно на них положиться?

— Как на своих собственных вассалов, синьор!

— И ты не забыл передать моему доверенному записку, которую я тебе кинул.

— Будьте покойны, все исполнено.

— Злодей он! Он, значит, и сказал тебе, где достать снаряженную лодку?

— Да, синьор, и я должен отдать ему справедливость, что на ней все есть, и нельзя желать лучшего.

— Да,—прошептал дон Камилло.—А другую такую же он достал для полиции... Гребите, гребите, друзья мои. Ваша собственная безопасность и мое счастье в ваших руках. Тысячу дукатов в награду, если вы оправдаете мою надежду!

Дон Камилло с отчаянием бросился на подушки каюты, приказав гребцам приняться за работу. Джино, поместившись на корме, отворил окошечко каюты, через которое можно было переговариваться с хозяином. Под ловким ударом его весла стоячая вода узкого канала вспенилась, и гондола быстро двинулась вперед.

## ГЛАВА XVII

Несмотря на решимость во что бы то ни стало догнать гондолу, увидевшую Виолетту, дон Камилло не знал, какое ему выбрать направление. Он не сомневался, что был обманут своим доверенным, которому был вынужден поручить необходимые приготовления к предстоящему побегу. Он сразу понял, что теперь Сенат—полный властитель его молодой супруги, и слишком хорошо знал власть сенаторов и их безграничное презрение ко всем человеческим правам, чтобы сомневаться, что они захотят воспользоваться своим преимуществом. Неаполитанский герцог был теперь уверен, что его брак будет расторгнут, но он опасался, что пострададут его свидетели. Дон Камилло понимал, что своим поступком он дал возможность судьям, если не совсем отказать ему в его правах, признания которых он добивался перед Сенатом, то отложить его дело на неопределенный срок. Все же он верил в возможность вернуться безопасно в свой дворец, так как высокое уважение, которым герцог пользовался у себя на родине, и большое его влияние при римском дворе охраняли его от открытого насилия. В этот момент он так дорожил свободой и так боялся попасть в руки сенатских агентов, что возможность ареста казалась ему одним из самых ужасных несчастий. Дон Камилло приказал Джино ехать по Большому каналу, ведущему к мосту.

Пока гондола дошла до входа в гавань, дон Камилло успел вернуть себе присутствие духа и наскоро составить план дальнейших действий.

Дав знак гондольерам остановиться, он вышел из каюты. Несмотря на позднее время, на каналах было движение.

— Джино,—сказал дон Камилло, принимая спокойный вид,—позови кого-нибудь из знакомых тебе гондольеров. Я хочу его расспросить.

Это приказание было исполнено.

— Скажи, любезный, не проезжала здесь, мимо тебя, большая и хорошо снаряженная гондола?—спросил дон Камилло у гондольера, которого позвал Джино.

— Никакой не видал, синьор, кроме вот этой самой вашей, самой быстроходной.

— А почему ты знаешь достоинства этой лодки?

— Потому, синьор, что я только вот сейчас любовался ее быстротой. Она летела вперед, как-будто желая выиграть первую награду.

— А в какую сторону мы ехали?—спросил с нетерпением дон Камилло.

Гондольер показал пальцем в сторону гавани.

— Вот возьми это в награду!—сказал неаполитанец, передавая ему монету!—Прощай!

Гондола дон Камилло направилась вперед. Она пробиралась через лабиринт судов, когда Джино указал своему хозяину на большую лодку, плывшую им навстречу, со стороны Лидо. Поровнявшись с ней, дон Камилло догадался, что это была обманувшая его гондола.

— Приготовьте рапиры, друзья мои, и за мной!—воскликнул неаполитанец, приготовляясь прыгнуть в середину неприятелей.

— Вы нападаете на должностных лиц святого Марка!—закричал кто-то из каюты встречной гондолы.—И силы у нас неодинаковы, синьор: потому что стоит нам дать знак, как двадцать галер подоспеют к нам на помощь.

Нагнувшись немного, дон Камилло увидел, что в каюте был лишь один человек. Убедившись в бесполезности дальнейшего разговора и надеясь еще напасть на следы, он приказал ехать дальше. Обе гондолы разошлись, направляясь в разные стороны.

Прошло немного времени, и гондола дон Камилло очутилась в устье Джудекки, вдалеке от высившихся на берегу ее зданий. Луна уже заходила, и ее свет, косою полосой падая на залив, оставлял в тени здания, обращенные к востоку.

— Я уверен, что они отправили мою жену в Далмацию!—сказал дон Камилло.—Этот проклятый Сенат составил заговор против моего счастья. Я и забыл тебе сказать, мой Джино, что они украли у меня жену.

— Если бы я только знал ее имя...

— Ты помнишь ту девицу, которую я спас в Джудекке?

— Как забыть этот случай, синьор!

— Так эта самая Виолетта Пьеполо—теперь твоя госпожа, и нам остается только водворить ее в замок, где я не побоюсь ни самой Венеции, ни ее агентов.

Гондола подвигалась к намеченной цели, так как разговор не мешал Джино направлять гондолу к Лидо. По мере того, как береговой ветер становился сильнее, суда, шедшие впереди них, все удалялись, и когда дон Камилло достиг песчаной отмели, отделяющей лагуны от Адриатики,

многие из них прошли уже выход и направлялись в залив, придерживаясь каждый своего курса. Дон Камилло не сомневался теперь, что жена его находится на одном из этих судов. Но на каком именно? Молодой неаполитанец решил причалить к берегу с тем, чтобы проследить направление уходящих судов и на этом основании сообразить, в какой части республиканских владений ему следовало искать Виолетту. Выходя из гондолы на берег, он обернулся к своему гондольеру:

— Ты ведь знаешь, Джино, что один из моих вассалов, хозяин „Прекрасной Соррентинки“, находится теперь в порту?

— Точно так, синьор, и я его знаю лучше, чем свои грехи.

— Так вот, поди отыщи мне его. Я кой-что придумал и хочу воспользоваться его фелукой; но раньше необходимо узнать, легка ли она на ходу.

Расхвалив усердие и фелуку своего приятеля, Джино поспешно отъехал от берега.

На острове Лидо есть еврейское кладбище—бесплодное место, одинаково открытое горячему южному ветру и ледящему ветру Альп.

Дон Камилло вышел здесь на берег. Вместо того, чтобы делать лишний обход берегом, он решил пройти здесь, чтобы скорее достигнуть песчаных холмов на другом берегу Лидо. Вынув шпагу из ножен, он вступил на кладбище. Он был уже на середине его, как вдруг заметил среди могил человеческую фигуру. Дон Камилло сжал шпагу и пошел прямо на незнакомца. Тот, услышав шаги, остановился и, может быть, в знак миролюбия скрестил руки на груди.

— Ты выбрал для прогулки время и место, располагающие к размышлению,—сказал, приближаясь, неаполитанец.—Ты не сврей и не лютеранин, оплакивающий кого-нибудь из твоих близких?

— Я венецианец, как вы, дон Камилло Монфорте.

— А! Так ты меня знаешь! Ты Баттисто, бывший мой гондольер?

— Нет, синьор, вы ошибаетесь: я не Баттисто.

Незнакомец повернулся к луне, свет которой упал на его лицо.

— Джакопо!—воскликнул герцог, задрожав, как это невольны делали все в Венеции, встретив неожиданно горящий взор браво.

— Да, синьор, я—Джакопо!

Шпага блеснула в руках дона Камилло.

Браво улыбнулся, но его руки остались скрещенными.

— Зачем ты встал на моей дороге в этом уединенном месте?

— На том же самом основании я могу спросить герцога святой Агаты, что привело его в такой поздний час на еврейские могилы?

— Не время для шуток, тем более, что я никогда не шучу с людьми твоей репутации. Но только знай, что нелегко дадутся тебе деньги, которые ты задумал получить от подославших тебя, чтобы убить меня.

— Успокойтесь и вложите вашу шпагу в ножны, синьор. Здесь нет никого, кто думал бы причинить вам зло. Мы уже с вами виделись, дон Камилло Монфорте, и тогда у вас было больше доверия ко мне.

— Странно, зачем ты мог попасть сюда? Ты не из таких, чтоб действовать без причины и без цели.

— Я ищу простора и морского воздуха, и здесь только я могу дышать свободно: воздух каналов меня душит.

— Неправда, у тебя была еще какая-нибудь причина, Джакопо.

— Да, синьор, вы не ошиблись, мне противен этот город преступлений.

— Это странно слышать от...

— От браво? Можете смело произнести это имя: мое ухо привыкло к нему. Но кинжал наемного убийцы почтеннее меча мнимого правосудия здешнего правительства... Люди без чести и без жалости!

— Я теперь понимаю тебя, Джакопо: ты изгнан. Ропот народа дошел до Сената, и Сенат лишил тебя своего покровительства.

Взгляд, брошенный на него Джакопо, был настолько двусмысленный, что дон Камилло взялся невольно за шпагу.

— Синьор,—сказал браво,—как бы то ни было, а все же случилось, что дон Камилло Монфорте считал меня достойным своих поручений.

— Я этого не отрицаю... Но теперь мне многое становится понятным. А, злодей, так это тебе я обязан потерей моей жены! Ведь тебя и звал в начальники над отборным отрядом, который я собирал, чтобы устроить бегство дорогой мне девушки... И, узнав подробности моего плана, ты предал меня!

— Вы ошибаетесь, синьор. Моя служба при Совете Трех не позволяла мне принять ваше предложение, иначе я был бы рад счастью двух влюбленных. Я принадлежал Сенату, но теперь я все с ним покончил.

— Я верю тебе, Джакопо; твоё лицо и твой голос заставляют меня тебе верить; они искренни. Но меня обманули в ту минуту, когда я больше всего был уверен в успехе. Злодеи скопировали мою гондолу, ливреи моих служащих, они отняли у меня мою жену... Но ты молчишь, Джакопо?

— Что могу я вам ответить, синьор? Вас обмануло такое государство, где начальник не смеет поверять тайны своей жене. Венеция отняла у вас вашу супругу за то, что вы хотели похитить у правительства имущество, которое оно считало своим. Вы затеяли серьезную игру, дон Камилло, и вы ее проиграли. Чтобы удовлетворить ваши желания и добиться ваших прав от Сената, вы обещали Венеции хлопотать за нее в Испании.

Дон Камилло смутился при этих словах браво.

— Чему вы удивляетесь, синьор? Вы забываете, что я долго вращался среди тех, кто умеет осторожно взвешивать выгоды каждого политического вопроса. На их устах ваше имя часто бывало...

— Отлично! Но объясни мне, каким способом они узнали о моем замысле? Ведь я говорил об этом только тем, кто мне внушал доверие.

— Дон Камилло, не забудьте, что из ваших слуг нет ни одного, кто не состоял бы на жаловании у Сената, исключая разве Джино. И им платится не только за то, что они донесут на вас, но и за донос на своих товарищей.

— Может ли это быть?

— Вы в этом сомневаетесь, синьор?—спросил Джакопо, любуясь искренним удивлением неаполитанца.

— Как ты можешь служить подобным людям, Джакопо?

— Мы не господу своего счастья, дон Камилло. Если бы это было иначе, то вы не стали бы прибегать к влиянию своего родственника в пользу республики. Да, мне много пришлось перенести, и если я все выдержал, то только оттого, что меня поддерживало кое-что более сильное, чем Сенат. Но, дон Камилло, есть преступления, которые нельзя терпеть.

Браво вздрогнул и продолжал молча ходить среди могил.

— Они жестоки даже с тобой?—спросил дон Камилло, с удивлением смотря на взволнованное лицо Джакопо.

— Да, синьор. Сегодня ночью мне пришлось быть свидетелем их бесчестности, более того—их подлости, после чего мне ясно стало, чего я сам мог ожидать от них. Заблуждение исчезло, и с той минуты я им больше не слуга.

Лицо браво передернулось судорогой.

— Говори, Джакопо; я готов выслушать тебя, если только это может облегчить твои страдания.

— Я вам очень благодарен, синьор. Никто не знает, как дорого ласковое слово для того, кто, как я, осужден всеми. Был один человек, который, быть может, выслушал бы меня без презрения, но и он погиб от безжалостной руки Сената. И вот, когда я размышлял среди этих могил, случай привел вас ко мне навстречу. Если бы я только мог...

Браво остановился и с сомнением посмотрел на дону Камилло.

— Продолжай, Джакопо! Что с тобою?

— Я не осмелился никому открыть моих тайн, разве я решусь высказать их вам?

— Мой вопрос мог показаться тебе странным.

— Он, действительно, странен, синьор. Вы знатны, я низкого происхождения. Ваши предки были сенаторы и дожи, мои—рыбаки и гондольеры. Вы богаты, могущественны, я—бедный изгнанник и, может быть, уже тайно осужденный. Одним словом, вы дон Камилло Монфорте, а я—Джакопо Фронтони.

Дон Камилло был взволнован. Джакопо говорил с искренностью глубокого горя.

— Что я могу сделать для тебя?

— Синьор, я слишком долго был лишен сострадания и не могу больше терпеть. Этот проклятый Сенат может меня погубить сразу... И всякий отвернется тогда от моей могилы. Синьор, я должен сказать... Единственный человек, который участливо относился ко мне за эти три длинных, ужасных года, исчез.

— Но он вернется, Джакопо!

— Никогда, синьор. Он служит пищей рыбам лагун.

— И ты—прямой виновник этой смерти?

— Нет, синьор, я в этом не виновен; это сделало правосудие знаменитой республики,—ответил Джакопо с горькой улыбкой.

— А, Сенат начинает открывать глаза на преступления людей, подобных тебе? Твое раскаяние—результат страха.

Джакопо дышал с трудом. Слова дон Камилло убили в нем всякую надежду. Дон Камилло не уходил, хотя ему не хотелось быть поверенным такого человека, но в то же время он не мог покинуть человека, находящегося в таком горе.

— Говори. Я обещаю выслушать тебя, если бы даже ты мне стал рассказывать об убийстве лучшего из моих друзей.

Браво, казалось, еще колебался, но, заметив участие в лице дон Камилло, он зарыдал.

— Я выслушаю тебя, Джакопо!—вскричал неаполитанец, пораженный проявлением слабости в человеке с таким твердым характером.

Жестом руки Джакопо остановил его и после минутной внутренней борьбы начал говорить:

— Вы спасли меня от гибели, синьор. Если бы люди знали всю силу ласкового слова, участливого взгляда, они не относились бы с презрением к слабым. И если бы вы отказали мне в участии, то эта ночь была бы последней для меня. Да будете ли вы слушать мою историю, синьор? Может быть, вам противно слушать признания наемного убийцы?

— Я тебе обещаю; но торопись, у меня у самого большие заботы и мало времени.

Браво сделал над собой большое усилие и начал свой рассказ.

Чем ближе подходил рассказ к концу, тем внимательнее его слушал герцог святой Агаты. Он едва дышал, а его собеседник с энергией и живостью, свойственными итальянцам, рассказывал ему о тех ужасных драмах, в которых ему приходилось играть видную роль.

Они вышли с кладбища и очутились на противоположном берегу острова Лидо.

— Это невероятно!—воскликнул дон Камилло после долгой паузы, нарушавшейся лишь равномерным плеском волн Адриатики.

— Синьор, все это истина!

— Я тебе верю, Джакопо, я и не думаю сомневаться в твоих словах! Да, ты был жертвой их подлости, и ты прав: тяжесть была невыносима. Что ты намерен теперь делать?

— Я жду только последнего решительного выступления; тогда я оставляю этот город и пойду искать счастья в другой стране.

— Не отчаивайся, Джакопо. Поступай ко мне, и в моих владениях ты будешь в безопасности от правителей республики.

Браво поблагодарил. После этого он перевел разговор на недавнее похищение донны Виолетты и предложил всеми средствами помочь ее розыскам. Герцог кратко, но понятно объяснил своему новому слуге те средства, к которым он прибегал, и то, что намеревался делать дальше, чтобы отыскать донну Виолетту.

Браво с большим вниманием слушал мельчайшие подробности этого рассказа и не раз улыбался в душе, как человек, привыкший разбирать и более запутанные дела. Дон Камилло уже оканчивал рассказывать, когда послышались шаги Джино.

## ГЛАВА XVIII

Часы проходили, как-будто ничто не произошло этой ночью. Утром следующего дня город жил своей обычной жизнью.

Служащие донны Виолетты, собравшись у дверей ее замка, вполголоса делились своими предположениями о судьбе похищенного. Дворец синьора был попрежнему торжественно сумрачен, и по внешнему виду

дворца дона Камилло Монфорте нельзя было догадаться о жестоком разочаровании, перенесенном его хозяином. „Прекрасная Соррентинка“ стояла еще на якоре со спущенной на палубу реей, а ее судовая команда была занята чинкой парусов.

Лагуны были покрыты рыбацкими лодками, и путешественники то приезжали, то уезжали из города, унося с собой воспоминания о празднике и о гонках.

С заходом солнца на лагунах показались гондолы богатых и праздных людей, и, когда подул свежий ветер с Адриатики, колоннада Бролио



Балкон Дворца дожей.

стала наполняться людьми, имевшими право гулять под этой сводчатой галлереей. В их числе находился и дон Камилло. Он приехал в Бролио в обычный час и с видом обычного спокойствия, так как надеялся, что влияние, которым он пользовался в Риме, обеспечивало ему безопасность. Дон Камилло пришел к заключению, что Сенату были известны его замыслы, и правительство Венеции давно могло бы его арестовать, если бы намеревалось это сделать. Прогуливаясь среди патрициев, он вглядывался в их лица, желая убедиться, сохранилась ли в тайне неудача его замысла. Но обычное лукавство Сената, в связи с умышленно-осторожным поведением молодого неаполитанца, очевидно, не дало повода думать,

что кому-либо известно об исчезновении наследницы и похищении жены герцога.

Тогда же ко входу во двор Дворца Дожей медленно подъехала гондола, гондольер в маске, привязав лодку к ступеням лестницы, вошел во двор. Осмотревшись, он проник внутрь здания через один из входов для служителей.

Дворец, где жили дожи Венеции, построен вокруг просторного, но сумрачного двора. Один из его фасадов выходит на Пьяцетту, а другой на набережную со стороны порта. Оба эти внешние фасада отличаются красивой архитектурой. Невысокий портик, составляющий Бролио, поддерживает ряд массивных окон в восточном стиле, над которыми поднимается высокая стена с несколькими круглыми отдушниками. Третий фасад почти закрыт собором святого Марка, а фундамент четвертого омывается водами канала. Общественная тюрьма находилась на другом берегу канала. Знаменитый Мост Вздохов служил переходом из дворца в тюрьму.

Гондольер появился вскоре опять под аркою выхода на канал и быстро вернулся к гондоле. В одну минуту он переплыл канал, причалил к противоположному берегу и вошел в тюрьму через главную дверь. Казалось, он обладал какими-то тайными средствами, чтобы усыпить подозрительность привратников, потому что его везде пропускали без расспросов. Он миновал все внешние заграждения тюрьмы и пришел к той части здания, которая, повидимому, предназначалась для жилья.

Гондольер поднялся по потайной лестнице и, постояв с минуту у двери, осторожно постучал в нее.

— Кто там?—спросил тихий женский голос.

— Свой, Джессина,—ответил гондольер.

— Назови свое имя, а не то иди к другим дверям.

Гондольер приподнял маску, которая не только скрывала его лицо, но и изменила голос.

— Это я, Джессина,—сказал он.

Дверь открылась.

Войдя в комнату и убедившись, что посторонних там не было, гондольер снял маску. Это был браво...

— Ты знаешь, что предосторожности необходимы,—сказал он,—и я надеюсь, ты меня за это не осудишь.

— Я ничего не говорю против этого, но я не могла открыть тебе сразу, не узнав твоего голоса.

— Что у тебя нового?—спросил браво, устремив пронзительный взгляд на хорошенькое лицо девушки.

— Хорошо, что ты не пришел раньше в тюрьму, потому что от меня только-что ушли. Ты не был бы доволен, Карло, если бы тебя увидели?

— Ты знаешь, что у меня есть важные причины носить маску. И будь здесь кто-нибудь из твоих двоюродных братьев или какой-нибудь молодой венецианец—все равно я не хотел бы с ними встретиться и быть узнанным.

— Успокойся, это была моя двоюродная сестра Аннина, которую ты ни разу не видел. И я с ней вижу очень редко, а ее брат никогда даже не приходит к нам. Если бы я не боялась, что она сейчас вернется, я пошла бы с тобой.

— Так разве она еще здесь?—спросил встревоженно браво.—Ты ведь знаешь, что я не хочу, чтобы меня увидели.

— Не бойся, она сейчас наверху у моей больной матери, и раньше, чем она войдет сюда, мы услышим ее шаги в коридоре. Тогда ты можешь войти в эту комнатку, как ты это уже несколько раз делал, и, если хочешь, можешь послушать нашу болтовню... Или... может быть, пойдём... но нет, не успеем...

— Ты хотела сказать, Джессина, что я могу пойти навестить...

— Конечно, Карло; но я боюсь, как бы любопытная Аннина не начала искать нас.

— Я могу подождать. Когда я бываю с тобой, я делаюсь терпеливым.

— Молчи! Это шаги Аннины. Спрячься скорей в комнату.

Браво скрылся в боковой комнатке, оставив дверь чуть приоткрытой. В это время Джельсомина пошла отворить кухне. С первых же слов Джакомо по голосу узнал дочь виноторговца.

— Ты полная хозяйка здесь во всем доме, Джельсомина,—сказала Аннина, опускаясь на стул словно от усталости.

— Я бы с радостью отказалась от того, что ты называешь хозяйством, если бы мама была в состоянии сама заниматься им.

— Что ни говори, а приятнее распорядиться, чем повиноваться. Ну, давай поговорим о вчерашнем празднике. Была ты вчера среди мажорков, гулявших на Пьяцетте?

— Нет, я не могу оставить мать.

— Жаль, а в Венеции, кажется, еще ни разу не было такого торжественного венчания с Адриатикой и таких интересных гонок, как вчера. Да, это стоило посмотреть... И, представь, простой лагунский рыбак получил первую награду.

— Неужели не было более искусных гондольеров?

— Самые ловкие, говорят, участвовали в первой гонке, где мой Луиджи должен был бы взять первый приз, если бы товарищи ему не подстроили штуку на зло... Да, знаешь,—продолжала Аннина, осторожно оглядываясь по сторонам,—во второй главной гонке в числе других был один гондольер в маске, и говорят, что это был—представь кто?—Джакомо! Ты слышала о нем?

— Слышала; так называют одного страшного злодея.

— Да, надо удивляться тому, что делается в Венеции. Этот человек прогуливается где ему угодно, и никто не смеет ему сказать ни слова. Подожди, это еще не все; сегодня на заре, когда я возвращалась с Лидо, я видела, как в лагунах наши труп какого-то молодого кавалера, и все называли Джакомо виновником его смерти.

Джельсомина вздрогнула.

— Это ужасно!—сказала она.—Но почему ты так рано была на улице? Неужели ты всю ночь пробыла на Лидо?

— На Лидо?.. Да... Нет. Ведь я не могу целый день, как ты, сидеть дома. Особенно последние дни мне пришлось много помогать отцу. Вот и сейчас я болтаю с тобой, а дома у меня пропасть дела. Да, чтобы не забыть: цел у тебя сверток, который я оставила тебе в последний раз?

— Как же, я думала, что ты о нем забыла, и хотела уже отослать его тебе,—сказала Джельсомина, вынув из ящика небольшой тщательно запакованный сверток.

— Ради бога, никогда не делай этого! Если бы сверток попался в руки моему брату Джузеппе, то это могло бы тебе причинить немало неприятностей... Но пора, до свидания, милая Джессина! Я надеюсь, что твой отец отпустит тебя к нам; мы все таки тебя любим!

— Всего хорошего, Аннина! Если бы не болезнь матери, я давно была бы у тебя.

Хитрая дочь виноторговца поцеловала свою доверчивую кузину<sup>1</sup> и исчезла.

— Карло,—сказала Джельсомина, закрыв за ней дверь,—ты можешь войти, никто нас больше не побеспокоит.

Браво вышел. Он был бледен; и, несмотря на все усилия ответить на приветливую улыбку Джельсомины, его лицо имело почти страшное выражение.

— Аннина заставила тебя поскучать, болтая о гонках и об убийстве? Но я знаю твое нетерпение, и мы сейчас же отправимся.

— Подожди минутку... Эта девушка тебе двоюродная сестра? И ты часто ходишь к ней?

— Нет, ведь я тебе говорила, что не могу часто оставлять мать, да, кроме того, отец не хочет, чтобы я ходила к ней, потому что они торгуют вином, и у них бывает много гондольеров. Она не виновата, что родные ее занимаются этим.

— Конечно, нет. А что это за сверток она взяла у тебя?

— Она его оставила мне на сохранение, когда торопилась на Лидо... Я вижу, она тебе не нравится. А ты слышал, как она говорила о Джакомо и о последнем убийстве? Наверно, ты согласен со мною, относительно этого злодея. Ну, хочешь, я тебя провожу к заключенному?

— Да, идем.

— Я вижу, Карло, что твоя честность возмущается злодейством этого убийцы. Мне часто приходилось слышать, что Сенат держит его на жалаваньи. Говорят, что он ловчее всех в убийстве, и что судьям придется очень долго выискивать против него улики, чтобы не сделать несправедливости.

— И вы все верите, что у Сената такая чуткая совесть?—спросил браво глухим голосом, выходя в коридор следом за девушкой.

Джессина вернулась и вынула из шкафа маленькую коробочку.

— Вот ключ, Карло,—сказала она, показывая один из ключей в большой связке.—Сейчас я одна осталась здесь сторожить заключенных. Мы добились, по крайней мере, этого, а со временем сделаем и больше.

Браво заставил себя улыбнуться, чтобы показать девушке, насколько он ценил ее заботы.

## ГЛАВА XIX

Джельсомина вела Джакомо по сводчатым галлереям и темным коридорам. Она остановилась на минуту, входя в низкую, узкую галерею с окнами по обем сторонам.

<sup>1</sup> Кузина—двоюродная сестра. (Прим. ред.)



— Карло,—спросила она,—ты ожидал меня встретить, как всегда, у входа с канала?

— Я не вошел бы в тюрьму, если бы не встретил тебя, потому что я не хочу, чтобы меня видели. Но я вспомнил о том, что твоя мать может задержать тебя, и переехал через канал.

— Нет, здоровье мамы без перемены. А ты замечаешь, что мы идем по другой дороге? Ты хорошо знаешь расположение дворца и тюрьмы Карло?

— Больше, чем бы я этого желал, милая Джельсомина. Но зачем ты меня об этом спрашиваешь? Мысли мои заняты совсем другим.

Девушка ничего не ответила, но обычно бледные щеки ее стали еще бледней. Bravo, привыкший к ее молчаливости, не обратил на это внимания. Он быстро взглянул в окно: перед его глазами тянулся темный, узкий канал, дальше виднелся выход к набережной и к порту.

— Джельсомина!—воскликнул он, невольно отшатнувшись.—Мы на Мосту Вздохов?

— Да, Карло. Ты никогда не проходил по нем?

— Нет, никогда. Хотя я и часто думал, что мне когда-нибудь придется его перейти, но никогда не предполагал, что пойду я здесь с таким провожатым.

— Ну, со мной этот мост для тебя не страшен, и, хотя здесь ходят только сторожа и осужденные, со мной ты можешь пройти безопасно. Мне доверили от него ключ и указали все закоулки, ведущие к нему.

— А не правда ли, странно, что Совет разрешил мне посещать тюрьму без особого надзора, а только с тобой?

— Я лично не нахожу в этом ничего странного, но на самом деле это не разрешается всем. Даже говорят, будто немногие из ступивших на этот мост возвращаются обратно, а между тем, ты меня не спрашиваешь, почему мы идем через него.

Bravo недоверчиво посмотрел на свою спутницу, но ее вид рассеял мгновенно его подозрения.

— Так как ты хочешь, чтобы я полюбостествовал?—промолвил он.— Скажи мне, почему ты меня привела сюда, и, особенно, почему ты здесь остановилась?

— Не забудь, что теперь дело идет к лету, Карло,—сказала девушка тихо,—и что мы напрасно бы его искали в подземных тюрьмах...

— Я тебя понимаю... Идем!

Джельсомина была попрежнему грустна, разделяя горе своего спутника. Пройдя несколько лестниц и множество коридоров, они остановились у одной двери. В то время, как девушка отыскивала ключ, Джакопо с трудом вдыхал горячий, удушливый воздух.

— Мне обещали, что этого больше не будет,—промолвил он,—но эти воплощенные дьяволы забывают свои обещания.

— Карло! Помни, что мы во Дворце дождей,—сказала ему Джельсомина, оглядываясь назад.

— Я хорошо помню все, что касается республики.

— Будь терпелив, милый Карло, всему бывает конец.

— Ты права,—ответил он,—и, может быть, раньше, чем ты рассчитываешь. Но все равно, отвори дверь.

Джельсомина повиновалась, и они вошли.

— Отец,—воскликнул браво, бросаясь к соломенному тюфяку, разостланному на полу.

Худой и истощенный старик поднялся, услышав это слово, и горящими глазами смотрел на Джакопо и Джельсомину.

— Ты не заболел, отец, от быстрой перемены, и вид у тебя лучше, чем в том сыром подвале.

— Ничего. Мне здесь хорошо,—ответил заключенный,—здесь есть свет, хотя, пожалуй, его слишком много... Ты не можешь представить, дитя мое, как приятно видеть день после такой длинной, длинной ночи. Что ты мне скажешь нового, сынок? Расскажи мне о матери...

Bravo опустил голову.

— Она счастлива, насколько это для нее возможно без тебя.

— Вспоминает ли она меня?

— Конечно, отец.

— А что сестра? Ты о ней ничего не говоришь, сынок. Перестала ли она напрасно считать себя причиной моих страданий?

— Ей тоже хорошо, отец. Она перестала страдать... о тебе,—ответил Джакопо, едва удерживаясь от слез.

Последовала большая пауза, в течение которой отец, казалось, вспоминал прошлое, а сын рад был не слышать больше вопросов: мать и сестра, о которых расспрашивал старик, давно уже умерли, став жертвою горя. Старик задумчиво посмотрел на сына.

— Нельзя рассчитывать, чтобы сестра вышла замуж. Никому не охота породниться с семьей находящегося так давно в тюрьме.

— Она об этом не думает. Ей хорошо вместе с матерью.

— Да, этого республика не может ее лишиться... Нет ли надежды, что вскоре мы будем все вместе? Как давно я не видел никого из семьи, кроме тебя!

Отец привлек к себе и поцеловал Джакопо.

— Есть ли у тебя хоть маленькая надежда на мое освобождение?—спросил старик.—Обещают ли сенаторы, что я на свободе увижу опять солнце?

— Как же, они обещают. Они много обещают.

— Уже четыре года, должно быть, как я сижу в этих стенах. А я все надеялся, что дож вспомнит своего старого слугу и разрешит ему вернуться к семье.

Джакопо молчал, потому что дож, о котором говорил отец, давно уже умер, и в ослабшей памяти старика стерся долгий ряд проведенных им в тюрьме лет.

— У меня есть развлечения в неволе.

— Скажи же: каким образом ты смягчаешь свое горе?

— Посмотри сюда,—ответил старик с лихорадочным волнением.— Вот видишь эту щель в доске? От жара она все увеличивается, и мне кажется, что она стала вдвое шире за то время, как я здесь. Я иногда говорю себе: вот, когда она дойдет до этого сучка, то сенаторы сжалятся надо мной и выпустят меня на свободу. Мне доставляет удовольствие следить, как она из года в год увеличивается.

— И только?

— А вот еще: в прошлом году я любил наблюдать за пауком; у него была паутина вот здесь. И я надеюсь, что как появятся мухи, так и он выползет за добычей... Да, сенаторы могут меня безвинно осудить, разлучить с семьей, и они не в силах лишить меня всех удовольствий.

Старик замолчал и смотрел то на щель, свидетельницу долгих лет его заключения, то на сына.

— Ну, пусть они возьмут от меня и паука. Я не буду проклинать их за то, — сказал заключенный, натягивая на себя одеяло.

— Отец!

Старик молчал.

— Отец!

— Джакопо, так ты в самом деле думаешь, что сенаторы не будут так жестоки, они не выгонят паука из моей камеры? — спросил старик выглянув из-под одеяла.

— Они не лишат тебя этого удовольствия, отец, потому что оно не касается ни их власти, ни славы.

— Ну, хорошо, я теперь буду спокоен, а то я все боялся; ведь неприятно лишиться друга в тюрьме.

Джакопо постарался развлечь старика другими мыслями. Он поставил на полу перед постелью отца еду, которую разрешали приносить, и, успокоив старика еще раз словами о близкой свободе, заметил, что приближается момент разлуки. Но раньше, чем уйти, Джакопо привел в порядок камеру, раздвинул, насколько мог, больше щели в кровле, чтобы воздух и свет свободнее проходили в помещение, и вышел, наконец, из этого мрачного, раскаленного чердака.

Джакопо и Джельсомина молча шли по бесконечным коридорам, пока вновь не очутились на Мосту Вздохов. Девушка первая прервала молчание.

— Как ты его нашел? — спросила она.

— Он страшно изменился.

— Но ведь есть надежда, не правда ли? Ты сам ему это сказал.

— Ах, ведь я нарочно это говорил, чтобы не лишать его последней надежды.

— Карло, я в первый раз слышу, что ты так спокойно говоришь о несправедливости правительства республики и о заточении твоего отца.

— А потому, моя дорогая, что его освобождение близко.

— Я тебя не понимаю; то ты говоришь, что нет никакой надежды; то о скором освобождении.

— Я говорю о смерти, Джельсомина. Страданиям отца приближается конец.

— Карло, сегодня отец, говоря с тобой, произнес имя, которое я не хотела бы, чтобы он употреблял. Он назвал тебя Джакопо, — сказала вдруг девушка.

Браво бросил на нее беспокойный взгляд и поспешил отвернуться.

— Иногда люди предугадывают свою судьбу, Джельсомина.

— Неужели ты думаешь, что отец подозревает Сенат в намерении прибегнуть к услугам этого страшного чудовища? Ты сердит на Сенат за его несправедливость к твоей семье, но ты не должен думать, что в этом случае он прибегнет к кинжалу наемного убийцы.

— Я думаю только то, о чем говорят каждый день на каналах.

— Мне бы хотелось, чтобы твой отец не произносил никогда этого ужасного имени.

— Ты права, Джельсомина. Но что ты сама думаешь об отце?

— Это посещение не было похоже на предыдущее. Не знаю почему, но раньше ты мне казался более уверенным, когда внушал отцу спокойствие; сегодня ты как бы находил какое-то страшное удовольствие в словах отчаяния.

— Ты ошибаешься, — сказал браво, задыхаясь. — Ты ошибаешься! Сенаторы хотят оказать нам справедливость, наконец... Это почтенные люди. Нельзя сомневаться в их справедливости.

Но, сказав это, браво с горечью улыбнулся.

— Ты смеешься надо мной, Карло. Я знаю, что только немногие не делают никому зла...

— Вот что значит жить в тюремной атмосфере. Нет, девушка, есть люди, которые из поколения в поколение рождаются мудрыми, добродетельными, ко всему способными и созданными, чтобы бросать в тюрьмы честных тружеников и бедняков. Ведь это ясно, как день, и очевидно, да, очевидно — как стены этой тюрьмы.

Девушка отодвинулась от него; у ней даже мелькнула мысль о бегстве, потому что она ни разу не видела Джакопо таким страшным и странным.

— Я могу подумать, Карло, что отец умышленно назвал тебя этим именем, — сказала она, с упреком посмотрев на искаженное лицо собеседника.

— Родители знают, как называть своих детей... Но довольно, пора мне идти, и на этот раз я ухожу от тебя, дорогая, с тяжелым сердцем.

— Да, у тебя есть дела, и не надо их забывать. Хорошо ли ты за это время зарабатывал на своей гондоле?

— Нет, золото и я, мы не уживаемся вместе.

— Ты знаешь, Карло, что я не богата, — сказала едва слышно Джельсомина, — но, что у меня есть, можешь считать своим. Мой отец беден, иначе он не жил бы страданием других, будучи сторожем тюрьмы.

— Его служба много лучше дела тех, что возложили на него эту обязанность; она более невинна и гораздо более честна.

— Ты говоришь не так, как большинство, Карло. Я боялась, что ты постыдишься быть мужем дочери тюремщика.

— В таком случае ты не знаешь ни Карло, ни людей. Если бы твой отец был членом Сената или Совета Трех, и если бы это было известно, то тогда ты могла бы горевать... Но уже поздно, Джельсомина, и я должен уйти.

Джельсомина, пропустив молодого человека вперед, заперла дверь крытого моста. Пройдя несколько коридоров и лестницу, они вышли к набережной, где браво, торопливо простившись с девушкой, вскочил в свою гондолу и удалился.

## ГЛАВА XX

Маски шныряли по Большой площади, гондолы скользили по каналам, смех и песни раздавались со всех сторон.

Выйдя из гондолы на набережной, Джакопо смешался с толпой. Проходя вдоль темных аркад Бролио, он искал глазами донна Камилло Монфорте; на углу Малой площади они встретились, обменялись условными знаками, и браво повернул назад к набережной, не обратив на себя ничего постороннего внимания.

Сотни лодок стояли у берега Пьяццы. Джакопо отыскал свою, быстро погнал ее вниз по каналу и через несколько минут был уже у борта „Прекрасной Соррентинки“. Хозяин фелуки прогуливался по палубе, весь экипаж пел хором на носу судна. Стефано, казалось, ожидал этого посещения, потому что немедленно отвел браво на самый дальний конец кормы.

— Ты хочешь мне передать что-нибудь важное, Родриго?—спросил моряк, узнав браво по условному знаку; настоящего имени браво он не знал.

— Ты совсем готов к выходу в море?

— Куда угодно! Хоть на Левант или к Геркулесовым Столбам. Мы подняли реи с заходом солнца, и нас надо предупредить только за час, чтобы успеть обогнуть Лидо.

— В таком случае я вас предупреждаю.

— Родриго, вы доставляете ваш товар на рынок, где его и без того много. Мне уже объявлено, что сегодня ночью мы понадобится,

— Ты прав, Стефано, но точность необходима, когда дело касается важного поручения.

— Не желаете ли сами посмотреть, синьор?—сказал моряк, понизив голос.—Конечно, нельзя сравнить „Прекрасную Соррентинку“ по величине с „Буцентавром“, но если принять во внимание ее вместимость, можно сказать, что в ней можно расположиться не хуже, чем во дворце дождей. Впрочем, когда я узнал, что на ней будет пассажиркой прекрасная дама я почувствовал, что это уже касается чести моей родной Калабрии...

— Отлично. Если тебе объяснили все подробности, я не сомневаюсь, что ты считаешь это за честь для себя.

— Мне ничего не сказали, кроме того, что одна молодая особа, в которой Сенат принимал большое участие, покинет сегодня ночью город и переедет на восточный берег в Далмацию. Если вам не трудно, синьор Родриго, то я буду рад узнать, кто ее спутники.

— Ты все узнаешь, когда придет время, а пока молчи. Я очень доволен, что у тебя все наготове; желаю тебе спокойной ночи и счастливого путешествия. Вот еще что. Скажи: в котором часу ты ждешь берегового ветра?

— Так как сегодня день был очень жаркий, то берегового ветра нельзя ждать раньше полночи.

— Отлично! Я надеюсь на тебя. Еще раз до свиданья!—сказал браво, прыгнув в гондолу.

Послышался плеск весла, и в то время, как Стефано, все еще стоял на палубе, высчитывал выгоды, которые он мог извлечь из предложенной ему поездки, гондола Джакопо уже быстро приближалась к набережной.

Расставаясь с доном Камилло, Джакопо обещал ему пустить в ход все средства, которые ему подскажут его природная проницательность и опытность, чтобы разузнать, как намерен Сенат поступить в дальнейшем с донной Виолеттой. Браво знал, что Сенат имел обыкновение менять агентов в щекотливых делах, чтобы лучше сохранять тайну. И Джакопо часто сам прибегал к этому средству для переговоров с Стефано, которым пользовались при исполнении секретных мероприятий. Но никогда раньше не случалось, чтобы разрешалось другому агенту вмешиваться в его переговоры. Ему было поручено предупредить Стефано быть наготове по первому приказанию для нового поручения. Но после допроса Антонио ему не давали новых приказаний.

Долгое отсутствие поручений заставило Джакопо задуматься, и вид фелуки дал случайное направление его розыскам. Как только Джакопо вышел из гондолы на набережную, он поспешил вернуться на „Бролио“, переполненное в это время гуляющими. Убедившись, что дон Камилло уже ушел, браво смешался с толпой. Он присматривался к гуляющим, как вдруг кто-то коснулся его локтя.

Джакопо не имел обыкновения заговаривать без надобности на площади святого Марка, особенно в этот час. Джакопо оглянулся: тот, кто остановил браво, дал ему условный знак следовать за ним. Широкое домино до такой степени скрывало его фигуру, что не было равно никакой возможности отгадать даже телосложение незнакомца. Дойдя до укромного места, где никто из любопытных не мог их услышать, незнакомец остановился и осторожно всмотрелся в Джакопо. Он закончил этот осмотр и сделал знак, что уверен в своем предположении. Джакопо ответил ему тем же и сохранял молчание.

— Ой-ой! Можно подумать, что ваш духовник наложил на вас эпитимию<sup>1</sup> в виде молчания, или что вы нарочно отказываетесь говорить с вашим слугой.

— Что тебе надо? И почему ты уверен, что я тот самый, кого тебе надо?

— Ой, господин! От опытного взгляда не ускользнет ни одна мелочь. И я всегда узнаю вас в толпе празднующихся.

— Ну, и хитрец же ты, Осия! Положим, твоя хитрость и спасет тебя.

— Это единственная защита здесь против притеснений, синьор.

— Но к делу. Я тебе ничего не закладывал, да, кажется, ничего тебе и не должен.

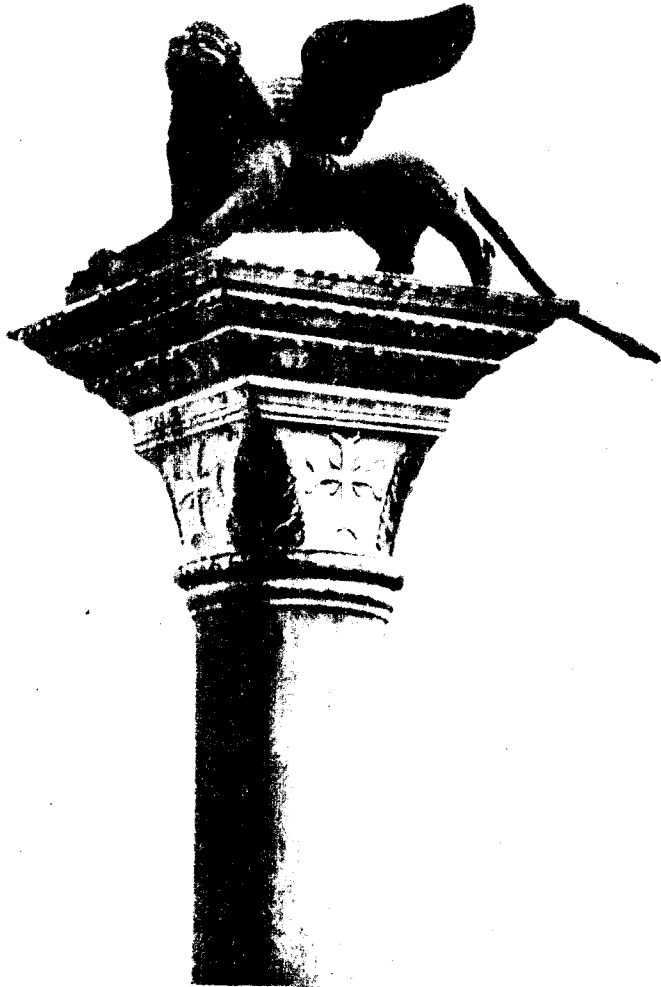
— Праведный Самуил! Я не виноват, что ваше сиятельство так уместе забывать свои заклады. Но весь Реальто может подтвердить наши счета, которые теперь уже возросли до значительной суммы...

Ну, хорошо, хорошо! Зная мое происхождение, ты выбрал неудобное место надоедать мне.

<sup>1</sup> Эп и т и м и я—наказание, налагаемое „за грехи“ церковью. (П р и м. р е д.)

— Я никоим образом не хочу сделать неприятность кому-либо из патрициев. И молчу... Надеюсь, что со временем вы узнаете свою подпись и печать.

— Люблю тебя за осторожность, Осия. Но я тороплюсь. В чем твоё настоящее дело?



Лев св. Марка.

Ювелир оглянулся и, приблизившись вплотную к мнимому патрицию, продолжал:

— Синьор, вашей семье грозит большая утрата. Вам известно, что Сенат неожиданно освободил вашего уважаемого отца от опеки над донной Виолеттой?

Джакопо вздргнул; но это волнение было вполне естественно для человека, заинтересованного в крупном приданом.

— Успокойтесь, синьор, всем приходится переживать подобные разочарования в юности. И меня, вот, прислали уведомить вас, что ее хотят удалить из этого города.

— А куда хотят ее отослать?—спросил с живостью Джакопо.

— Вот это-то и неизвестно. Но ваш отец предусмотрительный человек, хорошо знакомый с правительственными тайнами... Иногда я даже думаю, не состоит ли он членом Совета Трех.

— А почему бы и нет? Он из старинной фамилии.

— Я ничего не говорю против этого Совета, синьор. И никто на Риаальто не отзывается о нем плохо. Всем известно, что он занимается больше доходным ремеслом, чем обсуждением разных там правительственных мероприятий... Но все равно, к какому бы совету ваш батюшка ни принадлежал, дело в том, что нам грозит опасность.

— Я понимаю тебя. Ты боишься за деньги? Я сознаю важность твоих опасений, основанных на твоём чутье...

— И на смутных намеках вашего уважаемого батюшки.

— Разве он сказал что-нибудь положительное?

— Он говорил мне иносказательно, синьор. Но я понял, что богатую наследницу собираются выслать из Венеции. И так как я лично заинтересован в этом деле, то я не пожалел бы лучшей бирюзы из моей лавки, чтобы узнать, куда ее хотят отправить.

— Уверен ли ты, что ее отправят сегодня ночью?

— Вполне уверен.

— Ладно! В таком случае я сам позабочусь о моих и твоих интересах.

Джакопо кивнул головой ювелиру и пошел через Пьяццу.

Оставшись один, Осия стоял в задумчивости, как вдруг его кто-то окликнул.

— Что тебе надо от меня?—спросил ювелир, обращаясь к маске.

— Не в службу, а в дружбу, Осия. Можешь ли ты мне дать займы под хорошие проценты?

— С этим вопросом лучше было бы обратиться к казначею республики. У меня, правда, есть несколько драгоценных камней, которые я с охотой продал бы какому-нибудь любителю.

— Не в том дело. Все знают, что у тебя денег куры не клюют. И другой на твоём месте не отказался бы одолжить тысячу дукатов с ручательством таким же надежным, как законы республики.

— Тот, кто приписывает мне такое богатство, издевается над моей бедностью, синьор. Если вам угодно купить аметист или рубин, то я к вашим услугам.

— Мне надо денег, старик. У меня безотлагательная нужда, и мне некогда проводить попусту время. Говори твои условия.

— Синьор, тысяча дукатов не валяются на улице. Чтобы их дать займы, надо раньше много потрудиться над их собираньем; а тот, кто хочет их занять, должен быть хорошо известным на Риаальто.

— Ты ведь даешь займы знатым маскам под солидные залогов, осторожный Осия. Или твоя репутация слишком широка для твоего действительного великодушия?

— Солидный залог мне дает возможность не сомневаться, если бы даже мой заемщик был так же таинственен, как члены Совета Трех. Если хотите, придите ко мне завтра, а я пошарю у себя в сундуках.

— Не могу я откладывать. Скажи прямо: можешь ли ты мне дать займы? Тогда назначай сам какие хочешь проценты.

— При помощи друзей, моих соотечественников, я, пожалуй, смог бы набрать нужную сумму под залог драгоценных камней.

— Этот неопределенный ответ меня не удовлетворяет. Прощай Осия, пойду еще где-нибудь поищу.

— Ах, мне хочется вам услужить, и ради вас только я, так и быть, рискну! Один еврей, Леви из Ливорно, оставил мне на сохранение кошель как-раз с этой суммой. На подходящих условиях я им воспользуюсь и верну ему деньги потом из моих собственных средств.

— Очень тебе благодарен за это предложение, Осия,—сказал незнакомец, приподнимая маску.—Это облегчит наши переговоры. Может быть, кошель из Ливорно здесь с тобой?

Осия замер от неожиданности. Оказалось, что он сообщил какому-то незнакомцу, может быть, даже полицейскому агенту, свои соображения насчет намерений Сената в отношении донны Виолетты. Мало того, он лишился единственного довода для отказа в займе молодому кутилс Джакомо Градениго, сыну сенатора, сказав ему о кошельке из Ливорно.

— Надеюсь, что прежние отношения не помешают нашему договору. Осия?—заметил бесшабашный наследник сенатора Градениго.

— Отец Авраам! Если бы я знал, что это вы, синьор Джакомо, то мы давно бы с вами покончили.

— Да! Ты притворился бы, что у тебя нет денег, как это ты делал с некоторого времени.

— Нет, синьор, я никогда не отказываюсь от того, что сказал. Но дело в том, что Леви взял с меня слово, что я дам эти деньги только в руки самого надежного человека.

— Он может быть совершенно спокоен: ты сам их занимаешь, чтобы одолжить мне. Итак, вот тебе в залог драгоценности. Теперь давай цехины.

Даже и решительный тон Джакомо Градениго не подействовал бы на каменное сердце ростовщика, но когда, опомнившись от неожиданности, он начал объяснять молодому патрицию свои опасения относительно приданого донны Виолетты, к его успокоению, Джакомо Градениго объявил, что занимаемые деньги хочет употребить именно на то, чтобы перевести богатую наследницу куда-нибудь в безопасное место. Это обстоятельство сразу изменило дело. Осия нашел выгодным одолжить молодому патрицию цехины своего мнимого друга из Ливорно. Когда обе стороны пришли к соглашению, они покинули площадь, чтобы завершить сделку.

## ГЛАВА XXI

Наступала ночь. Музыка раздавалась слышнее среди тишины города, и гондолы патрициев снова показались на каналах. Среди этих легких гондол, быстро скользивших по поверхности воды, виднелась одна лодка,

медленно плывшая вдоль канала. Ее гребцы казались утомленными, и по сильно выцветшей окраске лодки можно было думать, что она возвращалась из далекого путешествия.



Боковой канал в Венеции.

Вдруг гондола свернула с середины большого канала и вошла в один из редко посещаемых боковых притоков. Здесь она прибавила ходу и скоро очутилась в самом бедном квартале Венеции. Там она остановилась около одного, повидимому, торгового помещения, и один человек из экипажа

гондолы вышел из нее и направился к мосту; остальные разлеглись на скамьях для отдыха.

Вышедший из гондолы прошел несколько узких переулков и постучал в окно, которое тотчас же открылось. Женский голос спросил: кто там?

— Это я, Аннина, — ответил Джино, — открой мне поскорей, у меня спешное дело.

Убедившись, что пришедший был один, Аннина отворила дверь и впустила в дом гондольера.

— Ты пришел совсем не во-время, Джино, — сказала она, — я собиралась пойти подышать свежим воздухом. Твои посещения вообще не доставляют мне особенного удовольствия, и, когда у меня есть другие дела, они меня стесняют.

Это холодное замечание могло бы оскорбить Джино, если бы его чувство к Аннине было сильнее, но, привыкнув к ее капризам, он опустился на стул с видом человека, решившего остаться.

— Убирайся отсюда! Я не могу напрасно терять времени.

— Ты сегодня что-то особенно торопишься, Аннина?

— Да, тороплюсь избавиться от тебя... Слушай, Джино, и запомни хорошенько, что я тебе скажу. Твой хозяин подвергся опале, и вот-вот его вышлют из Венеции со всеми его служащими-бездельниками. Так знай: я вовсе не намерена уезжать из моего родного города.

Гондольер улыбнулся с нескрываемым безразличием к ее деланному презрению, но, вспомнив о своем поручении, тотчас же принял серьезный вид и постарался почтительным обращением успокоить злобу своей неостоянной возлюбленной.

— Да поможет мне святой Марк! Если нам не суждено быть вместе, Аннина, это не может нам помешать все-таки заключить выгодную для нас обоих сделку. Я нарочно ехал темными каналами к тебе. Привез я сладкое, выдержанное вино, и твоему отцу редко приходилось добывать такое... А ты меня гонишь, как собаку!

— Сегодня у меня нет времени разговаривать с тобой, Джино, и, если бы ты меня не задержал, я давно бы уже веселилась.

— Ну, запри же дверь дома, моя милая, и не ломайся со старым другом. Пойдем попробуем моего вина, — сказал гондольер, выводя девушку из дома и услужливо помогая ей запереть дом.

Окончив это дело, они оба прошли по набережной. Перейдя мост, Джино указал девушке свою гондолу и подтолкнул ее локтем:

— Ты не соблазнишься, Аннина?

— Твоя неосторожность может нам в один прекрасный день сослужить плохую службу: разве можно оставлять контрабандистов так близко около нашего дома? Ну, говори, каких виноградников это вино?

— С подошвы Везувия, и виноград созрел при вулканическом жаре. Если мои товарищи продадут это вино старому Беппо, твой отец пожалеет, что упустил этот случай.

Аннина, всегда готовая на выгодную сделку, с завистью взглянула на гондолу; она уже представляла себе ее наполненной бурдюками с крепким и сладким неаполитанским вином.

— Ты больше не приедешь к нам, Джино?

— Это зависит от тебя. Ну, иди в гондолу и попробуй вино.

Аннина колебалась недолго; они быстро вошли в лодку, не обращая внимания на гондольеров, растянувшихся на скамьях, и откинули занавес каюты. Там сидел кто-то, облокотясь на мягкие подушки: оказалось, что гондола, похожая снаружи на лодку контрабандистов, имела все удобства городских гондол.

— Добро пожаловать! — сказал он. — Теперь уж мы с вами, Аннина, не расстанемся так скоро, как раньше.

С этими словами мнимый гондольер встал и оперся на плечо Аннины, — она очутилась лицом к лицу с доном Камилло Монфорте.

Привыкшая к хитростям, Аннина ничем не выказала своего испуга.

— Я вижу, что герцог святой Агаты удостоил контрабандную торговлю своим участием? — произнесла она притворно-шутливым тоном.

— Я здесь не для шуток, и ты в этом сама убедишься, девушка. Тебе предстоит выбор между искренним признанием и моей мезьей.

Дон Камилло говорил спокойно, но Аннина поняла, что имела дело с решительным человеком.

— Какого признания ожидает от меня ваша светлость? — спросила она, не будучи в силах больше скрывать своего волнения.

— Я желаю одной правды. И помни, что на этот раз мы не расстанемся, пока я не узнаю. Я теперь на ножах с венецианской полицией, и твое присутствие здесь — первый результат моего замысла.

— Ваша светлость, не слишком ли это смелый поступок на каналах Венеции?

— Последствия касаются только меня; но в твоих интересах во всем сознаться.

— Я не заставляю себя принуждать силой, синьор?

— Ну, говори скорей, потому что время не терпит.

— Синьор, я не стану отрицать, что с вами дурно поступили. Разве можно так поступать с благородным иностранцем, который, как всем известно, имеет все права на сенатские почести.

— Довольно болтовни, говори дело!

Увидев, что гондола, миновав каналы, плыла уже по лагунам, Аннина поняла, что находится во власти донна Камилло, и решила говорить более ясно.

— Вероятно, — сказала она, — ваша светлость подозревает, что Совет узнал о вашем намерении бежать с донной Виолеттой?

— Мне это все уж и так известно.

— Но я не могу сказать, почему меня выбрали в служанки к этой девице.

— Я был терпелив с тобой, Аннина, и ждал только того времени, когда мы выедем из каналов. Теперь ты должна говорить ясно, без всяких уверток. Где ты оставила мою жену?

— Ваша светлость! Да разве вы думаете, что Сенат сочтет этот брак законным?

— Отвечай мне, я тебе приказываю, или я найду средства заставить тебя говорить. Где ты оставила мою жену?

— Я ей не понадобилась в дороге, и полицейские агенты высадили меня на первом встречном мосту.

— Напрасно ты стараешься меня обмануть... Мне хорошо известно, что, покинув казенную гондолу, на которой находилась донна Виолетта, ты на закате солнца была в тюрьме святого Марка.

Удивление Аннины было вполне естественным.

— Боже мой! Да вы осведомлены больше, чем это предполагает Совет.

— И в этом ты убедишься ценою твоей жизни, если не скажешь мне правды. Из какого монастыря ты возвращалась?

— Ни из какого, синьор. Если ваша светлость узнала, что Сенат заключил синьору Пьеполу в тюрьму, то вы не должны за это пенять на меня.

— Твои хитрости бесполезны, Аннина: ты была в тюрьме у своей двоюродной сестры Джельсомины, дочери тюремного ключника; ты ходила, чтобы взять от нее контрабанду, которую, пользуясь ее наивностью, ты часто оставляешь у нее. Донна Виолетта—не заурядная пленница, чтобы ее запирали в тюрьме.

— Ох!

Аннина смогла выразить свое удивление только этим восклицанием.

— Да, ты теперь видишь, что мне все известно, и тебе не удастся обмануть меня. Ты редко бываешь у Джельсомины, но, возвращаясь по каналу в тот вечер...

Крики, раздавшиеся вблизи, прервали дону Камилло. Он поднял глаза и увидел сплоченную массу лодок, двигавшуюся к городу. Тысячи голосов кричали одновременно, и общий жалобный гул доказывал, что толпа была взволнована одним чувством. Удивленный этим зрелищем и тем, что гондола была как-раз на дороге этой флотилии, дон Камилло на время забыл о допросе.

— Что это значит, Джакопо?—спросил он вполголоса, обращаясь к рулевому.

— Это рыбаки синьор; судя по шуму, мне думается, что среди них возмущение... Уже давно между ними было недовольство из-за отказа освободить с галер сына одного из их товарищей.

Из любопытства гребцы дона Камилло приостановились было на минуту, но вскоре увидели необходимость свернуть с пути. Угрожающий крик с приказанием перестать грести заставлял дону Камилло или налечь сильнее на весла, чтобы скрыться, или повиноваться. Он выбрал второе.

— Кто вы такие?—спросил человек, казавшийся среди рыбаков предводителем.—Если вы из лагун и честные люди, то присоединяйтесь к товарищам и пойдем вместе на площадь святого Марка требовать справедливости.

— Отчего такое волнение?—спросил дон Камилло, костюм которого скрывал его звание.—Почему вы собрались все вместе, друзья?

— А вот посмотрите!

Дон Камилло обернулся и увидел посиневшее лицо и мертвые открытые глаза старика Антонио. Сотни голосов при несмолкаемых криках давали ему объяснения, и если бы не рассказ Джакопо, то трудно было бы разобраться в этом шуме.

— Правосудия!—кричали взволнованные голоса. Рыбаки поднимали голову старого Антонио, чтобы выставить ее на яркий свет луны.—Правосудия во дворце и хлеба на площади!

— Просите этого у Сената!—сказал Джакопо насмешливым тоном, который он не старался скрывать.

— Ты полагаешь, что наш товарищ наказан таким образом за проявленную им вчера смелость?

— В Венеции случаются вещи и страшнее этой.

— Они нам запрещают закидывать сети в канале Орфано<sup>1</sup> из боязни чтоб не обнаружилось тайны их правосудия, а теперь у них уже хватило смелости утопить одного из наших среди наших рыболовных гондол.

— Правосудия! Правосудия!—вновь закричали многочисленные хриплые голоса.

— На площадь святого Марка! Сложим труп к ногам самого дожа! Вперед, товарищи! Пусть кровь Антонио падет на головы его убийц!

Рыбаки снова взяли за весла и быстро направились к Большому каналу.

Эта встреча произвела сильное впечатление на Аннину. Дон Камилло воспользовался ее испугом для дальнейшего допроса, потому что время не допускало никаких промедлений.

Когда возмущенные рыбаки с криками въезжали в город, гондола дона Камилло Монфорте двигалась вперед по обширной спокойной поверхности лагун.

## ГЛАВА XXII

Легко представить себе ту тревогу, с которой патриции слушали крики рыбаков, направляясь к Большой площади. Некоторые из них, сознавая все, что было шаткого в их положении, давно уже предчувствовали близкую гибель государственного устройства Венеции и уже придумывали наиболее надежные меры к обеспечению своей личной безопасности. Другие слушали эти крики с удивлением и воображали, что они возвещали какую-нибудь победу святого Марка. Только немногие понимали опасность.

Рыбаки не были в состоянии ни определить свои собственные силы, ни обдумать свои случайные выгоды; они действовали только под влиянием порыва. Вчерашнее торжество их старого товарища, холодный отказ дожа и происшествия на Лидо, которые кончились смертью Антонио,—все это возмутило их.

Войдя в канал, они должны были замедлить ход, так как недостаток пространства не позволял даже пользоваться веслами. Каждый желал быть ближе к телу Антонио. Приблизившись к мосту Риальто, часть их вышла на берег и ближайшими улицами направилась к площади. Остальные лодки, менее стесненные, могли продвигаться быстрее.

В это время какая-то гондола, экипаж которой был вдвое многочисленнее обыкновенного, быстро вышла из бокового канала и, повернув в Большой, очутилась, совершенно случайно, как-раз против сплошной линии рыбацких лодок. Гондольеры казались удивленными этим необыкновенным зрелищем и с минуту не знали, к какой стороне им примкнуть.

— Это гондола республики!—закричали рыбаки.

А один голос добавил: „Канал Орфано!“

<sup>1</sup> Канал Орфано был назначен для выполнения в его водах тайных казней; в нем поэтому была запрещена рыбная ловля. (Прим. ред.)

Простого подозрения относительно поручения, которое приписывали гондоле эти два слова, в подобную минуту было достаточно, чтобы возбудить среди рыбаков новую вспышку ярости. С угрожающими криками часть лодок кинулась за гондолой. Республиканские гондольеры обратились в бегство. Они причалили к берегу и, выскочив на один из досчатых помостов, окружающих многие венецианские дворцы, исчезли в боковом переулке.

Ободренные этим успехом, рыбаки схватили пустую гондолу и повели ее среди своей флотилии, оглашая воздух торжествующими криками. Некоторые из них, из любопытства, проникли в каюту, обтянутую черным сукном и похожую благодаря этому на катафалк. В ту же минуту они вышли обратно и вывели с собой монаха.

— Кто ты такой?—спросил монаха хриплым голосом тот из рыбаков, который играл в этот день роль предводителя.

— Как видишь, я монах-кармелит.

— Служишь ли ты правительству? Ездил ли ты на канал Орфано затем, чтобы дать отпущение какому-нибудь несчастному?

— Я здесь не один, а при даме, которая нуждается в моих советах и молитвах. Свободный человек и заключенный одинаково могут рассчитывать на мои заботы.

— Оказывается, ты не гордец и, вероятно, согласен помолиться за одного бедняка?

— Я не вижу никакой разницы между дожем и рыбаком. Но я все-таки не хотел бы оставить моих спутниц, которые...

— С ними ничего не случится. Ну, войди в мою лодку!

Отец Ансельм вернулся в каюту казенной гондолы, объяснил все происшествие своим испуганным спутницам и затем вышел, чтобы исполнить требование рыбаков. Его повели в гондолу, которая была впереди всех, и указали тело старого рыбака.

— Перед тобой тело честного рыбака,—сказал его спутник,—между нами он был самый старый и ловкий рыбак, готовый всегда помочь своему товарищу.

— Я охотно верю тебе.

— Вчера он вышел победителем над лучшими гондольерами Венеции, и за то, что он попросил свободы для своего внука, республика убила его.

Лодки двинулись дальше.

Эта процессия представляла странное зрелище. Впереди всех плыла гондола с останками Антонио. Монах с обнаженной головой и с скрещенными на груди руками стоял у изголовья. Слышался только равномерный плеск весел и дрожащий голос монаха, прерываемый время от времени пением рыбаков.

Большая республиканская гондола шла в середине этой движущейся массы, потому что рыбаки не хотели отказаться от своего трофея. В таком порядке эта торжественная процессия въехала в порт и причалила к набережной в конце Пьяцетты.

Площадь святого Марка представляла в эту минуту интересную картину. Огни в кофейнях исчезли, любители веселья поспешили скрыться, боясь смешаться с рыбаками, а шуты и уличные певцы, сбросив маску веселости, приняли более подходящий общему настроению вид.

— Правосудия!—закричали тысячи голосов, когда тело Антонио было принесено во двор Дворца дожей.—Правосудия во дворцах, а хлеба на площади!

Обширный темный двор был наполнен загорелыми взволнованными рыбаками. Тело было положено внизу Лестницы Гигантов.

Совет Трех был извещен о прибытии волнующихся рыбаков. Собравшись во дворце, они устроили секретное совещание о возможной причине восстания.

— Известили ли дамадинскую гвардию о возмущении?—спросил один из членов тайного судилища.—Нам придется прибегнуть к ее залпам, прежде чем утихнет восстание.

— Положитесь в этом случае на обыкновенные власти, синьор,—ответил сенатор Градениго.—Я боюсь единственно, как бы не было здесь какого-нибудь заговора, могущего поколебать верность войск.

— Чего они еще добиваются? Им мало того, что у них есть, и они хотели бы иметь лучшее обеспечение, чем наши речи и уверения.

— Человек завистлив: бедняк хочет быть богатым, слабый—сильным.

— Есть, однако, исключение в этом правиле: богатые редко желают сделаться бедными, как и сильные не желают стать слабыми.

— Можно подумать, что вы сегодня надо всем смеетесь, синьор Градениго, но я полагаю, что говорю так, как следует говорить сенатору Венеции.

— Вы правы, ваши слова не представляют ничего необыкновенного. Но я сомневаюсь, чтобы дух наших законов подходил к богатству, приходящему в упадок... Во всяком случае, надо обратить должное внимание на возмущение; идемте к дожу. Он выйдет к народу с некоторыми патрициями и с одним из нас, как свидетелем. Больше число могло бы повредить нашему достоинству.

Тайный Совет разошелся как-раз в тот момент, когда траурная процессия входила во двор Дворца Дожей.

Толпа, собравшаяся во дворец, начала угрожающе кричать при виде дожа, только по имени управлявшего этим искусственным государством, но многолетняя привычка рыбаков к повинению заставила их мало-помалу стихнуть. Среди наступившей тишины слышалось только шуршанье одежды дожа, двигавшегося медленными шагами.

— Почему вы здесь собрались, друзья?—спросил дожд, дойдя до вершины Лестницы Гигантов.—И главным образом, скажите, почему вы подошли к дворцу вашего правителя с непристойными криками.

Рыбаки переглянулись и, казалось, искали в своей среде человека, который мог бы ответить за всех. Наконец, один из них, находившийся в самой середине толпы, где его нельзя было заметить, закричал:

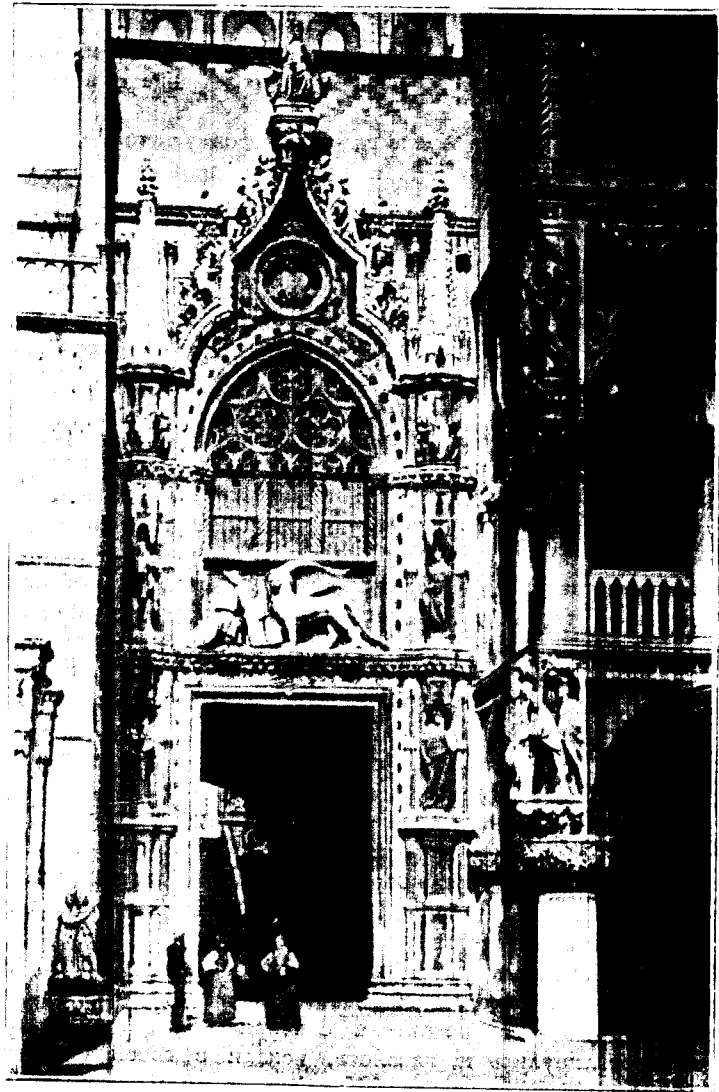
— Правосудия!

— Мы этого и сами желаем,—сказал дожд,—и добавлю, что мы это и исполняем. Но почему вы собрались здесь в таком оскорбительном для нас виде?

Все молчали. Единственный человек из всей корпорации рыбаков умел избавиться от оков привычки и предрассудка, но сейчас он был мертв.



— Что же никто не отвечает?—вновь спросил дож.—Вы смело кричите, когда вас не спрашивают, и становитесь безгласными, когда к вам обращаются!



Лестница Гигантов.

— Не угодно ли вашему высочеству говорить с ними снисходительнее, — сказал тихо дожу член Тайного Совета. — Далматинцы еще не готовы.

Дождь поклонился в знак согласия на это замечание и продолжал более кротким голосом:

— Если никто из вас не хочет мне сказать, чего вы желаете, то я должен буду приказывать вам разойтись, мое отеческое сердце...

— Правосудия! — повторил тот же голос из толпы.

— Но необходимо, чтобы мы знали, чего вы требуете.

— Взгляните сюда, ваше высочество!

Более смелые из рыбаков повернули тело Антонио таким образом, что оно все оказалось освещенным лунным светом. Дождь вздрогнул и медленно спустился по лестнице в сопровождении своей свиты и охраны. Он остановился возле тела.

— Неужели этот человек умер от руки убийцы? — спросил он, посмотрев на труп и перекрестившись. — Что мог выиграть убийца от смерти подобного человека? А может быть, этот несчастный пострадал во время ссоры с кем-нибудь из товарищей?

— Ничего подобного, великий дож; мы боимся, не стал ли Антонио жертвой гнева святого Марка.

— Его зовут Антонио? Не он ли хотел вчера после гонок учить нас управлять государством.

— Он самый, ваше высочество, — ответил наивно один из рыбаков, — это был лучший рыбак и лучший друг в нужде.

— Да, это был душа-человек, — заявил другой рыбак из толпы.

Дождь начал подозревать правду; он украдкой посмотрел на инквизитора, но не нашел в его лице ничего, что бы могло рассеять возникшее подозрение.

— Может ли кто-нибудь из вас объяснить мне, каким образом умер этот несчастный?

Главный оратор рыбаков взял это на себя и рассказал дождю, как они нашли труп Антонио.

— Я в этом не вижу ничего, кроме тех опасностей, которым подвержена жизнь рыбака, — заметил один из членов Тайного Совета. — Он умер от какого-нибудь несчастного случая.

— Сенатор, — отвечал рыбак с сомнением, — но ведь правительство святого Марка было обижено...

— Мало ли что среди вас болтают о святом Марке. Но если уж верить всему, что рассказывают о делах этого рода, то преступников ведь топят не в лагунах, а в канале Орфано.

— Верно, синьор, и нам под страхом смерти запрещено забрасывать там сети.

— Вот и еще причина, заставляющая думать, что смерть его была случайной. Есть ли признаки насилия на его теле? Никто не осматривал его тела?.. Но я вижу здесь кармелита... Батюшка, можете ли вы что-нибудь сказать по этому делу?

Монах старался говорить, но ему не хватало голоса. Он скрестил руки на груди и молчал.

— Ты не хочешь отвечать? — сказал дож. — Где ты нашел это тело?

Отец Ансельм вкратце рассказал, каким образом он был принужден исполнить требование рыбаков.

Рядом с дождем находился молодой патриций. Обманутый, как и все, тоном монаха, который один знал причину смерти Антонио, он из человеколюбия желал верить, что рыбак не был жертвой насилия.

— Я слышал об этом Антонио,—сказал этот молодой сенатор, по имени Соранцо.—Мне говорили об его успехах на гонке. У него, кажется, был соперник браво Джакопо?

Глухой ропот прокатился по толпе.

— Говорят, этот Джакопо вспыльчив и жесток, и, может быть, он хотел расплатиться с ним за свою неудачу.

Более сильный ропот доказал успех этого внушения.

— Джакопо расправляется только кинжалом,—сказал предводитель рыбаков, наполовину убежденный, но все-таки сомневаясь еще...

— При случае подобный человек может всегда воспользоваться и другими средствами для удовлетворения своей злобы. Вы разделяете мое мнение, синьор?

Сенатор Соранцо обратился чистосердечно с этим вопросом к одному из членов Тайного Совета. Тот казался удивленным возможностью этого предположения, но ограничился лишь кивком головы.

— Джакопо—виновник его смерти!—закричали в толпе.—Старый рыбак победил браво, и ему понадобилась кровь, чтобы смыть этот стыд.

— Все будет расследовано с строгим беспристрастием,—сказал дож, повернувшись, чтобы подняться на лестницу, и затем добавил:—Пусть выйдут денег на панихиды... Уважаемый батюшка, я прошу вас позаботиться об этом теле, и лучше всего вы сделаете, если проведете ночь около него.

По тайному приказанию инквизиторов далматинская гвардия вернулась в казармы. Через несколько минут все было приготовлено. Из собора принесли гроб, положили в него тело и подняли над ним балдахин.

Отец Ансельм шел впереди процессии, которая, пройдя в главные ворота дворца, перешла через площадь.

### ГЛАВА XXIII

Причавив к набережной, все рыбаки пошли за похоронной процессией. Донна Виолетта и ее наставница с тревогой прислушивались к удалявшемуся шуму.

— Они ушли,—сказала донна Флоринда.

— Да, и скоро полиция придет нас разыскивать.

— Их не видно! Бежим.

В одну минуту дрожавшие от волнения беглянки очутились на набережной. Пьяцетта была совершенно пуста. Глухой шум, как беспокойное жужжанье пчел, доносился со двора дожа.

— Там что-то неладно,—сказала гувернантка.

Вдруг они услышали приближавшиеся шаги. Человек в костюме лагунского рыбака шел со стороны Бролио.

— Монах поручил мне передать вам это,—сказал он, оглядываясь вокруг.

Он передал донне Флоринде клочок бумаги и, получив монету, поспешно скрылся.

Благодаря яркому лунному свету донна Флоринда могла прочесть несколько слов, написанных рукой, хорошо знакомой ей еще с молодости:

„Спасайтесь Флоринда! Нельзя терять ни минуты. Избегайте людных улиц и как можно скорее ищите убежища“.

— Но куда же бежать?—вскричала она растерянно.

— Куда бы ни было, лишь бы скрыться,—ответила донна Виолетта.—Идите за мной.

Вскоре они очутились под аркадами Бролио. Первой мыслью донны Виолетты было пойти упасть к ногам дожа, который приходился ей дальним родственником; но, услышав доносившиеся со двора крики, она поняла невозможность пробраться к дожу. Через минуту они очутились на мосту, перекинутом через канал святого Марка. Несколько матросов, стоя на своих фелуках, с любопытством посмотрели на них, но вид испуганных женщин, скрывавшихся от толпы, не заключал в себе ничего такого, что могло бы привлечь особенное внимание.

С моста они вдруг увидели массу людей, шедших им навстречу вдоль набережной. Видно было, как блестело оружие; слышались равномерные шаги дисциплинированного войска. Далматинская гвардия в полном составе выходила из своих казарм. Страх охватил обеих беглянок. Они вбежали в первую попавшуюся дверь. Навстречу им вышла девушка.

— Вы здесь вполне в безопасности, синьоры,—сказала она своим мягким венецианским акцентом,—за этими стенами никто не посмеет вас тронуть.

— Чей это дворец?—спросила донна Виолетта, переводя дыхание.— Я надеюсь, что здесь не откажут в гостеприимстве дочери Пьеполо?

— Вы желанная гостья, синьора,—сказала венецианка, низко кланяясь.

— Скажи имя твоего хозяина, чтобы мы могли попросить у него приема.

— Святой Марк.

Донна Виолетта и гувернантка остановились на минуту.

— Может быть, сами того не зная, мы вошли во дворец?

— Этого не могло случиться, потому что канал отделяет вас от палат дожа; но святой Марк и здесь распространяет свою власть. Поверьте мне, что здесь, в тюрьме, при помощи дочери тюремного смотрителя, вы можете найти совершенно безопасный приют.

— Как тебя зовут, дитя мое?—спросила донна Флоринда, в то время как ее спутница молчала от удивления.—Мы тебе очень благодарны за твою готовность оказать нам услугу в такой тяжелый для нас момент... Как твое имя?

— Джельсомина,—ответила скромно девушка.—Я единственная дочь тюремного смотрителя; я видела, как вы бежали по набережной, скрываясь от далматинцев, с одной стороны, и от толпы—с другой, и я подумала, что в такую минуту и тюрьма может вам показаться на время желанным убежищем.

— Твоя доброта не обманула тебя. Не можешь ли ты проводить нас в какое-нибудь менее людное место?

— Не беспокойтесь, сударыня, вы здесь в совершенной безопасности,—сказала Джельсомина, проводя их коридором в квартиру своего отца, откуда она увидела их бежавшими в испуге по набережной.—Сюда никто не входит, кроме меня и моего отца, да и он мало бывает дома, занятый по службе.

— Но у вас есть прислуга?

— Никого, сударыня. Дочери тюремного смотрителя приходится делать все самой.

— Ты нам окажешь большую услугу,—сказала донна Флоринда,—если примешь меры, чтобы нас никто не увидел. Я знаю, что мы тебя этим сильно затрудняем, но ты будешь вознаграждена за все. Вот тебе деньги.

Джельсомина ничего не ответила. Она остановилась, и ее обыкновенно бледные щеки покрылись ярким румянцем.

— Я не хотела тебя обидеть—сказала донна Флоринда, пряча кошелек.—Ты должна быть снисходительна, видя наш страх.

— Я понимаю ваше опасение и приму все меры, чтобы скрыть ваше присутствие.

Джельсомина вышла, оставив донну Виолетту с ее наставницей одних.

— Я не ожидала встретить такую деликатность в тюрьме!—воскликнула донна Виолетта.

— Не всякому слуху можно верить; как во дворце много несправедливости и грубости, так не надо без доказательств осуждать все, что происходит в тюрьме.

Джельсомина скоро вернулась.

— У тебя есть отец, Джельсомина?—спросила патрицианка, взяв за руку молодую девушку.

— Да, я не лишена этого счастья.

— Конечно, это большое счастье, потому что отец не решился бы продать свою дочь из честолюбия или интереса. А мать твоя тоже жива?

— Она давно не встает с постели, сударыня... Ах, я знаю, что мы не были бы здесь, если бы могли рассчитывать на что-нибудь лучшее.

— А знаешь, Джельсомина, ты счастливее меня, несмотря на то, что живешь в тюрьме. У меня нет ни отца, ни матери, ни... могла бы я, пожалуй, сказать... друзей.

— От вас ли я это слышу?

— Нельзя по наружности судить о вещах, Джельсомина. Ты, может быть, слышала, что от дома Пьеполо осталась только одна молодая девушка, которую отдали под опеку Сената?

— Я редко куда выхожу, сударыня, но все-таки я слышала о богатстве и красоте донны Виолетты. Я надеюсь, что это верно относительно первого, в последнем же я имела возможность убедиться сама.

Дочь Пьеполо покраснела в свою очередь, но это было приятное смущение.

— Да, о сироте говорят с большим снисхождением, хотя ее роковое богатство ничуть не преувеличено. Ведь тебе должно быть известно, что Сенат берет на себя заботу о всех богатых девушках, оставшихся без родителей?

— Нет, я этого не знала... Сенат милостив, если так поступает.

— Ты сейчас по-другому заговоришь, Джельсомина. Ты очень молода и всю свою жизнь была одинока.

— Вы не ошибаетесь, сударыня. Я только и бываю у больной матери или в камере какого-нибудь несчастного заключенного.

Виолетта посмотрела на свою компаньонку с видом, говорящим, что ее надежды оказались напрасными, что им нечего много рассчитывать на помощь такой малоопытной девушки.

— Понимаешь ли ты, что женщине не особенно приятно уступать желаниям Сената, который распоряжается по своему усмотрению и ее чувствами, и ее обязанностями?

Джельсомина подняла на нее глаза, но было видно, что она не поняла этого вопроса. Виолетта посмотрела на донну Флоринду, как бы призывая ее на помощь.

— Наши женские обязанности бывают часто очень тяжелыми,—сказала донна Флоринда, поняв взгляд своей воспитанницы.—Наша привязанность может быть не угодна нашим друзьям... Нам запрещено выбирать самим... Но мы не можем всегда повиноваться.

— Да, да, я слышала, что знатым девицам не дозволяется видеть своего будущего мужа. Это, вероятно, то самое, о чем вы говорите? Этот обычай мне всегда казался несправедливым и даже жестоким.

— Могут ли женщины твоего сословия выбирать себе друзей?—спросила с живостью донна Виолетта.

— Да, мы пользуемся этой свободой, даже в тюрьме.

— Видишь, ты счастливее тех, кто живет в Венеции во дворцах. Я полагаюсь на тебя: ты не выдашь девушку, ставшую жертвой насилия и несправедливости.

Джельсомина подняла руку, как бы желая остановить признание Виолетты, но затем продолжала внимательно слушать ее рассказ.

— Немногие входят сюда,—сказала она,—но я знаю, что есть много неизвестных еще мне средств подслушать тайны, о которых говорят в этих стенах. Идите за мной, я вас провожу в такое место, где при всяком желании никто нас не подслушает.

Девушка провела беглянок в комнату, где она обыкновенно беседовала с Джакопо.

— Вы сказали, синьора, что я неспособна выдать девушку, жертву насилия и несправедливости, и вы не ошиблись, сказав это.

Переходя из одной комнаты в другую, Виолетта начала было сомневаться в искренности Джельсомины, но это было лишь на одно мгновение; участие, с которым относилась к ней девушка, обреченная, как и она, на уединенную жизнь, заставило ее рассказать дочери тюремного смотрителя большую часть событий, которые привели ее в тюрьму.

Джельсомина побледнела при этом рассказе, и под конец его она вся дрожала от волнения.

— Сенат имеет безграничную власть: сопротивляться ему невозможно,—прошептала она едва слышно.—Подумали ли вы о той опасности, которой вы подвергаетесь?

— Теперь уже поздно об этом думать. Я—жена донна Камилло, и я никогда не буду женой другого.

— Что я слышу!.. А все-таки я предпочла бы умереть заключенной в монастыре, чем ослушаться Сената.

— Ты еще не знаешь, моя милая, на что способны женщины, даже в моем возрасте. Ты пока еще привязана к отцу, подчиняешься привычкам

детства, но позднее ты узнаешь, что все надежды на счастье могут сосредоточиться на другом.

— Сенат ужасен,—сказала Джельсомина,—но еще ужаснее отказаться от того, кому поклялась в любви и преданности!

— Можешь ли ты нас теперь спрятать, Джельсомина?—спросила ее донна Флоринда.—И можешь ли ты помочь нам скрыться еще дальше, когда стихнет весь шум?

— Нет, сударыня, я плохо знаю улицы и площади Венеции. Чего бы я не дала, чтоб знать город так же хорошо, как моя двоюродная сестра Аннина! Она ничего не боится и свободно идет, когда ей вздумается, из лавки своего отца на Лидо и с площади святого Марка в Риа-льто... Я шлю сейчас за ней: она выведет нас из затруднения.

— У тебя есть двоюродная сестра Аннина?

— Да, синьора, дочь сестры моей матери.

— А отец ее—виноторговец, которого зовут Томазо Торти?

— Да.

— Она к тебе часто приходит?

— Нет, синьора, очень редко. Мы с ней не дружим. Мне кажется, что Аннина считает меня недостойной ее дружбы, но она не откажется помочь нам. Я знаю, что она не долюбивает правительство, потому что мы часто говорили с ней о текущих событиях, и она говорила свободнее, чем этого можно было ожидать от женщины ее возраста.

— Знаешь ли, Джельсомина, что твоя кузина состоит агентом тайной полиции и не заслуживает твоего доверия. Верь мне; у меня есть основания так говорить.

— Синьоры, я ничего не скажу, что могло бы обидеть вас; но вы не должны заставлять меня думать дурно о племяннице моей матери. Я не хочу больше слышать дурное о моей кузине.

Виолетта и донна Флоринда умолкли. Они настояли только, чтоб их положение было скрыто от Аннины, и затем все вместе начали обдумывать способы дальнейшего бегства.

По совету донны Флоринды, Джельсомина приказала одному из тюремных привратников пойти посмотреть, что происходит на площади. Она ему поручила осторожно отыскать и привести в тюрьму босого монаха-кармелита, описав ему приметы отца Ансельма со слов донны Флоринды. Вернувшись, привратник сообщил ей, что толпа оставила двор замка и с телом Антонио перешла в собор.

— Вы можете спокойно лечь спать, Джельсомина,—прибавил привратник,—потому что рыбаки перестали кричать.

— Но ты мне ничего не сказал о монахе. Где он? Остался ли он среди рыбаков?

— Я видел одного кармелита у алтаря собора; но я, признаться, не смог рассмотреть его хорошенько.

— Таким образом, ты не исполнил моего поручения, и теперь уже поздно исправить ошибку. Ступай на свое место.

— Простите великодушно, Джельсомина. Если вам угодно, пошлите меня на Корфу или в Кандию, и я вам дам самое подробное описание каждого камня, находящегося в темницах этих островов. Но прошу вас не посылайте меня в эту кричащую толпу.

Вернувшись к своим гостям, Джельсомина немного успокоила их. Никто из привратников не видел их прихода: все служащие при тюрьме убежали ко Дворцу Дожей—посмотреть, что там происходило.

Это объяснение успокоило донну Виолетту и ее наставницу. Оно дало им возможность отыскать средства к побегу и поддерживало в донне Виолетте надежду скоро увидиться с доном Камилло. Но они не знали, каким образом известить его о своем положении. Они решили было, когда беспорядки совсем утихнут, переодеться и в лодке отправиться во дворец герцога; но, вспомнив, что неаполитанский синьор всегда был окружен агентами тайной полиции, решили, что этот план чересчур опасен.

Наконец, донне Флоринде пришла мысль воспользоваться тем интресом, с каким Джельсомина слушала рассказ донны Виолетты. Дочь тюремщика, едва переводя дух, слушала о том, как дон Камилло бросился в канал, чтобы спасти жизнь Виолетты; на ее лице, как в зеркале, отражались ее мысли, когда она слушала о всех опасностях, которым подвергался неаполитанец, чтобы заслужить любовь дочери Пьеполо.

— Все было бы хорошо,—сказала донна Флоринда,—если бы мы могли известить дону Камилло; иначе нам не может принести никакой пользы наш приют в тюрьме...

— Но будет ли у него достаточно смелости, чтобы пренебречь могуществом тех, кто правит нами?—сказала Джельсомина.

— Он созвал бы надежных людей, и до восхода солнца мы были бы уже далеко, вне всякой власти Сената.

— Я бы очень хотела услужить донне Виолетте.

— Но ты слишком молода, милая Джельсомина, и я боюсь, что ты плохо еще знакома с хитростями Венеции.

— Не сомневайтесь во мне, синьора, я могу быть полезной не хуже других.

— Ах, если бы можно было известить дону Камилло Монфорте о нашем положении... Нет, нет, ты недостаточно опытна, чтобы оказать нам эту услугу!

— Вы ошибаетесь, синьора!—вскричала Джельсомина.—Я могу быть в этом случае полезнее, чем вы думаете, судя по моей наружности.

— Я доверяюсь тебе, моя милая.

Джельсомина ушла, чтоб сделать некоторые приготовления. В это время донна Флоринда написала записку, умышленно в осторожных выражениях, чтобы не возбудить подозрения в случае неудачи, но так, чтобы все же известить герцога об их положении.

Джельсомина вернулась через несколько минут. Ее простой будничной костюм венецианки не требовал изменений; маска, без которой никто не выходил ночью в этом городе, скрывала ее лицо. Донна Флоринда передала ей записку, объяснив подробно, где находился дворец, и описав наружность дону Камилло.

#### ГЛАВА XXIV

Взяв тюремные ключи, Джельсомина захватила лампу и поднялась к себе в мезонин. Оттуда, миновав несколько темных, извилистых коридоров, она через Мост Вздохов вошла во Дворец Дожей. Там она

направилась к дверям, служившим входом и выходом для всех обыкновенных посетителей и обитателей дворца. Не желая попасться кому-нибудь на глаза, она потушила свою лампу и, наконец, очутилась на широкой темной лестнице. Спустившись по ней, она вошла в крытую галерею. Алеббардшик с любопытством посмотрел на нее, но пропустил ее, не спросивши имени. Когда она проходила верхней террасой дворца, кто-то подбежал к Львиной Пасти и опустил в нее донос. Джельсомина невольно остановилась, пока не скрылся доносчик. Идя дальше, она увидела другого алебардшика, стоявшего наверху Лестницы Гигантов.

— Что, теперь не опасно выйти из замка?—спросила она у толстого дааматинца.

— Часом раньше это было бы опасно, красавица, но теперь им закнули глотку, и все они ушли в церковь.

Джельсомина не колебалась больше; она спустилась с лестницы и вошла вскоре под своды главных ворот. На минуту она остановилась, чтобы убедиться в тишине на площади, по которой ей предстояло идти.

Тайные агенты полиции были слишком напуганы восстанием рыбаков, чтобы не прибегнуть к обыкновенным своим уловкам. Желая придать площади ее обычный ночной вид, они выпустили на нее нанятых шутов и певцов, и толпы гуляющих немедленно появились в разных местах Пьяццы. И в ту минуту, когда Джельсомина входила на Пьяцетту, обе площади были запружены народом. Небольшие группы еще взволнованных рыбаков стояли у паперти собора.

Кутаясь в свою мантилью и заботливо поправляя маску, Джельсомина быстро подвигалась к центру Пьяццы.

Она быстро дошла до площади святого Николая. Здесь обыкновенно находились наемные гондолы; однако, сейчас там не было ни одной: боязнь или любопытство отвлекли гондольеров от места их обычной стоянки. Джельсомина вошла на мост и лишь оттуда заметила одну гондолу, приближавшуюся со стороны Большого канала. Нерешительный и неуверенный вид девушки привлек внимание гондольера, и он привычным жестом предложил ей свои услуги. Так как она совсем не знала улиц Венеции, то воспользовалась его предложением. В одну минуту она спустилась по лестнице, прыгнула в лодку и, сказав слово „Риальто“, скрылась в каюте. Гондола двинулась в ту же минуту.

Джельсомина была уверена в успехе своего предприятия, потому что она несколько не боялась быть узнанной простым лодочником. Ее намерения ему не были известны, и в его интересах было безопаснее провезти ее, куда она желала. Подвигаясь вперед, она чувствовала, как свежий воздух канала оживлял ее. Ваглянув мельком на дворцы и гондолы, стоявшие вдоль берегов, она решила посмотреть на гондольера. Его лицо было закрыто маской, так искусно сделанной, что при неверном свете луны можно было с первого взгляда подумать, что он вовсе без маски.

Обычай носить маску был распространен не только среди патрициев и их служащих, но и наемные гондольеры пользовались иной раз маской. Такой способ скрывать лицо мог, пожалуй, возбудить некоторое опасение, но, подумав немного, Джельсомина решила, что этот человек возвращался,

должно быть, с прогулки с каким-нибудь влюбленным, потребовавшим, чтобы все окружающие его были в масках.

— Куда прикажете вас везти, синьора?—спросил гондольер.—К набережной или к дверям вашего дворца?

Сердце Джельсомины сильно забилося. Ей нравился этот голос, хотя она и знала, что звук его обязательно изменялся, проходя через маску. Так как ей никогда не приходилось заниматься чужими и особенно такими важными делами, она вся дрожала от волнения.

— Знаешь ли ты дворец дона Камилло Монфорте, калабрийского синьора, живущего в Венеции?—спросила она после минутного колебания.

Этот вопрос, казалось, настолько поразил гондольера, что он не мог скрыть, невольного волнения.

— Синьора,—спросил он,—прикажете везти вас туда?

— Да, если ты знаешь, где этот дворец.

Гондольер ударил веслом, и лодка поплыла между высокими стенами. Очутившись в одном из узких каналов-переулков, Джельсомина убедилась, что гондольер хорошо знал город. Он остановился около калитки и прыгнул на лестницу, чтобы помочь молодой девушке выйти из лодки. Джельсомина ему велела подождать и поднялась по ступеням.

Всякий, более опытный, чем Джельсомина, мог бы сразу заметить беспорядок, царивший в доме дона Камилло. Служащие недоверчиво смотрели друг на друга и, казалось, не знали, что им делать. Когда дочь тюремного зрителя вошла в переднюю, они все поднялись, но никто не пошел ей навстречу. Маскированная женщина не была редкостью в Венеции, потому что все женщины пользовались маской, выходя на каналы; но, судя по виду слуг дона Камилло, казалось, что они на этот раз не без удивления смотрели на вошедшую.

— Я не ошибаюсь, это дворец герцога Монфорте, калабрийского патриция?—спросила Джельсомина, чувствуя необходимость быть решительной.

— Точно так, синьора.

— Дома ваш господин?

— И да, и нет, синьора. Как прикажете о вас доложить?

— Если его нет, то вам не придется ничего ему докладывать, если же он у себя, то я желаю его видеть.

Служащие, казалось, совещались между собою. В это время гондольер в расшитой куртке вошел в переднюю. Его добродушный вид и веселый взгляд вернули Джельсоmine ее бодрость.

— Вы состоите на службе дона Камилло Монфорте?—спросила она в то время, когда гондольер проходил мимо нее, направляясь к каналу.

— Я состою у него гондольером, прекрасная синьора,—ответил Джино, поднося руку к колапу и поднимая глаза на лицо той, с кем он говорил.

— Можете ли вы ему сказать, что одна женщина очень желает с ним поговорить наедине?.. Не забудьте сказать, что женщина.

— Боже мой! В Венеции не оберешься женщин, которые пристают с такими просьбами... Но сейчас вы выбрали самое неудобное время для свидания с доном Камилло.

— Вам приказано так отвечать всем женщинам, приходящим во дворец?

— Чорт побери! Вы предлагаете странные вопросы, синьора. Мой хозяин принял бы, может быть, в случае необходимости одну особу вашего пола, которую я охотно бы назвал, если бы не скромность гондольера, которая не позволяет это сделать.

— Если он может сделать это снисхождение для одной... Но вы слишком смелы для служащего. Почему вы знаете, может быть, я та самая?

Джино вздрогнул. Он осмотрел фигуру Джельсомины, снял шапку и поклонился.

— Я ровно ничего не знаю относительно этого,—сказал он.—Может быть, вы—имперский посланник или даже сам дож... С некоторого времени я не смею утверждать, что я что-нибудь знаю в Венеции.

Гондольер, привезший Джельсомину, вошел в это время в переднюю; он подошел к Джино и сказал ему на ухо:

— Теперь не время отказывать кому бы то ни было. Проводи синьору к герцогу.

Джино больше не колебался. С видом превосходства, свойственным слуге-любимцу, он растолкал толпившуюся вокруг них дворню и сам повел Джельсомину к хозяину. Трое из низших служащих немедленно же исчезли из передней, когда Джельсомина ступила на первую ступень лестницы.

В это время дворец дона Камилло имел неприветливый вид. Комнаты его были слабо освещены, большая часть картин, украшавших стены, была снята, и по всему было видно, что обитатель этих хором не намеревался долго в них оставаться. Но Джельсомина не обращала внимания на эти подробности, идя за Джино в комнаты, занимаемые доном Камилло. Наконец, гондольер остановился и с поклоном отворил дверь.

— Это—комната для приема дам,—сказал он.—Войдите, синьора; я пойду сообщу господину об ожидающем его счастье.

Джельсомина вошла. Ее сердце сильно забилося, когда она услышала, что дверь за ней заперли двойным поворотом ключа. Она была в передней и, по свету, выходящему из соседней комнаты, поняла, что ей следует пройти дальше. Но едва она переступила порог этой комнаты, как очутилась лицом к лицу с другой девушкой.

— Аннина!—вскричала с удивлением простодушная дочь тюремщика.

— Джельсомина!—ответила ее двоюродная сестра.—Скажите пожалуйста, тихая, скромная Джельсомина!..

Обиженная и удивленная этими словами, Джельсомина сняла маску, чувствуя, что ей не хватало воздуха.

— Какими судьбами ты здесь?—промолвила она, едва понимая, что говорит.

— А ты как сюда попала?—спросила Аннина насмешливо.

— Я пришла сюда из сострадания... с поручением.

— Оказывается, мы обе здесь по одной причине.

— Я не знаю, что ты хочешь этим сказать, Аннина. Это ведь дворец дона Камилло Монфорте, благородного неаполитанца, который предьявляет свои права на звание сенатора?

— Да, дон Камилло,—самого красивого, изящного, богатого... и самого непостоянного из всех кавалеров Венеции.

Джельсомина с испугом слушала свою двоюродную сестру. Аннина с тайным удовольствием смотрела на ее побледневшие щеки и осунувшееся лицо. В первую минуту она сама верила тому, что сказала, но испуганный и огорченный вид Джельсомины дал новое направление ее подозрениям.

— Но, надеюсь, ты не услышала ничего для тебя нового,—ответила она поспешно.—Я жалею только, что ты ошиблась в своих ожиданиях, встретив здесь меня, вместо дон Камилло.

— Аннина! От тебя ли я это слышу?

— Согласись сама, что не за кухней же ты пришла в его дворец.

Джельсомина давно свыклась с горем, но никогда раньше она не знала унижений стыда. Она залилась слезами и, не будучи в силах долее держаться на ногах, опустилась на стоявший возле стул.

— Я не хотела тебя обидеть,—сказала хитрая дочь виноторговца,—но все-таки нельзя отрицать, что обе мы находимся в частном кабинете самого веселого кавалера Венеции.

— Я же тебе сказала, что пришла сюда из сострадания...

— Из сострадания... к дону Камилло?

— Нет, Аннина, я пришла сюда из сострадания к одной благородной, прекрасной девушке из фамилии Пьеполо.

— А почему девушка из фамилии Пьеполо обращается к посредничеству дочери тюремного смотрителя?

— Почему? Причиной этому—несправедливость властвующих. Во время бунта рыбаков эта девушка с ее воспитательницей были выпущены на свободу рыбаками, и вот, скрываясь от толпы и от далматинцев, они вбежали в тюрьму. Там они искали убежища...

Джельсомина не могла больше ничего прибавить. Желая оправдаться, оскорбленная до глубины души двусмысленностью своего положения, она зарыдала. Как ни была несвязна ее речь, она сказала достаточно, чтобы дочь виноторговца отгадала не только смысл поручения, возложенного на двоюродную сестру, но и то положение, в котором находились беглянки.

— И ты веришь всей этой басне, Джельсомина?—сказала она.—Ну, смею тебя уверить, что настоящее ремесло мнимой девицы из фамилии Пьеполо и ее, будто бы, воспитательницы—не тайна для распутников, гуляющих по площади святого Марка.

— Ты не говорила бы так, Аннина, если бы видела, как красива и хороша эта девушка. И для чего бы им тогда повадилось скрываться в тюрьме?

— О, у них нашлись причины бояться далматинцев. И я тебе могу сказать еще больше о тех женщинах, которых ты приняла во вред себе самой. Та, которая называет себя Флориндой, известна, между прочим, как контрабандистка. Она получила в подарок от неаполитанского герцога, дон Камилло, вино с его Калабрийских гор. И вот, искушая мою честность, она предложила мне его купить; она думала, что я решусь помочь ей в надувательстве республики.

— Неужели это правда, Аннина?

— С какой стати я стала бы тебя обманывать? Разве мы с тобой не родные? Несмотря на то, что дела на Лидо мне мешают часто видаться с тобой, ты не должна сомневаться в моих родовых чувствах к тебе... Ну, слушай дальше. Я дала знать властям; вино было отобрано, и мнимые благородные дамы должны были скрыться в тот же день. Предполагая, что они собираются бежать из города вместе с их приятелем, распутным доном Камилло. Принужденные скрыться где попало, они поручили тебе известить его, чтобы он мог притти к ним на помощь.

— А ты зачем здесь, Аннина?

— Меня удивляет, почему ты меня не спросила раньше об этом. У донна Камилло есть один гондольер, по имени Джино. Так вот он долго, но безуспешно ухаживал за мной, и вот, когда эта самая Флоринда раскричалась за то, что я донесла на нее властям,—а между тем я сделала то, что обязана делать каждая честная венецианка,—тогда Джино посоветовал своему хозяину схватить меня, отчасти ради мести, отчасти надеясь заставить меня отречься от моей жалобы... Я думаю, ты слышала о смелости и грубости этих господ, когда они бывают обмануты в своих расчетах.

— Но ведь на самом деле существует синьора Пьеполо, Аннина?

— Конечно. Но надо же было этим вероломным женщинам встретиться с такой наивной девушкой, как ты. Лучше бы им иметь дело со мной.

— Они мне говорили о тебе, Аннина.

Аннина посмотрела на свою кухню взглядом змеи, чарующей свою жертву.

— Я уверена, что они не сказали ничего хорошего обо мне! Мне было бы даже неприятно, если бы подобные женщины хорошо обо мне отзывались.

— Да, видно, что они не любят тебя, Аннина.

— Они, может быть, тебе говорили, что я на жалованьи у Совета?

— Именно.

— Нет ничего удивительного. Порочные люди не могут поверить, что другие живут честно. Но я слышу шаги неаполитанца. Вглядишься хорошенько в этого развратника, Джельсомина, и ты почувствуешь к нему то же презрение, как и я.

Дверь распахнулась, и вошел дон Камилло Монфорте. Джельсомина поднялась и ждала приближения герцога. Он заметно был поражен ее красотой и скромностью, но, боясь быть обманутым, нахмурился, когда обратился к ней.

— Ты хотела меня видеть?

— Да, я желала бы, благородный синьор. Но... Аннина...

— А, понимаю. Встретившись с другой женщиной, ты переменяла свое намерение.

— Да, синьор.

Дон Камилло посмотрел на нее с любопытством и в то же время с сожалением.

— Ты еще слишком молода для подобного ремесла!—сказал он.— Вот тебе деньги, и иди, откуда пришла... Подожди минутку, однако... Знаешь ты эту Аннину?

— Она родная племянница моей матери, ваша светлость.

— Вот достойные сестрицы! Можете обе убираться. Вы мне не нужны.—Послушай,—сказал он тихо и с угрозой, взяв за руку Аннину и отводя ее в сторону.—Ты видишь теперь, что меня надо бояться не меньше, чем твоего Сената. Советую тебе быть осторожной и на деле и особенно на словах: мне доносят о каждом твоём движении, ни одно твоё слово не пройдет мимо моих ушей...

Аннина поклонилась и, взяв под руку едва державшуюся на ногах Джельсомину, поспешно вышла с нею из кабинета. Очутившись у гондолы, Джельсомина вздохнула свободнее. Лодочник ждал на ступеньках подъезда. В одну минуту лодка увезла их от места, которое они покидали с радостью, хотя по разным причинам.

В растерянности Джельсомина забыла у донна Камилло свою маску. Как только гондола въехала в Большой канал, она высунулась в окно палатки, чтобы подышать свежим воздухом. Лунный свет падал ей на лицо и освещал ее глаза и щеки, покрывшиеся легким румянцем. Вдруг, она заметила, что гондольер приподнял свою маску и подал ей знак.

— Карло!—хотела она крикнуть, но другой знак заставил ее замолчать.

Джельсомина отошла от окна и, успокоившись немного, обрадовалась, что в такую тяжелую минуту она находилась с человеком, которому вполне доверяла.

Гондольер, не спросив, куда их следовало везти, направил гондолу в порт. Это не показалось странным обеим девушкам: Аннина думала, что он довезет их до площади, а Джельсомина предполагала, что тот, кого она называла Карло и кто, по ее мнению, был простым наемным гондольером, доставит ее прямо к тюрьме.

Слова Аннины о характере донна Камилло и обеих женщин, скрывшихся у нее, произвели тяжелое впечатление на Джельсомину. Она сгорала от стыда при мысли, что ее возлюбленный может изменить о ней свое мнение. Успокаивала она себя мыслью, что он достаточно ее знает, чтобы не подумать плохо о ней. Но ее деликатность требовала, чтобы она рассказала всю правду. В подобные минуты ожидание бывает тяжелее самого оправдания. Как бы с намерением подышать свежим воздухом она вышла из каюты и приблизилась к гондольеру.

— Карло!—сказала она ему тихо, видя, что он продолжает грести в молчании.

— Что, Джельсомина?

— Ты удивлен моим поведением?

— Я хорошо знаю твою кухню и уверен, что она тебя обманула.

Но придет время, и ты узнаешь всю правду.

— Ты меня не узнал, когда я тебе крикнула с моста?

— Нет. Я в то время искал только пассажира.

— Но скажи мне—почему ты так не любишь Аннину?

— Потому что нет женщины хитрее и живее ее в Венеции.

Джельсомина вспомнила, что ей говорила донна Флоринда. Аннина, правда, сумела ей внушить полное доверие и без труда убедила ее, что обе женщины, которым она дала приют в своей квартире, были только живые обманщицы. Но теперь, находясь в присутствии человека, которому

она доверяла больше всех на свете, и слыша его открытое обвинение, Джельсомина почувствовала необходимость все рассказать. Вполголоса она передала мнимому Карло все происшествия этого вечера и то, что говорила ей Аннина о женщинах, оставшихся в тюрьме. Джакопо слушал ее очень внимательно.

— Довольно. Теперь я все понял,—сказал он, когда раскрасневшаяся от волнения Джельсомина кончила рассказ.—Будь осторожнее с Анниной, потому что она фальшивее самого Сената.

Джельсомина вернулась в каюту гондолы, и гондола продолжала свой путь, как-будто ничего не случилось.

## ГЛАВА XXV

Джакопо были хорошо известны все предательские хитрости венецианского правительства. Он знал, с каким неустанным постоянством Совет преследовал тех, кто его интересовал. Джакопо был далек от надежды на полный успех, несмотря на благоприятные обстоятельства. Аннина была, конечно, в его власти. Но прежде всего ее надо было поместить в такое надежное место, где она не могла бы увидеться с полицейскими агентами. Сначала он подумал было вернуться во дворец дона Камилло, но это значило бы попасть в самую середину толпы сенатских шпионов, окружавших герцога. Хотя дон Камилло, не придавая большого значения аресту Аннины и рассчитывая на свои связи, выпустил ее на свободу после того, как выпытал от нее все, что она знала, Джакопо считал нужным задержать ее, так как она могла теперь сообщить многое полицейским агентам о положении донны Виолетты и донны Флоринды.

Площади и дворцы остались сзади; удивленная продолжительностью пути, Аннина с нетерпением выглянула в окно, чтобы посмотреть, где они плывут. Лодка в это время была в порту среди судов. Под тем же предлогом, как и Джельсомина, дочь вино торговца вышла из палатки и подошла к гондольеру.

— Подвези меня поскорее к калитке Дворца Дожей,—сказала она, сунув в руку гондольера серебряную монету.

— Ваши приказанья будут исполнены, красавица. Но, ей-богу, странно, что такая умная девушка не чуует сокровищ, находящихся на этой фелуке.

— Ты говоришь о „Прекрасной Соррентинке“?

— Ну, конечно! Ведь нигде ты не найдешь лучшего вина. А потому не торопись и воспользуйся удобным случаем, прелестная дочь честного Томазо. Нам, гондольерам, ты окажешь этим большую услугу.

— Как, ты меня знаешь?

— Да кто же не знает хорошенькую торговку вином с Лидо?

— Зачем же ты надел маску? Как тебя зовут?

— Это не важно. Я из числа твоих покупателей, и я отношусь к тебе с полным уважением. Но ничего не поделаешь с нашими молодыми патрициями; они заставляют нас многое держать в тайне до тех пор, пока не исчезнет всякое подозрение. Вот когда мы будем среди других

лодок, мне, пожалуй, можно будет снять маску. Хочешь войти на палубу „Прекрасной Соррентинки“?

— Бесплезно спрашивать, потому что ты сделаешь, как тебе самому захочется.

Гондольер улыбнулся, как бы давая понять, что ему были известны ее тайные желанья. В это время гондола остановилась у борта фелуки.

— Войдем поговорить с хозяином?—спросил Джакопо.

— Но у него нет вина.

— Это мне известнее, чем тебе. Я хорошо знаю людей и их увертки.

— Но ты забыл о моей кухне...

Джакопо взял Аннину на руки и поставил ее на палубу „Прекрасной Соррентинки“; затем вспрыгнул и сам. Не давая Аннине возможности разобраться в мыслях, он заставил ее спуститься в каюту. Стефано Милано спал в это время на палубе, растянувшись на свернутых парусах. Джакопо разбудил его, ударив по плечу.

— Виноват, синьор,—сказал моряк, видя перед собой самозванного Родриго.—Ну, что? Прибыл мой груз?

— Но не весь. Я привез к тебе одну Аннину, дочь старого вино торговца с Лидо, Томазо Торти.

— Как! Неужели Сенат находит нужным так таинственно отправлять ее из города?

— А то как же! И он придает большое значение ее аресту. Чтобы она не подозревала моего намерения, я ее привез сюда под предлогом тайно купить у тебя вина. Теперь твоя обязанность следить за ней, чтобы она не убежала от тебя.

— Нет ничего легче!—ответил Стефано и, добежав до каюты, запер ее дверь и задвинул засовы.—Будь покоен, там никого нет, кроме нее.

— Отлично! Постарайся уберечь ее. А теперь снимись с якоря и выведи твою фелуку из гущи этих судов.

— Это мигом будет исполнено; у меня все давно наготове.

— Смотри не медли, потому что многое зависит от твоей ловкости в этом деле. Через несколько минут мы увидимся. Но не забудь, Стефано, следи за своей пленницей, потому что Сенату очень важно, чтобы она не убежала.

В то время, как самозванный Родриго входил в свою гондолу, Стефано начал будить матросов, и, когда Джакопо въезжал в канал святого Марка, фелука калабрийца с надутыми парусами выбиралась из порта, чтобы остановиться в отдалении.

Вскоре гондола подъехала к ступеням входа во дворец. Джельсомина поднялась по лестнице. Тот же самый алебардчик стоял еще на карауле. Он пропустил ее, ничего не спрашивая.

— Скорее, как можно скорее,—вскричала Джельсомина, входя в комнату, где ее ждали донна Виолетта с гувернанткой.—Нельзя терять ни минуты. Не останавливаясь, идите за мной!

— Но отчего ты так взволнована и еле переводить дух?—спросила с тревогой донна Флоринда.—Скажи: видела ты донна Камилло?

— Ничего не спрашивайте у меня, а идите скорее!

Джельсомина взяла лампу, и все вместе они вышли из комнаты.



Они благополучно покинули тюрьму и перешли Мост Вздохов, потому что у Джельсомины ключи от него были с собой. Спустившись по большой дворцовой лестнице, они вошли в крытую галерею. Так же благополучно они прошли и через двор.

Джакопо их ждал у выхода на канал. Меньше чем через минуту их гондола уже рассекала воду гавани, направляясь к фелуке, которую можно было узнать по развевающемуся белому парусу. Джельсомина с волнением провожала их глазами и потом через главную дверь вошла в тюрьму.

— Спокоен ли ты относительно дочери старого Томазо?—спросил Джакопо, снова появляясь на палубе „Прекрасной Соррентинки“.

— Не сомневайтесь. Дверь заперта на засовы.

— Отлично! А теперь я тебе привез другую часть твоего груза. Ты, конечно, запасся пропуском, чтоб миновать сторожевую галеру!

— Разумеется. Все в порядке! Теперь остается только дожидаться утреннего бриза, и тогда нас не отыщут никакие сыщики.

По распоряжению Джакопо все паруса фелуки были распущены, и запенившаяся с боков фелуки вода немедленно показала, что судно взяло быстрый ход.

— У тебя сегодня благородные пассажирки,—сказал Джакопо хозяину, когда тот окончил необходимые маневры.

— Но вы забыли мне сказать, куда я должен их доставить.

— Ты это узнаешь вскоре. Чиновник Сената явится, чтоб объяснить тебе это. Я не желал бы, чтобы эти благородные дамы узнали,—пока они находятся в порту,—что вместе с ними едет Аннина... Ты меня понимаешь, Стефано?

— Еще бы! Ведь я не дурак и не сумасшедший какой-нибудь. Иначе мною не пользовался бы Сенат. Эти дамы и не заметят присутствия Аннины; я ее не выпущу из каюты, и они свободно могут наслаждаться здесь на палубе свежим морским воздухом.

— Относительно этого будь покоен. Тот, кто не привык к морю, не очень-то стремится к душному воздуху каюты. Ты отправишься на ту сторону Лидо, Стефано, и там подождешь меня. Если я не явлюсь через час после полуночи, тогда плыви в Анконский порт, и там ты получишь новые приказания.

Стефано нередко получал подобные поручения от самозванного Родриго; он обещал исполнить все в точности.

Никогда еще Джакопо не разгонял так сильно свою гондолу, как теперь, направляясь к берегу. Домчавшись до набережной, он проворно снял маску и вышел на землю. Приближался час, в который он назначил на Пьяцце свидание дону Камилло, и медленными шагами браво направился к тому месту, где они должны были встретиться.

Джакопо имел обыкновение ночью прогуливаться около гранитных колонн. Все думали, что он являлся туда за заказами по своему кроватному ремеслу. И вот, когда всеми ненавидимый и в то же время внушающий страх браво прогуливался теперь по каменным плитам, какой-то человек поспешно подошел к нему и, сунув ему в руки записку, исчез с быстротою молнии. Джакопо не умел читать. Он остановил первого прохожего и попросил его прочесть полученную им записку.

Это был честный торговец одного из отдаленных кварталов города. Он взял записку и начал громко читать:

„Джакопо, я не могу прийти на свиданье, потому что должен быть в другом месте“.

При имени Джакопо записка выпала из рук читавшего, и он пустился бежать со всех ног.

Джакопо повернулся к набережной, размышляя о неприятном событии, нарушившем его планы. Вдруг кто-то тронул его за локоть: он обернулся и увидел рядом с собой человека в маске.

— Ты—Джакопо Фронтони?—спросил незнакомец.

— Я самый.

— Можешь ли ты мне верно послужить? Если согласен, то получишь сто цехинов вот из этого кошелька.

— А позвольте узнать: чью жизнь вы оцениваете так дорого?

— Жизнь дона Камилло Монфорте.

— Дона Камилло Монфорте?—повторил растерянно Джакопо.

— Ты его знаешь? Так постарайся устроить хорошенько это дело, и сумма будет удвоена.

— Но мне необходимо знать ваше имя, синьор.

Незнакомец осторожно посмотрел вокруг и поднял маску. Браво увидел лицо молодого кутилы Джакомо Градениго.

— Теперь ты спокоен?

— Да, синьор... Когда прикажете исполнить ваш приказ?

— Обязательно сегодня ночью, и, чем скорее, тем лучше.

— Где вы желаете, чтобы я с ним покончил: в его дворце или...

— Пойди сюда, Джакопо, я тебе кое-что скажу. У тебя есть маска?

Браво щелкнул языком в знак подтверждения.

— Надень ее и пойди отыщи свою лодку, а я тебя догоню.

Джакопо выдвинул свою гондолу из множества других, привязанных к кольцам набережной, и отъехал на некоторое расстояние, убежденный, что за ним следили, и что ему не придется долго ждать. Он не ошибся в своих предположениях, потому что через несколько минут два человека подъехали к нему в гондоле и молча перешли в его лодку, отдав приказание своему гондольеру следовать за ними в отдалении.

— В Лидо!—сказал один из них.

Когда они отъехали далеко от судов, оба пассажира вышли из каюты и приказали браво перестать грести.

— Ты берешься исполнить это поручение, Джакопо Фронтони?—спросил наследник сенатора Градениго.

— Но где вы прикажете убить его, синьор?

— Мы придумали средство вызвать его из дворца, и он теперь в твоём распоряжении. Скажи только: согласен ты работать на нас или нет?

— С большим удовольствием, синьор. Я люблю иметь дело с храбрыми людьми.

— В таком случае, ты не пожалеешь, если возьмешь на себя разделаться с ним... Неаполитанец, видишь ли, оказался моим соперником в любовном деле... Так ли я говорю, Осия?

— Ах, вы не думаете о нашей с вами безопасности, синьор Градениго... Праведный Даниил! Я не вижу никакой необходимости наносить смертный удар, Джакомо. Достаточно ранить его, чтобы он на некоторое время оставил мысль о женитьбе.

— Нет, Джакомо, бей прямо в сердце!—сказал Джакомо.—Потому-то я и обратился к тебе, что знал твердость твоей руки.

— Это совсем ненужная жестокость, синьор Джакомо,—возразил ювелир.—Для наших планов достаточно, чтобы герцог приблизительно с месяц не выходил из дома.

— Упрячь его в могилу, Джакомо! Слушай меня хорошенько! Я тебе обещаю сто цехинов за удар, еще сто за то, чтобы он был убит наповал, и еще сто, чтобы его бросить в канал Орфано, где вода навсегда скроет нашу тайну.

— Таким образом, вы не согласны ограничиться только раной, синьор Градениго?—спросил ювелир.

— Ни в каком случае! И я не дам тогда ни одного цехина. Согласен ты на мои условия, Джакомо?

— Точно так, синьор, я их принимаю.

— В таком случае гребите к Лидо. Мы его обманули, послав письмо от имени той девушки, чьей руки мы оба добиваемся. Он будет там один в надежде покинуть вместе с ней Венецию. В дальнейшем я полагаюсь на тебя. Ты меня понимаешь?

— Вполне, синьор.

— Ты меня знаешь и можешь рассчитывать на то, что я тебе обещал... Осия, мы свое дело сделали.

Джакомо Градениго дал знак подъехать своей гондоле и, бросив Джакомо кошель с первой частью обещанной платы, вошел в свою лодку с равнодушным видом человека, привыкшего смотреть на подобные средства, как на вполне законные для достижения своей цели. Осия, видимо, не мог так действовать. Это был скорее ловкий плут, чем злодей, и крайность, до которой доходил в своей мести Джакомо, сильно пугала его. Уходя, он остановился, чтобы сказать несколько слов Джакомо.

— Говорят, что у тебя меткий удар, Джакомо,—сказал он еле слышно.—При твоей ловкости ты должен так же искусно наносить раны, как и убивать. Не убивай неаполитанца, а только ткни его хорошенько.

— А ты забыл про золото, Осия?

— Ах! Какая у меня память. Деньги твои ни в каком случае не пропадут, если ты все уладишь таким образом, что дашь моему кавалеру надежду на успех у завидной наследницы.

Джакомо сделал нетерпеливый жест, потому что в эту минуту он заметил гондолу, приближавшуюся со стороны Лидо. Еврей перешел в лодку своего спутника, а браво направился к острову. Быстрыми шагами он пошел к могилам.

— Не меня ли ты ищешь?—спросил его человек, выходя из-за песчаного холмика и держа наготове обнаженную шпагу.

— Вас, герцог,—ответил Джакомо, снимая маску.

— Тебя ли я вижу, Джакомо? Говори скорее, что ты знаешь о Виолетте?

— Идите за мной, дон Камилло, и вы ее сами увидите.

Дон Камилло вошел в гондолу Джакомо, и, когда они были в одном из проходов Лидо, ведущих к заливу, браво начал свой рассказ. Он быстро передал дону Камилло все случившееся, не забыв о планах Джакомо Градениго насчет убийства соперника.

Фелука, получив пропуск от полицейских агентов на сторожевой галере, уже вышла из порта и плыла теперь каналом, по которому должна была выехать в Адриатическое море. На море было тихо, легкий ветерок долетал с берега. Все благоприятствовало беглянкам. Они сидели, прислонившись к мачте, и, наслаждаясь красотой лунной ночи, всматривались в удаляющиеся купола Венеции. Время от времени с каналов доносилась музыка, навевая грустное настроение. Вдруг раздался плеск воды от подъехавшей гондолы, и дон Камилло, прыгнув на палубу фелуки, обнял свою молодую супругу.

После коротких переговоров Стефано Милано решил навсегда оставить службу у республики и перейти к своему феодальному владельцу. Времени терять было нельзя. Натянули паруса, и фелука стала быстро удаляться от берега, имея на буксире гондолу Джакомо.

— Вам надо отправиться в Анкону, синьор Камилло,—сказал браво, все еще не решавшийся уехать.—Там вы немедленно обратитесь к покровительству кардинала-секретаря... Если Стефано пойдет открытым морем, вы можете встретиться с галерами республики.

— Не бойся за нас, милый Джакомо. Но что с тобой будет, если ты останешься в руках Сената? Вот что меня беспокоит.

— Будьте спокойны, синьор. Покинуть Венецию теперь, вы знаете, я не могу. Я привык и к опасностям, и к нищете, и к... разочарованиям...

Он поцеловал руку донны Виолетты, которая, не зная еще всех оказанных им услуг, слушала его с удивлением.

— Дон Камилло Монфорте,—продолжал браво,—опасайтесь Венеции. Не доверяйте ее обещаниям. Мне лучше всех известна фальшивость ее правительства. Не забудьте, что это мое последнее вам слово...

— Ты так говоришь, Джакомо, как-будто нам не придется больше увидаться.

Браво отвернулся. Луна освещала его лицо, на котором можно было прочесть и радость от удавшегося предприятия, и тревогу за будущее.

— Ни за что в будущем нельзя ручаться,—ответал он, как бы про себя.

Коснувшись руки донна Камилло, он поспешно прыгнул в гондолу. Отвязали веревку, и фелука удалилась, оставив браво одного на волнах Адриатического моря. Дон Камилло побежал на корму и последний раз взглянул на Джакомо, возвращавшегося в Венецию.

## ГЛАВА XXVI

На другой день утром Джакомо отправился к Джельсомине, чтобы в сопровождении ее навестить больного отца. В то время, как они шли по коридорам Дворца Дожей, он рассказал ей со всеми подробностями о бегстве влюбленных, но из осторожности скрыл от нее замысел

Джакомо Градениго. Глядя на ее оживленное лицо, можно было понять, как сильно интересовал ее рассказ.

— И что же, ты надеешься, что они могут скрыться окончательно от правителей?—спросила она тихо.—Ведь ты знаешь, что у республики всегда есть галеры в Адриатическом море?

— Я это отлично помню,—ответил браво,—и поэтому я посоветовал дону Камилло плыть в порт Анкону. Как только они будут в церковных владениях, влияние дона Камилло и права его супруги окажут им большую услугу... Вот если бы ты мне указала, откуда можно посмотреть на море!

Джельсомина провела его в комнату под самой крышей. Из нее были видны остров Лидо и Адриатическое море. Ветер качал мачты судов и волновал лагуны. По надувшимся парусам и по тем усилиям, с которыми гребли гондольеры, можно было судить, что ветер был очень силен. По ту сторону Лидо море было покрыто пенистыми валами.

— Это хорошо!—сказал Джакомо, осмотрев внимательно всю картину, расстилающуюся перед его глазами.—Они далеко от берега и при таком ветре через несколько часов будут в Анконе... Теперь идем в камеру отца, Джельсомина.

Дочь тюремного смотрителя не ожидала такой быстрой перемены разговора, но ничего не сказала, и через несколько минут они были у постели старого заключенного. Он не заметил их прихода, и Джакомо вынужден был дать знать о себе.

— Отец,—сказал он грустно,—это я.

Заключенный обернулся, и, несмотря на то, что он был теперь гораздо более слаб, чем в последний приход сына, легкая улыбка появилась на его изможденном лице.

— Ну, что, как мать?—спросил он торопливо.

— Ничего, счастлива... Душа ее постоянно с тобою, отец.

— А сестра?

— И сестра часто вспоминает тебя. Обе они терпеливо ждут свидания с тобой.

— Ну, а что сенаторы?

— Они, как всегда, остаются бездушными себялюбцами,—ответил с горечью Джакомо.

— Синьоры ошиблись, подозревая меня в покушении на доходы государства,—сказал с покорностью старик.—Но придет время, и они поймут свою ошибку... Ты несправедлив к ним, сынок,—между сенаторами есть достойные люди, как, например, синьор Пьеполо. Он много мне делал добра в молодости, и, если бы не это незаслуженное обвинение, я бы далеко пошел в гору.

— Но он умер,—сказал Джакомо.

— Разве он умер? Да, смерть никого не минует, Джакомо,—сказал старик.

— Отец,—вскрикнул браво, желая остановить старика. Он встал на колени перед постелью его и сказал ему на ухо:—Ты забываешь, отец, что по некоторым причинам нельзя произносить этого имени. Я ведь тебе уж не раз говорил, что если ты меня будешь так называть, то мне не позволят больше навещать тебя.

Старик взглянул на сына помутившимися глазами; многое теперь казалось ему непонятным. Переведя глаза в стену, он вдруг засмеялся, как ребенок.

— Посмотри поскорее, сынок, приполз ли паук?

Джакомо вздохнул, но поднялся, чтобы исполнить желание отца.

— Нет, его не видно, отец, да теперь ему еще не время, вот пожди тепла.

— Да разве теперь-то не тепло? Ведь ты забываешь, сынок, что мы совсем под крышей. А как солнце жжет! Синьоры и не представляют себе, какая это пытка быть зимою в подземных тюрьмах, а летом под раскаленным свинцом.

— Они заботятся только о своей собственной власти... Ах, да что об этом говорить! Скажи, отец, чего тебе не достает?

— Воздуха, сынок, воздуха!

Джакомо подбежал к одной из трещин, но, несмотря на все усилия, он не мог увеличить отверстия.

— Скорее отвори дверь, Джельсомина!—крикнул он, возвращаясь к постели отца.

— Теперь мне лучше,—сказал старик,—а вот, когда ты уйдешь, и я останусь один с моими думами, представляю себе, как огорчены мать и сестра,—тогда мне будет тяжело! Что теперь у нас—уж август?

— Нет, только май еще.

— Мне придется еще много страдать от жары?

Взгляд Джакомо был так же страшен в эту минуту, как ледяющий взор старика. Грудь его высоко поднималась от прерывистого дыхания.

— Нет, это невыносимо!—сказал он тихо, но в его голосе слышалась непоколебимая решительность.—Невозможно, чтобы ты дальше так мучился! Вставай, отец, и иди за мной. Мы можем пройти беспрепятственно: ключи с нами, и я знаю все выходы. Я найду способ спрятать тебя как-нибудь до ночи, и тогда мы навек оставим эту проклятую республику.

Луч надежды блеснул в глазах старого узника, но неуверенность в возможности побега сразу изменила их выражение.

— Но ты забыл о тех сильных, которые властвуют над нами. И как ты обманешь эту девушку?

— Она на нашей стороне. Верно я говорю, дорогая Джельсомина?

Молодая девушка была так напугана видом отчаянной решимости самозванного Карло, что не была в состоянии отвечать, и опустила на скамейку. Старик поочередно смотрел то на одного, то на другую. Он сделал усилие подняться, но напрасно: он вновь упал на солому. Тогда только Джакомо окончательно понял невыполнимость своего плана. Мало-по-малу он успокоился и стал вновь бесстрастным.

— Отец, мне пора уходить.

— Когда же теперь я тебя увижу?

— Если ничто не помешает, я скоро тебя навещу.

Подвинув поближе к отцу все, что ему могло понадобиться, браво вышел из тюрьмы с Джельсоминой.

Джакомо неохотно покидал тюрьму: ему казалось, что эти тайные посещения должны будут скоро окончиться. Через минуту они спустились

в нижний этаж, и так как Джакопо пожелал поскорее выйти из дворца, то Джельсомина решила его проводить по главному коридору.

— Ты сегодня грустнее обыкновенного, Карло,—сказала она.—А мне казалось, что ты должен бы радоваться за неаполитанского герцога и донну Виолетту.

— Их счастье для меня—солнечный луч зимою, Джельсомина. Но нас слушают. Кто этот шпион, который следит за каждым нашим движением?

— Это дворцовый служитель. Он всегда нам попадает в этой части здания на дороге. Войди, отдохни здесь. В эту комнату никто не приходит, и мы можем еще раз взглянуть на море.

Джакопо вошел за Джельсоминой в одно из пустых помещений второго этажа, потому что, действительно, ему хотелось раньше, чем выйти из дворца, посмотреть, что делалось снаружи. Прежде всего он посмотрел на море, потом перевел взгляд на то, что происходило ближе. В это время офицер республики в сопровождении трубача и нескольких солдат выходил из дворца, как это всегда бывало, когда Сенат объявлял что-нибудь народу. Джельсомина открыла окно, и оба они высунулись послушать. Когда маленькая процессия дошла до собора, зазвучала труба, и послышался голос офицера, произносившего следующие слова:

„Так как за последнее время было совершено несколько гнусных и жестоких убийств граждан Венеции, Сенат в отеческой заботе своей нашел уместным прибегнуть к чрезвычайным средствам, чтобы предупредить в дальнейшем подобные преступления, грозящие общественной безопасности. Высокий Совет Десяти обещает награду в сто цехинов тому, кто отыщет виновника того или иного из этих убийств. Прошлой ночью в лагунах было найдено тело известного рыбака Антонио, достойного и очень уважаемого патрициями гражданина, и так как есть причины думать, что его убийца—некий Джакопо Фронтони, который слывет за браво, то-есть за наемного убийцу, и за которым власти давно уже, но безуспешно, следили, чтобы захватить его на месте преступления, то Высокий Совет предписывает всем честным гражданам республики помочь властям схватить означенного Джакопо Фронтони, если бы даже он укрылся в храм, так как Венеция не может дольше терпеть этого чело- века, беспощадно проливающего безвинную кровь. И, как поощрение, Сенат предлагает за его поимку триста цехинов“.

Джельсомина слушала с большим вниманием.

— Ты слышал, Карло?—вскричала она, отходя от окна.—Они обещают, наконец, награду за арест этого чудовища, совершившего столько убийств.

Джакопо засмеялся, но Джельсомине смех его показался неестественным.

— Патриции справедливы,—сказал он,—и все, что они делают, безупречно. Они не могут ошибаться. Они осуществляют теперь свое намерение.

— Но в этом случае они только исполняют свои обязанности перед народом.

— Все говорят только об обязанностях народа, но умалчивают об обязанностях Сената.

— Мы не должны отрицать, что он их исполняет, Карло, потому что и на деле он старается защищать своих граждан. Этого Джакопо все ненавидят, и его злодейства долго составляли позор Венеции. Ты видишь, что патриции не скупятся, чтоб только схватить его. Послушай, хотя бы повторить воззвание.

Снова зазвучала труба, и офицер, выступив из-за гранитных колонн, почти под самым окном, где находились Джельсомина и Джакопо, прочел второй раз объявление.

— Зачем ты надеваешь маску, Карло?—спросила Джельсомина, когда офицер кончил читать.—В этот час не принято носить маску во дворце.

— Я делаю это нарочно, чтобы меня приняли за дожа или за одного из Трех, покрасневшего, когда объявляется их постановление,—ответил шутливо Джакопо.

— Они идут по набережной к арсеналу; там сядут в лодку и отправятся к Риальто, как всегда делается.

— И там они во-время известят этого страшного Джакопо, чтобы он успел спрятаться. Ваши судебные власти таинственны, когда следует быть откровенными, и болтливы, когда следовало бы помолчать... Но пора мне отправляться, Джельсомина: выпусти меня через двор дворца, а сама вернись домой.

— Нет, это невозможно, Карло, я и так уже нарушила приказ начальства, потому что тебе не было разрешено входить сюда в этот час.

— Ты это сделала ради любви ко мне, Джельсомина?

Смушенная девушка опустила голову, и яркий румянец разлился по ее лицу.

— Да, ты отгадал,—ответила она.

— Спасибо тебе, дорогая; но будь уверена, что я найду средство выйти из дворца незамеченным. Трудно было войти без позволения, а насчет выходящих предполагается, что у них есть право входа.

— Каждый проходящий в маске днем мимо сторожевого алебарщика должен объявить пароль.

Это замечание, казалось, смутило браво. Он находил опасным возвращаться прежней дорогой, потому что не сомневался, что привратники, знавшие об его приходе, преградят ему дорогу. Другой выход теперь казался ему одинаково опасным. Джельсомина по глазам отгадала его смущение и пожалела, что вызвала у него такое беспокойство.

— Это не так все-таки опасно, как тебе кажется, Карло,—сказала она.—Тебе разрешили навещать отца в определенные часы, и это разрешение может служить доказательством, что Сенат не безжалостен. И если ради тебя я забыла приказ, то Сенат, конечно, не сочтет эту мою ошибку за преступление.

Джакопо с сожалением смотрел на нее: он видел, что настоящий характер хитрой венецианской политики ей неизвестен.

— Надо нам расстаться, а то, пожалуй, не пришлось бы тебе заплатить за мою неосторожность. Я сейчас недалеко от коридора, открытого для всех. Будь, что будет! Пройду через него на набережную.

Джельсомина взяла его за руку, не желая оставлять его одного в этом страшном здании.

— Нет, Карло, там ты встретишь солдата, и твоя вина тотчас же откроется. Тогда тебе запретят, пожалуй, навещать отца.

Джакопо знаком велел ей указать ему дорогу и пошел за нею.

Все еще взволнованная, хотя немного успокоившаяся, Джельсомина прошла несколько коридоров, заботливо затворяя за собой двери. Наконец, они пришли на знаменитый Мост Вздохов. Девушка шла впереди к своей квартире, придумывая, каким образом спрятать там самозванного Карло, если бы выход из тюрьмы днем оказался опасным.

— Через минуту мы будем в безопасности,—сказала она тихо, вкладывая ключ в замок двери, ведущей в тюрьму. Ключ повернулся, но дверь не отворилась. Джельсомина побледнела и вскрикнула:—Дверь заперта внутри.

— Все равно. Я пройду через двор и миную алебардщика, сняв маску.

Джельсомина удержала его и побежала на другой конец галереи. Несмотря на то, что она отперла дверь ключом, ее теперь нельзя было отворить, как и первую. Джельсомина, вся дрожа, прислонилась к стене.

— Нам некуда деться!—вскрикнула она испуганная, хотя и не понимала причины своего страха.

— Я понимаю, что это значит,—сказал Джакопо.—Мы пленники на этом роковом мосту.

С этими словами браво спокойно снял маску.

Вдруг щелкнули замки, заскрипели петли, и обе двери отворились почти в одно и то же время. Вооруженный офицер инквизиции появился на мосту, держа в руках наручники. Джельсомина вскрикнула, но Джакопо не двинулся, когда ему наложили цепи на руки.

— Арестуйте и меня!—закричала в исступлении Джельсомина.—Во всем виновата я!.. Заключите меня в тюрьму, только оставьте на свободе бедного Карло!

— Карло?—повторил офицер с жестокой усмешкой.

— Ведь он ходил навещать своего отца, и Совет разрешил ему это. Только Карло ошибся часом.

— Знаешь ли ты, моя милая, за кого ты заступаешься?

— Да, знаю. Это—лучший из сыновей Венеции. Если бы вы только видели, как он страдает за отца, вы бы сжаались над ним!

— Послушай,—прервал ее офицер, подняв руку, чтобы заставить ее быть внимательной.

На мосту святого Марка зазвучала труба, и снова послышались слова, обещавшие от имени Сената триста дехинов за арест браво.

— Да, это офицер республики назначает цену за голову изверга!—воскликнула Джельсомина.

— Так чего же ты еще споришь?

— Я не понимаю вас,—сказала Джельсомина, еле переводя дух.

— Глупая, да ведь этот человек—Джакопо Фронтони!

Джельсомина не хотела верить, но взгляд Джакопо убедил ее в ужасной истине, и она упала без чувств. В ту же минуту браво увел.

## ГЛАВА XXVII

На улицах Венеции стоял тот таинственный ропот, то жужжанье недоверчивого любопытства, которые характеризуют собой нравы этого города. Толпа прохожих сновала по площади, около гранитных колонн, как бы надеясь снова видеть браво на своем обычном посту. Среди общего гула в толпе раздавались голоса, хвалившие справедливость республики, и те, кто в продолжение многих лет не проронили ни одного слова об общественных делах, теперь рассуждали, как самые смелые из обывателей города.

День прошел спокойно. В церквях продолжали служить заупокойные обедни по Антонио.

В обычный час площадь святого Марка наполнилась гуляющими; патриции, как всегда, покинули Бролио, и веселье было в самом разгаре, когда на башне прозвонили второй час ночи. Гондолы с дамами появились на каналах. Во дворцах открыли ставни, чтобы свежий ветер проник в покой, и музыка раздавалась в порте, под мостами и под балконами красавиц.

Было десять часов вечера. Немногочисленная семья собралась в кружок в одном из дворцов, ничем по виду не отличавшийся от других. Отец, едва достигший зрелого возраста, с гордостью держал на руках веселенького трехлетнего ребенка и с любовью следил за его играми. Венецианка с золотистыми косами и румяными щеками лежала на кушетке и любовалась дорогими ей существами. Девочка—вылитый портрет матери—играла с другим ребенком, возраст которого еще трудно было определить.

На Пьяцце прозвонили третий час ночи. Обеспокоенный этим звоном, отец опустил ребенка на пол и посмотрел на часы.

— Хочешь прокатиться в гондоле?—спросил он жену.

— С тобой, Паоло?

— Нет, дорогая, я не могу: меня долго задержат сегодня дела.

— Вы меня всегда в этом уверяете, когда вам захочется быть подальше от меня.

— Не говори так, пожалуйста. Я сегодня должен увидаться с поверенным и хорошо знаю, что ты меня не станешь задерживать, когда дело касается наших детей.

Донна Джульетта позвонила, чтобы ей подали одеться. Младших детей повели спать, а мать с старшей дочерью спустились к гондоле.

Муж, проводивши их до гондолы, оставался на ступенях подъезда, пока лодка не отъехала на значительное расстояние от дворца.

— Что, кабинет совсем приготовлен для приезда гостей?—спросил синьор Соранцо, тот самый сенатор, который сопровождал дожа при выходе его к рыбакам.

— Точно так, синьор.

— Не забыл ли ты чего? Достаточно ли в нем света?

— Не беспокойтесь, синьор, все исполнено.

— Нас будет шесть человек, хватит ли всем кресел? Если кто придет, я сам выйду навстречу.

— Синьор, два кавалера в масках уже ждут вас.

Синьор Соранцо вздрогнул и снова посмотрел на часы; потом быстро пошел в отдаленную часть дворца и, отворив маленькую дверь, очутился перед ожидавшими.

— Виноват синьоры!—сказал хозяин дома.—Но эта обязанность для меня совершенно нова. Впредь постараюсь быть аккуратнее.

Двое ожидавших были гораздо старше хозяина дома; они вежливо выслушали извинение, и в продолжение нескольких минут разговор не выходил из пределов обычных условностей.

— Можем ли мы рассчитывать здесь на полную тайну нашего совещания?—спросил, наконец, один из незнакомцев.

— Безусловно. Сюда никто не входит без разрешения, кроме моей жены, но сейчас и ее нет дома: она поехала прокатиться по каналам.

— Говорят, синьор, что супружество ваше в высшей степени счастливо. Надеюсь, вы понимаете необходимость не впускать теперь сюда никого, даже вашу супругу?

— Конечно, синьор. Дела республики важнее всего.

— Я трижды счастлив, синьор, что, когда я вынимал жребий для избрания членов Тайного Совета, судьба дала мне таких превосходных товарищей. Поверьте, мне приходилось выполнять этот страшный долг в гораздо менее приятном обществе.

На льстивую речь старого и хитрого сенатора его сослуживцы ответили соответствующими комплиментами.

— Оказывается, что уважаемый синьор Градениго был одним из наших предшественников,—продолжал старый сенатор, рассматривая бумаги<sup>1</sup>.

— Да, это благородный человек, глубоко преданный государству.

— А последнее дело, надо признаться, счастливо окончилось,—заметил самый старый из трех, давно привыкший не вспоминать того, о чем политика предлагала забыть, когда цель была достигнута.—Галеры нуждаются в работниках, и святой Марк должен высоко держать голову.

Синьор Соранцо, получивший заранее несколько предварительных разъяснений о своих новых обязанностях, сидел теперь в задумчивости.

— Есть сегодня у Совета важные дела?—спросил он.

— Синьор, у нас есть основание предполагать, что государство понесло большую потерю. Вы, вероятно, оба знаете наследницу Пьеполо, хотя бы со слов других, потому что ее уединенный образ жизни, быть может, не допустил вашего личного знакомства с ней?

— Донна Джульетта говорит, что она очень красива,—сказал молодой супруг.

— Богаче ее нет наследницы в Венеции,—прибавил третий.—И вот ее красота и богатство, боюсь, для нас навсегда потеряны. Дону Камилло Монфорте не удалось перехитрить нас. Но в то время, как государство разрушало его планы, молодая девушка случайно попала в руки негодяев, и с тех пор о ней ничего не слышно.

Паоло Соранцо надеялся в душе, что донна Виолетта была с неаполитанцем.

<sup>1</sup> Хотя присутствующие члены Совета бывали известны только крайне немногим должностным лицам, имена бывших не скрывались, конечно, от их заместителей.

— Я слышал от одного секретаря, что герцог также исчез неизвестно куда,—заметил третий,—и будто в гавани не видно фелуки, которою мы часто пользовались для секретных поручений.

Оба старика переглянулись, словно начиная подозревать истину; они увидели, что не на что надеяться в этом деле, и не стали терять времени в напрасных сожалениях.

— У нас два спешных дела,—заметил старший из сенаторов.—Прежде всего надо позаботиться о том, чтобы предотвратить новое волнение и похоронить тело старого рыбака, а потом нам следует подумать о том, как разделаться с этим опасным Джакопо.

— Сперва надо его задержать,—сказал синьор Соранцо.

— Это уж сделано! И вы не поверите, господа, его арестовали во дворце самого дожа.

— Его надо, значит, отправить на эшафот, не теряя времени.

Оба старика опять переглянулись. Было видно, что они состояли уже раньше членами Тайного Совета и были единомышленниками. В их взгляде можно было прочесть желание пощадить чувство нового сослуживца, прежде чем приступить открыто к исполнению страшных обязанностей Совета.

— Ради славы святого Марка, синьоры, пусть справедливость торжествует открыто в этом деле!—продолжал молодой член Совета.—На какое снисхождение может рассчитывать наемный убийца? Одно из приятнейших прав нашей власти, это—то, что оно позволяет нам публично карать зло.

Старые сенаторы поклонились в знак своего согласия с мнением товарища.

— Вы правы, синьор Соранцо, воздавая дань уважения нашим законам,—ответил более пожилой.—Я вам должен сказать, что в Львиных Пастях найдено несколько обвинений против неаполитанского синьора дона Камилло Монфорте. Оставляю вашей мудрости, уважаемые товарищи, их обсуждение.

— Злоба сама выдает себя своей чрезмерностью!—вскричал молодой член совета.—Господа, эти доносы являются результатом какой-то особенной злобы и недостойны внимания правительства. Мне часто приходилось встречаться с молодым герцогом святой Агаты, и я могу сказать, что это в высшей степени достойный молодой человек.

— Тем не менее он рассчитывал на руку дочери старого Пьеполо.

— Так разве можно обвинять молодежь за то, что она поклоняется красоте? Он оказал большую услугу этой девушке, и ничего нет удивительного, что он влюбился в красавицу.

— Не забывайте, что Венеция имеет свои привязанности, как самый молодой из всех нас, синьор.

— Но Венеция не может жениться на наследнице.

— Это так, конечно. Святой Марк должен довольствоваться ролью благоразумного отца. Вы молоды еще, синьор Соранцо, и синьора Джульетта обладает редкой красотой. С годами вы будете судить иначе о государственном и семейном богатстве. Но мы теряем напрасно время, обсуждая этот вопрос, потому что нашим агентам еще не удалось разыскать беглянку. Прежде всего нам надо заняться делом браво. Его высочество дож

показывал вам последнее письмо папы по вопросу о перехваченных депешах?

— Да, наши предшественники ответили надлежащим образом, и это дело надо считать поконченным.

— В таком случае мы свободно займемся делом Джакомо Фронтони. Нам необходимо будет собраться в зале суда, чтобы свести обвиняемого на очную ставку с обвинителями. Это очень важное дело, и Венеция много потеряла бы во мнении народа, если бы ее высшее судилище отнеслось с недостаточным вниманием к постановке приговора.

— Пусть отрубят голову этому убийце!—вскричал снова синьор Соранцо.

— Вероятно, этого ему и не избежать, если его не приговорят к колесованию. Более серьезный разбор дела укажет нам, чего мы должны держаться ради здоровой политики.

— При чем тут одна политика, когда дело касается охраны граждан? До сих пор я никогда не желал смерти другим; но в этом деле я с нетерпением жду наиболее сурового приговора.

— Ваше законное нетерпение будет удовлетворено, синьор Соранцо, потому что, предвидя безотлагательность этого дела, мой коллега, достойный сенатор, разделяющий вместе с нами эти затруднительные обязанности, уже сделал необходимые распоряжения по этому поводу. Момент настал, и мы во-время соберемся в зале суда для исполнения нашего долга.

Старые члены Совета продолжали разговор, не касаясь в нем своих прямых намерений; они делали только намеки на них. Потом расстались так же таинственно, как и собрались, чтобы никто не мог проникнуть в тайну их звания.

Самый пожилой из трех отправился на празднество во дворце знатного патриция. И старик затем исчез оттуда, не возбудив никакого подозрения. Второй отправился поклониться праху только что умершего товарища. Долго беседовал там с духовным лицом. Когда он уехал, семья покойного рассыпалась в похвалах ему.

Синьор Соранцо пробыл в кругу своей семьи до последнего момента. Легкий ветерок придал лицу донны Джульетты еще большую свежесть; ее тихий голос, веселый лепет их последнего ребенка и голосок белокурой дочки еще раздавались в ушах синьора Соранцо, когда его гондольер причалил под мостом Риальто. Там он надел маску и плащ и вместе с толпой отправился к площади святого Марка. Синьор Соранцо видел, как загорелые и босые лагунские рыбаки входили в собор. Он пошел за ними.

— Он был тебе товарищ?—спросил синьор Соранцо одного рыбака с черными блестящими глазами.

— Да, синьор, и можно сказать, что он был самый честный и справедливый из всех наших рыбаков.

— Отчего он умер?

— Никто этого не знает. Некоторые говорят, будто он прогневал святого Марка; другие утверждают, что его убил наемный убийца Джакомо Фронтони.

— Зачем было этому браво избирать себе такую безвестную жертву?

— Вот потрудитесь сами на это ответить, синьор. Почему на самом деле? Говорят, будто Джакомо очень мстительный человек и не мог перенести того, что какой-то старый рыбак перегнал его в гонках, и вот ради этого-то, думают, он убил его.

— Разве Джакомо известен, как искусный гондольер?

— Еще бы! Было время, когда он умер бы с досады, если бы кто-нибудь перегнал его в гонках. Но это дело было, когда он еще не брался за стилет. И теперь трудно поверить, чтобы он придавал большое значение наградам, раздаваемым на гонках.

— А может быть, этот рыбак нечаянно упал в воду?

— Конечно, и это могло тоже быть. Это с нами ежедневно случается, но мы думаем, что тогда бы он догадался поплыть к лодке, а не пошел бы сразу ко дну. Старый Антонио был известен, как искусный пловец.

— Но, падая, он мог так сильно удариться обо что-нибудь, что не был в состоянии бороться.

— Тогда оставались бы знаки от удара, синьор.

— А стилет Джакомо не оставил на нем следа?

— Должно быть, нет. Гондолу старика нашли в устье Большого канала, в полумиле от трупа и не по ветру от него. Мы говорили об этих обстоятельствах потому, что понимаем эти дела.

— Покойной ночи, братец!

— И вам того же желаю, синьор!—сказал рыбак.

Сенатор в маске продолжал свой путь. Он вышел из собора никем не замеченный и беспрепятственно вошел во дворец. Там он присоединился к своим товарищам по грозному судилищу.

## ГЛАВА XXVIII

Послышался звон цепей, прежде чем открыли дверь, через которую должен был войти подсудимый. Двери распахнулись, и браво предстал перед известными судьями, которые должны были решить его судьбу.

Так как Джакомо нередко приходилось присутствовать на заседаниях этого зловещего Совета, то он не проявил теперь ни испуга, ни удивления. Он был бледен, но спокоен.

В зале наступила глубокая тишина.

— Тебя зовут Джакомо Фронтони?—задал первый вопрос секретарь-протоколист, служивший посредником между судьями и обвиняемыми.

— Да.

— Ты—сын некоего Ричарда Фронтони, известного по краже им таможенных пошлин у республики и находящегося теперь в ссылке на одном из отдаленных островов или несущего какое-то другое наказание?

— Да, синьор, он несет другое наказание.

— Ты гондольер?

— Да, синьор.

— Твоя мать...

— Умерла!—сказал Джакомо, заметив, что секретарь остановился, чтоб справиться с документами в деле.

Снова наступило молчание, которое секретарь нарушил лишь после того, как кинул взгляд на судей.

— Она не была обвинена в преступлении твоего отца?

— Если бы даже и была обвинена, синьор, теперь она уже давно вне власти республики...

— Вскоре после того, как твой отец навлек на себя гнев Сената, ты оставил ремесло гондольера?

— Да, синьор.

— Тебя обвиняют, Джакомо Фронтони, в том, что ты переменял весло на стилет?

— Да, синьор.

— В продолжение уже нескольких лет слух о твоих кровавых подвигах распространялся по Венеции, и с некоторого времени тебя обвиняют в каждой насильственной смерти.

— Это истинная правда, господин секретарь. Хотел бы я, чтоб этого не было!

— Его высочество дож и члены Совета не остались глухи к жалобам; они с беспокойством прислушивались к ним, и если Сенат оставлял тебя на свободе, то это только оттого, что он не хотел преждевременным арестом пятнать горностаи правосудия.

Джакомо молча поклонился; однако, при этом заявлении на лице его появилась настолько выразительная улыбка, что секретарь тайного судилища низко склонился над бумагами, делая вид, что разбирается в делах.

— Против тебя есть страшное обвинение, Джакомо Фронтони,— продолжал секретарь...—И ради жизненных интересов сограждан Тайный Совет сам взялся за это дело. Знал ли ты лагунского рыбака, Антонио Теккио?

— Да, синьор. Я виделся с ним недавно и очень сожалею, что это было совсем перед его смертью.

— Тебе известно, конечно, что его нашли утонувшим в бухте?

Джакомо вздрогнул. Его волнение, видимо, сильно подействовало на младшего из членов Совета, и, пораженный откровенностью признания, он быстро повернулся к своим сослуживцам; те слегка кивнули ему головами.

— Его смерть вызвала сильное недовольство среди его товарищей и привлекла серьезное внимание Сената.

— Смерть самого бедного венецианца должна вызвать интерес и среди патрициев, синьор.

— Знаешь ли ты, Джакомо, что тебя называют его убийцей?

— Да, синьор, мне это известно.

— Говорят, будто ты был среди гондольеров в последней гонке, и, если бы не этот рыбак, ты взял бы приз.

— Это верно, синьор.

— Ты не отрицаешь этой улики?—спросил с удивлением секретарь.

— Нет, это верно: без него я был бы победителем.

— А ты хотел взять приз, Джакомо?

— Да, синьор, от всего сердца,—ответил обвиняемый.—От меня ведь отреклись мои товарищи гондольеры, а между тем, с детства до нынешнего дня умение владеть веслом было моей гордостью.

Новое движение выдало удивление молодого инквизитора.

— Сознаешься ты в преступлении?

Джакомо усмехнулся.

— Если присутствующие здесь господа сенаторы снимут маски, то мне будет легче ответить на этот вопрос.

— Твоя просьба дерзка и необычна. Никому не известны патриции, управляющие судьбами государства. Сознаешься ли ты в преступлении?

Появление стремительно вошедшего офицера помешало ответу. Он передал письменное донесение судье в красной мантии и скрылся. После короткой паузы стражникам был отдан приказ вывести подсудимого.

— Благородные сенаторы,—сказал Джакомо, приближаясь к столу,—позвольте мне навестить одного заключенного в камерах под свинцовой крышей; у меня есть серьезные причины увидеть его, и я, как мужей, как отцов, прошу вас разрешить мне это.

Два старых сенатора не слышали его, занятые новым донесением. Синьор Соранцо подошел ближе к свету, чтобы лучше разглядеть преступника. Тронутый его взволнованным голосом и приятно обманутый выражением лица Джакомо, он взял на себя ответственность разрешить ему его просьбу.

— Отведите его, куда он хочет,—сказал он алебарщикам,—только возвращайтесь скорее.

Джакомо с благодарностью взглянул на молодого сенатора, но, боясь, что остальные судьи будут против этого разрешения, поспешно вышел из залы. Джакомо прошел по темным потайным коридорам, скрытым от постороннего глаза, но отделенным лишь тонкой перегородкой от роскошных покоев дожа. Дойдя до тюремной камеры под крышей, Джакомо остановился и повернулся к своим стражам:

— Прошу вас, снимите с меня на минуту эти гремящие цепи.

Его провожатые переглянулись, никто из них не решался оказать ему эту милость.

— Должно быть, я в последний раз увижу сейчас одного больного,— продолжал Джакомо.—Умирающего отца... Он ничего не знает о моем положении... Так неужели вы хотите, чтобы он увидел меня в цепях?

Его слова, в которые он вложил всю силу чувства, на этот раз имели успех: один из провожатых снял цепи с браво и велел ему идти вперед. Джакомо осторожно вошел в коридор перед камерой, и, когда дверь была отперта, он один вступил в комнату, потому что солдаты не находили достаточно интересным для себя присутствовать при свидании наемного убийцы с отцом в нестерпимой жаре под раскаленной свинцовой крышей. Дверь за арестантом затворили, и камера вновь погрузилась в темноту.

Несмотря на свою обычную твердость, Джакомо сперва не знал, что делать, очутившись неожиданно в безмолвном жилище заброшенного арестанта. Но скоро он услышал предсмертное хрипение и догадался, в какой стороне находилась кровать; массивные стены со стороны коридора совершенно отнимали свет у этой страшной камеры.

— Отец!—позвал нежно Джакомо.

Он не получил ответа.

— Отец!—повторил он громче.

Хрип прервался, и заключенный заговорил:

— Ты пришел, сынок,—сказал он слабым голосом,—закрой мне глаза...

— Силы тебе изменяют, отец?



— Да, сынок, слабею... Теперь мне недолго осталось мучиться... А я все надеялся, что увижу опять дневной свет, твою мать и сестру...

— Мать и сестра умерли, отец!

Старик застонал. Джакопо опустился около постели.

— Это неожиданный удар,—сказал, наконец, старик.

— Отец, они уже давно умерли!

— Почему ты мне раньше не сказал этого, Джакопо?

— У тебя и без того много было горя.

— А ты-то как же? Ты ведь один останешься... Дай мне руку...

Бедный мой Джакопо!

Браво приблизился к ложу и взял дрожащую руку отца; она была холодная, влажная.

Громкий удар в дверь прервал прощание.

— Иди, Джакопо,—сказал один из солдат.—Совет тебя ждет!

Джакопо почувствовал, как задрожал отец, и ничего не ответил.

— Если бы они оставили тебя еще на одну минутку!—прошептал старик.—Я тебя долго не задержу.

Дверь отворилась; свет от лампы проник в тюремную камеру. Но страж схалился и закрыл ее. Джакопо очутился опять в темноте. Благодаря этому кратковременному свету, он успел уловить последний взгляд отца: хотя смерть была уже в этом взгляде, но он выражал в то же время нежную любовь.

— Это добрый человек; он жалеет нас,—прошептал старик.

— И они не нашли в себе сил оставить тебя одного в эти минуты!

— Да, я счастлив, что ты около меня, сынок. Ты ведь, кажется, сказал, что мать с сестрой умерли?

— Да, отец, обе умерли.

Старик тяжело вздохнул. Послышался хриплый вздох; Джакопо уткнулся лицом в одеяло. Наступила глубокая тишина.

— Отец!—сказал Джакопо и задрожал, не узнав собственного голоса.

Ответа не было. Коснувшись рукою отца, он почувствовал, что тело старика холодеет. Перед ним лежал недвижимый труп...

Когда дверь в камеру отворилась, Джакопо спокойной и твердой походкой вышел к солдатам. Он поднял руки, чтобы на него надели цепи, и пошел за провожатыми в помещение тайного судилища. Через несколько минут он стоял вновь перед Советом Трех.

— Джакопо Фронтони,—сказал секретарь,—тебя обвиняют еще в другом преступлении, совершенном недавно в нашем городе. Знаешь ли ты благородного калабрийца, домогающегося звания сенатора и уже давно живущего в Венеции?

— Знаю, синьор.

— Приходилось ли тебе быть с ним в каких-нибудь сношениях?

— Да, синьор.

Судьи напряженно слушали.

— Известно ли тебе, где теперь находится дон Камилло?

Джакопо медлил ответом.

— Можешь ли ты сказать, почему молодого герцога нет во дворце?—повторил секретарь.

— Ваша милость, он оставил Венецию навсегда.

— Почему ты знаешь? Неужели он взял себе в доверенные наемного убийцу?

Джакопо молчал.

— Я спрашиваю тебя: признавался ли тебе в этом герцог?

— Да, синьор, дон Камилло мне сказал, что он не вернется больше в Венецию.

— Но это невысказано! Ведь он лишится всех своих надежд и большого состояния.

— Он утешится, синьор, любовью богатой наследницы в своих фамильных владениях.

Среди судей произошло движение, и один из них, тот, что был в красной мантии, приказал страже удалиться. После ухода солдат допрос продолжался.

— Ты сделал важное сообщение, Джакопо, и если ты нам сообщишь и подробности, то это может сохранить тебе жизнь.

— Я не могу сообщить вам ничего нового, синьоры, потому что вам известен побег дон Камилло, и я надеюсь, что исчезновение дочери Пьеполо для вас тоже не новость.

— Ты не ошибаешься, Джакопо, нам все это известно, но ты можешь сообщить нам подробности, которых мы не знаем. Не забудь, что, обсуждая твою участь, Совет примет во внимание твою искренность.

На лице обвиняемого вновь появилась улыбка, заставившая его судей опустить глаза.

— Для смелого влюбленного все пути открыты, синьоры, тем более, что при средствах дон Камилло он мог бы найти тысячу пособников, если бы в этом явилась необходимость.

— Ты не говоришь прямо, Джакопо, и этим ты можешь навлечь на себя гнев Совета. Говори; кто были его помощники в бегстве?

— У него было много верных слуг и смелых гондольеров, ваше превосходительство.

— Все это нам хорошо известно... Но его исчезновение имеет в себе что-то странное. Уверен ли ты, что он бежал?

— Синьор, так разве герцог все еще в Венеции?

— Мы тебя об этом и спрашиваем, потому что тебя обвиняют в убийстве дон Камилло.

— А также и в убийстве донны Виолетты?

— О ней мы ничего не знаем. Что ты скажешь против этого обвинения?

— Синьоры, чего ради я буду выдавать мои тайны?

— Так ты хочешь нас обмануть!.. Не забудь, что у нас там... в камере под свинцовой крышей, есть один заключенный, взявшись за которого как следует, мы заставим тебя сказать правду.

Джакопо смело поднял голову; видно было, что его ничто теперь не страшило. Но взгляд его был грустен, и в голосе его слышалась тоска.

— Синьоры, тот узник, о котором вы говорите, свободен от вашей опеки.

— Ты забываешься, Джакопо, позволяя себе шутить с нами.

— Нисколько, синьоры, я говорю правду.

— Так твой отец?..

— Умер, синьоры!—произнес Джакопо.

Два пожилых члена Совета переглянулись с удивлением, а младший из них прислушивался с интересом человека, который приступает к изучению новых и тяжелых обязанностей. Оба старика, поговорив между собою, передали, что находили нужным, синьору Соранцо.

— Хочешь ли говорить по вести, Джакопо, и открыть нам все, что ты знаешь относительно бегства неаполитанца?—продолжал судья, когда их совещание было окончено.

Джакопо не проявил ни малейшего волнения, слыша скрытую угрозу судьи, и после минутного размышления ответил:

— Вам, конечно, известно, синьоры, желание правительства выдать замуж наследницу Пьеполо по своему усмотрению и ради собственных выгод. И для вас не тайна, что в нее был влюблен герцог, и она отвечала взаимностью на любовь неаполитанца. В ту ночь, когда умер Антонио, я один бродил в тоске среди могил Лидо. Жизнь для меня стала невыносимой; я был близок к самоубийству. Я встретил помощь донна Камилло. И тогда я узнал о его намерении относительно побега и согласился помочь ему. Я поклялся ему в верности и в готовности умереть за него, если это понадобится. Я обещал ему похитить его возлюбленную. И я сдержал свое слово. Счастливые влюбленные теперь в церковных владениях под покровительством кардинала-секретаря, который придется братом матери донна Камилло.

— Безумный! Ты не подумал о том, что тебе грозит за это!

— Нет, я об этом не думал в то время. Я искал только человека, перед которым я мог бы высказать свои страдания. И я был счастлив, как никогда в жизни, смотря на радостное свидание влюбленных, которых я, отверженный злодей, браво, это счастье доставил!

Судьи были поражены спокойствием Джакопо, и это удивление еще раз заставило их впасть в нерешимость. Наконец, самый старший из них вновь приступил к допросу.

— Джакопо, можешь ли ты нам сообщить подробности бегства? Не забудь, что этим ты можешь сохранить тебе жизнь.

— Для меня она теперь немного стоит, синьор... Но, чтобы доставить вам удовольствие, я ничего не скрою.

И затем Джакопо просто и откровенно рассказал о средствах, к которым прибегал дон Камилло, об его планах, об его разочаровании и, наконец, об успехе бегства. Он ничего не скрыл в этом рассказе, кроме временного приюта женщины под покровительством Джельсомины. Он рассказал о замысле Джакомо Градениго убить неаполитанца и об участии в этом покушении ювелира Осии. Внимательнее всех слушал его рассказ молодой сенатор. Несмотря на свое официальное положение, он чувствовал, как сильно билась кровь в его жилах, и при окончании рассказа, когда подсудимый описал встречу влюбленных, сердце Соранцо затрепетало от радости. Наоборот, его сослуживцы, состарившиеся на службе политике, с рассчитанной холодностью слушали рассказ браво. Теперь они убедились, что дон Камилло и донна Виолетта ускользнули из-под их власти. Не имея больше надобности в Джакопо, они позвали стражу и велели отвести браво в тюрьму.

— Надо будет послать поздравление кардиналу-секретарю по случаю брака его племянника с самой богатой наследницей нашего города,—

сказал судья Совета Трех, когда дверь за подсудимым затворилась.— Влияние неаполитанца может еще нам пригодиться.

— А если он расскажет о том, как Сенат противился его браку?—усомнился синьор Соранцо.

— Ну, мы всегда можем сложить нашу вину на прежний состав Совета. Вот, вы присутствовали на первом нашем собрании, синьор; позже опыт даст вам не раз случай убедиться, что как бы ни была совершенна наша теория, в практике могут всегда случиться ошибки... Да, не надо забывать о деле молодого Градениго; оно очень серьезно.

— Мне давно известно его распутство,—ответил самый старый из членов Совета.—Очень грустно, что у такого благородного патриция, как синьор Градениго, такой недостойный сын. Во всяком случае, ни государство, ни город не потерпят убийств.

— Пусть они будут как можно реже!—сказал молодой сенатор.

— Конечно, это очень желательно. По секретным розыскам, вся тяжесть вины падает на Джакопо, но нельзя не доверять и его донесениям, в чем мы имели случай не раз убедиться.

— Как! Разве Джакопо является сыщиком?

— Мы поговорим об этом после, на свободе, синьор Соранцо. А сейчас нам надо рассмотреть вопрос о покушении на жизнь одного из венецианцев, находящегося, несмотря на отъезд его из Венеции, под покровительством ее закона.

Члены Тайного Совета начали серьезное обсуждение дела двух преступников: Джакомо Градениго и ювелира.

В результате совещанием было решено наказать Джакомо Градениго ссылкой на десять лет в провинцию, а Осию—пожизненным изгнанием.

— Мы не должны скрывать ни этого приговора, ни причин, которыми он был вызван,—сказал судья Совета Десяти после прений.—Государство не может упускать случая оповестить о своем правосудии.

— На нынешний вечер мы покончили наши дела, синьоры,—сказал сенатор Соранцо.—Разойдемся теперь по домам?

— У нас еще дело Джакопо.

— Ну, его мы можем передать в обыкновенный суд.

— Как вы найдете нужным поступать, синьоры?..

Все согласились.

Соранцо уехал первым, но остальные члены Совета еще долго совещались между собой. Затем было отправлено приказание уголовному судье, и после этого, наконец, каждый из них вернулся в свой дворец.

## ГЛАВА XXIX

На следующее утро состоялись похороны Антонио. В соборе продолжали служить заупокойные обедни. Монах-кармелит был во главе священников. В ту минуту, когда собирались выносить тело Антонио, он вдруг почувствовал, что кто-то дернул его за рукав; последовав за незнакомцем, он очутился в стороне от толпы, среди темных церковных колонн.

— Вам приходилось давать отпущение умирающим?—сказал незнакомец скорее утвердительно, чем вопросительным тоном.

— Это моя обязанность.

— Сенат не забудет ваших услуг; они понадобятся после похорон этого рыбака.

Отец Ансельм побледнел, но склонил голову, желая этим показать, что он готов исполнить свой долг. В эту минуту подняли тело Антонио, и похоронная процессия направилась к Большой площади. Мальчики соборного хора шли впереди, за ними шли взрослые певчие.

Монах поспешил занять место за ними.

За телом шел загорелый юноша. Это был внук Антонио, освобожденный теперь от работ на галерах. В его наружности можно было различить черты честного, умного и гордого рыбака, останки которого несли в это время к арсеналу.

Он не проронил ни одной слезы до той поры, пока тело не исчезло от его взора. Тогда он вышел из толпы и дал волю слезам. Он плакал, как может плакать человек его возраста, почувствовавший себя совершенно одиноким.

В темной тюремной камере, куда заключили Джакопо после допроса на Совете Трех, он провел ночь. На рассвете браво снова предстал перед судьями, которым заранее были даны предписания. Он не старался оправдаться и наотрез отказался отвечать на вопросы.

— Вы сами знаете, что я делал и чего не совершил, — сказал он надменно. — А потому соблюдайте ваши интересы.

Когда его привели обратно в камеру, он попросил есть. От браво отбрали все вещи, которыми он мог бы причинить себе вред, внимательно осмотрели его цепи и оставили его одного. Вдруг Джакопо услышал, что кто-то подошел к его двери. Отодвинули засовы, и дверь отворилась. На пороге стоял священник. Войдя в комнату, он поставил зажженную лампу на стол, где были хлеб и кружка с водой.

Джакопо спокойно принял монаха.

— Добро пожаловать, — сказал он. — Я вижу, что сенаторы, изгоняя меня с лица земли, заботятся обо мне.

Отец Ансельм вздрогнул.

— Я тебя представлял совсем другим, Джакопо.

Он смолк, потому что услышал рыдания и понял, что они были не одни. Оглянувшись, он увидел Джельсомину, которая, воспользовавшись доверенными ей ключами, тихо вошла в камеру и теперь стояла сзади монаха. Джакопо, заметивши ее, застонал и отвернулся.

— Кто ты, дочь моя, и зачем ты здесь? — спросил ее монах.

— Это дочь тюремного смотрителя, — сказал Джакопо, чувствуя, что девушка была не в силах отвечать. — Я познакомился с ней, благодаря моим частым посещениям этой тюрьмы.

Отец Ансельм посмотрел на обоих. Сначала выражение его глаз было строгое, но мало-по-малу он смягчился.

— Вот следствие страстей! — сказал он таким тоном, в котором слышались одновременно и упрек, и сожаление. — Таковы всегда плоды преступления.

— Отец, — вскричал Джакопо, — я еще заслуживаю этот упрек, но девушка, которую вы сейчас видите, она ни в чем неповинна.

— Мне приятно это слышать.

Грудь заключенного высоко поднималась. Джельсомина рыдала, вся содрогаась.

— Зачем ты вошла сюда? И знала ли ты, чем занимался тот человек, которого ты любишь? — спросил монах, стараясь придать больше строгости своему голосу.

— Я ничего не знала, нет, нет, нет!

— И теперь, когда ты знаешь правду, ты, конечно, уже перестала быть жертвой своей страсти?

Джельсомина опустила голову, скорее под влиянием горя, чем от стыда, и ничего не ответила.

— Пусть лучше она будет обо мне самого дурного мнения, — сказал Джакопо глухим голосом. — Ей будет легче тогда возненавидеть мою память.

Джельсомина молчала.

— Видно, что ее бедное сердечко сильно страдает, — сказал участливо монах. — Надо как можно бережнее обращаться с этим нежным цветком... Послушайся меня и твоего рассудка, дочь моя, не поддавайся слабости.

— Не спрашивайте ее, батюшка. Пусть она уйдет! Пусть проклинает меня!

— Карло! — воскликнула Джельсомина.

Последовало продолжительное молчание. Заключенный, казалось, боролся сам с собой. Наконец, он прервал молчание.

— Отец, — сказал он торжественно, — я надеялся, что эта несчастная девушка победит свою слабость, узнав, что тот, кого она любила, окзался... браво; я желал этого, но я не знал тогда величия женского сердца... Скажи мне, Джельсомина: можешь ли теперь без ужаса смотреть на меня?

Джельсомина, дрожа, посмотрела на него и улыбнулась. Джакопо вздрогнул так, что монах услышал бряцание его цепей.

— Довольно, — сказал браво, делая страшное усилие, чтоб успокоиться. — Джельсомина! Ты услышишь мою исповедь. Ты долго была, не подзревая того, хранительницей моей тайны; и теперь я ничего больше не скрою от тебя.

— Но, Антонио! — вскрикнула Джельсомина. — Ах, Карло, Карло! За что ты убил этого бедного рыбака?

— Антонио! — повторил монах. — Разве тебя обвиняют, мой сын, в смерти Антонио?

— За это именно преступление меня приговорили к смерти.

Монах опустился на скамейку и словно замер, между тем как его взгляд, полный ужаса, переходил по очереди с бесстрастного лица Джакопо на дрожащую Джельсомину. Он начинал видеть правду из-за таинственной занавеси, которой ее скрывала политика Венеции.

— Здесь произошла страшная ошибка, — сказал он, задыхаясь. — Я побегу сейчас к судьям и выведу их из заблуждения.

Заключенный спокойно улыбнулся и протянул руку, чтобы удержать монаха.

— Это ни к чему не приведет, потому что Совет Трех желает осудить меня за смерть Антонио.

— Но ты ведь будешь безвинно казнен! Я был свидетелем его смерти и докажу, что его убили другие.

— Отец, — вскрикнула Джельсомина, — повторите ваши слова, скажите мне еще раз, что Карло не сделал этого ужасного преступления.

— Он меньше всех виновен в этом преступлении.

— Да, Джельсомина, — вскричал Джакопо, протягивая ей руки, — я не виновен в этом преступлении, как и во всех других, которые мне приписывают!

Крик радости вырвался из уст Джельсомины.

— Я вам говорил, что по ложному обвинению в контрабанде моему несчастному отцу пришлось тяжело страдать много лет в проклятой тюрьме, в то время, как мы его считали живущим в ссылке на островах. Наконец, нам удалось представить вниманию Совета несомненные доказательства невинности старика, вполне достаточные, чтобы убедить патрициев в несправедливости прежнего приговора; но эти люди не желали признавать своих ошибок. Совет так долго медлил оказать нам справедливость, что моя бедная мать умерла от горя. Сестра, которая тогда была в годах Джельсомины, не надолго пережила мать... И единственной причиной, на которой основывался Сенат в своей медлительности, было подозрение, что на самом деле в том преступлении, за которое поплатился мой отец, был виновен один молодой человек из патрициев.

— Так неужели Сенат отказался исправить свою ошибку? — спросил монах.

— Исправляя свою ошибку, отец, Сенат должен был открыто сознаться, что он мог ошибиться. Тогда дело коснулось бы чести многих старейшин государства... А мне думается, что их сенаторская нравственность отличается от общепризнанной, человеческой... После долголетних моих просьб с меня была взята торжественная клятва, что я не скажу об этом никому, и мне разрешили, наконец, навещать отца в тюрьме. Я не могу вам описать, какую радость я почувствовал, услышав его голос. Я, насколько мог, старался облегчить его положение в тюрьме... Джельсоmine было поручено сопровождать меня каждый раз. Тогда я еще не знал побудительных причин сенаторов, хотя уже начинал над ними задумываться. Когда, наконец, они убедились, что им удалось заманить меня в свои сети, тогда-то они и вовлекли меня в это роковое заблуждение, которое разрушило все мои надежды и привело туда, где я теперь нахожусь.

— Ты утверждал, что ты не виноват, Джакопо?!

— Да, отец, я не виновен в пролитии крови; но моя вина в том, что я поддался их хитростям. Я дал клятву служить тайно государству в продолжение известного срока. В вознаграждение за мою службу мне обещали отпустить отца на свободу. Им бы не удалось так скоро перехитрить меня, если бы я не страдал так сильно из-за мук моего отца, который в то время был мне единственным близким человеком на земле. Мне рассказывали о казнях, о пытках, показывали картины мучений, чтобы я имел представление о том, как могут, если этого захотят властители, страдать осужденные. Убийства в ту пору были часты, и требовалась особая бдительность полиции... Словом, я им разрешил распускать обо мне в городе слухи, которые должны были обратить на меня внимание народа. Мне нечего говорить больше: вы, конечно, ясно представляете себе то клеймо, которое заслуживает каждый, согласившийся на собственный позор.

— Но какая же цель этой презренной лжи?

— А как же? Ко мне ведь обращались, как к известному наемному убийце, и моими донесениями я был полезен Сенату. Но я спас жизнь нескольких граждан, и мне это служит утешением.

— Я понимаю тебя, Джакопо; мне рассказывали, что Венеция не стеснялась в известных случаях пользоваться услугами людей смелого характера... О, святой Марк! Какое злодейство покрывает твое имя.

— К сожалению, да! Я должен был исполнять и много других гнусных обязанностей ради интересов республики. Граждане изумлялись, что меня оставляли на свободе; некоторые из них объясняли это моей ловкостью. Когда народ возмущался против меня, Совет Трех умел всегда отвлекать его внимание, а когда народ успокаивался больше, чем это было в интересах Совета, он спешил возбудить его недовольство... Одним словом, в продолжение трех долгих лет я вел жизнь проклятого всеми отщепенца, живя только надеждой освободить отца и поддерживаемый его любовью.

— Джакопо! Ты заслуживаешь сочувствия и жалости...

— Джельсомина, — продолжал Джакопо, — ты слышала всю историю моей жизни. Убедилась ли ты, что я не злодей, за которого все меня считают?

Она протянула ему руки и, опустив голову на его грудь, заплакала.

— Да, я вижу, каким искушениям тебя подвергали, бедный мой Карло, — сказала она тихим голосом, — знаю я и то, как ты любил твоего отца.

— Но простишь ли ты мне, что я скрывал от тебя правду?

— Ты меня ничуть не обманывал. Я верила, что ты любил твоего отца так, что был готов отдать за него жизнь. И я вижу теперь тебя таким, каким считала.

Монах глубоко задумался. Он взял за руку Джельсомину и ласково простился с Джакопо.

— Мы тебя не покинем, — сказал он ему. — Не теряй присутствия духа. Мы будем бороться за тебя до последнего вздоха.

Джакопо выслушал это утешение, как человек, привыкший жить среди опасностей. Он с улыбкой недоверия проводил своих посетителей.

### ГЛАВА XXX

Тюремные сторожа ожидали отца Ансельма и Джельсомину, и, как только они вышли из камеры, дверь заперли на ночь. Дорогой их никто не остановил, и они беспрепятственно дошли до конца коридора, ведущего в квартиру тюремного смотрителя. Здесь монах остановился.

— Согласна ли ты приложить все усилия, чтобы спасти от смерти невинно осужденного? — спросил он вдруг свою спутницу.

— Я готова пожертвовать жизнью, чтобы спасти Джакопо.

Отец Ансельм подал ей знак следовать за ним.

Он повел Джельсомину в ту часть дворца, которая была отведена для правителя республики.

Отец Ансельм, благодаря своей одежде и решительному характеру, беспрепятственно дошел до частных покоев дожа, жившего под охраной в отдельной части дворца. Часовые не задерживали его. Таким образом,

монах и его спутница очутились, наконец, в прихожей дожа, куда многие безуспешно старались проникнуть, употребляя для этого всевозможные средства.

В эту минуту там находилось два или три низших придворных слугителя. Один из них быстро поднялся при виде незнакомцев. Видно было, что он был смущен их неожиданным появлением.

— Боюсь, что мы побеспокоим его высочество, — сказал отец Ансельм.

— Вам это известно больше, чем мне, но...

— Не будем терять времени в бесполезных разговорах. Проведи нас, пожалуйста, в кабинет его высочества.

— Без предварительного доклада туда запрещено вводить...

— Но ты видишь, что здесь не обыкновенная аудиенция. Пойди доложи дожу, что монах, которого он ждал, и девушка, в которой он принимает участие, ждут его приказаний.

— Разве его высочество сделал распоряжение?..

— Скажи ему, что время не терпит, что час, когда должен погибнуть невинно осужденный, приближается.

— Что тебе надо, Марко? — спросил дож, когда к нему вошел слуга.

— Синьор, — ответил слугитель, — монах-кармелит с молодой девушкой ждут ваших приказаний.

— Что ты такое говоришь? Монах? И девушка?

— Да, синьор, те самые, которых вы изволили ждать. Синьор, я повторяю слова монаха. Он мне сказал: пойдя, скажи его высочеству, что монах, которого он желал видеть, и девушка, в которой он принимает участие, ждут его приказаний.

Дождь покраснел больше от негодования, чем от неожиданности, и глаза заблестели.

— Так смеют обращаться ко мне... и еще в моем дворце!

— Виноват, синьор; но этот монах не похож на других духовных лиц, позорящих свой сан. У него и у девушки очень скромный вид. Может быть, вы забыли про них, синьор?

Румянец исчез со щек дожа, и его взгляд принял обычное выражение. Возраст и опытность научили его осторожности. Он был уверен в своей памяти и сразу догадался, что это необыкновенное явление скрывало в себе какую-то тайну. Это могло быть, конечно, дерзкое покушение со стороны его многочисленных и злобных врагов; но, с другой стороны, судя по смелости поступка, это могло быть и каким-нибудь очень спешным и, действительно, важным делом.

— Не говорил ли тебе монах еще чего-нибудь, Марко? — спросил дож после минуты глубокого раздумья.

— Синьор, он мне сказал, что у него важное, спешное дело, потому что оно касается одного невинно осужденного. Мне кажется, что он хочет вас просить о ком-нибудь, потому что говорят, будто арестовано много молодых людей за проделки на масляничной неделе.

— Хорошо! Скажи одному из твоих товарищей, чтобы он пришел сюда, и, когда я позволю, впусти ко мне монаха и девушку.

Слуга удалился и постарался войти в прихожую через другие двери, чтобы не встретиться сразу с ожидавшими его возвращению. Один из его товарищей тут же отправился к дожу, который ему немедленно

приказал пойти и пригласить одного из членов Совета Трех. Этот сенатор занимался в соседней комнате просмотром важных бумаг. Он оставил дела и тотчас вошел в кабинет дожа.

— Я ожидаю посещения странного свойства, синьор, — сказал дож, поднимаясь навстречу сенатору, — и мне хотелось бы, чтоб кто-нибудь еще присутствовал при этой встрече.

— Делает вам честь, ваше высочество, что вы желаете разделять ваши труды с Сенатом; но не будет ли это чрезмерно, если вы станете требовать присутствия советника при каждом посещении?

— Надеюсь, что не обеспокоил вас сейчас своей назойливостью, — сказал дож, давая условный знак Марку. — А вот и те, кого я ждал.

В эту минуту Ансельм и Джельсомина вошли в кабинет. С первого взгляда дож убедился, что он не знает вошедших. Он обменялся взглядом с членом Тайного Совета, и каждый прочел в глазах другого взаимное удивление. Очутившись перед дожем, монах откинул капюшон. Джельсомина смущенно остановилась сзади.

— Что значит ваше появление здесь? — спросил дож, указывая пальцем на девушку и в то же время не спуская глаз с монаха. — Теперь не время моих приемов, и, кроме того, они обуславливаются известными формальностями. И что это за странная компания!

Отцу Ансельму первый раз в жизни пришлось находиться перед дожем Венеции. Не решаясь начинать говорить о причине своего прихода, он старался сообразить возможность успеха, устремив пронизательный взгляд на того, кто его спрашивал.

— Великий государь, — ответил монах, наконец, — мы пришли требовать правосудия. А тот, кто приходит с такой просьбой, должен быть смел.

— Святой Марк может гордиться своим правосудием, которое всегда на страже счастья его подданных. Твой поступок, отец мой, не соответствует правилам благоразумия, но его можно извинить. Объяви твою просьбу.

— В государственной тюрьме находится один заключенный, которого суд приговорил к смертной казни. Этот приговор будет приведен в исполнение завтра утром, если ваша верховная власть не придет на помощь для его спасения.

— Суд не ошибается в своих приговорах, и осужденный должен нести свой жребий.

— Я духовник этого несчастного, и, исполняя мою обязанность, я убедился в невинности его.

— Ты говоришь, что этот человек осужден обыкновенными судьями?

— Он осужден приговором уголовного суда, ваше высочество.

Повидимому, дож смягчился. Так как дело разбиралось публично, он мог, по крайней мере, хоть надеяться, что, выказывая человеколюбие, не нарушит политики правительства. Бросив взгляд на неподвижного члена Совета, как бы желая найти на его лице признак одобрения, дож сделал шаг к монаху и сказал ему с возрастающим участием:

— А на основании чего ты осуждаешь приговор судей?

— Я вам уже говорил, ваше высочество, что я убедился в невинности осужденного, исполняя мои обязанности. Он мне открыл свою душу, как человек, стоящий одной ногой в могиле. Он невинен перед государством.

— Я стар и давно уже ношу эту тягостную шапку, — сказал дож, протягивая руку к шапке, символу своего сана, — но за все это время не помню ни одного преступника, который не считал бы себя жертвой тяжело сложившихся обстоятельств.

— Человеку моего звания тоже хорошо известно, что люди обыкновенно стараются таким коварным утешением успокоить свою совесть, — сказал в свою очередь Ансельм. — Но, дож Венеции, многие стараются обмануть, но немногим это удается.

— Это так! — сказал дож, — но ты забыл мне сказать имя осужденного.

— Это некто по имени Джакопо Фронтони... мнимый браво.

Перемена взгляда, мгновенная бледность лица и даже дрожь тела — все указало на вполне естественное изумление дожа Венеции.

— Ты называешь владельца кинжала, который больше всех других в Венеции обогрен человеческой кровью, этого браво, что давно опозорил наш город своими преступлениями! Лукавство этого чудовища взяло верх даже над твоей опытностью, отец.

— С этой мыслью и я входил в его камеру; но вышел я оттуда убежденный, что общественное мнение было к нему несправедливо. Если ваше высочество соблаговолите выслушать его историю, то вы убедитесь, что он заслуживает жалости, а не казни.

— Я его считал среди всех преступников моего владения единственным, в защиту которого нельзя найти никакого оправдания... Говори свободно; мое любопытство равняется моему изумлению.

Дождь до такой степени отдался охватившим его чувствам, что на минуту забыл о присутствии члена Совета, взгляды которого могли бы его убедить, что беседа принимает нежелательный оборот.

Отец Ансельм избегал сначала сурово отзываться о происках правительства; он только делал осторожные намеки на безнравственность политики Сената.

— Вы можете и не знать, государь, что один бедный, но трудолюбивый ремесленник, Рикардо Фронтони, был, давно уже, обвинен в контрабанде; это преступление святой Марк никогда не оставляет без суровой кары, потому что...

— Ты, говоришь о Рикардо Фронтони? — перебил его дож.

— Да, это его имя; этот несчастный доверился одному приятелю, который притворился влюбленным в его дочь. Когда этот негодяй увидел, что его проделки с контрабандой неминуемо должны вскоре раскрыться, он обставил дело таким образом, что вся вина пала на его доверчивого друга. Рикардо был приговорен к заключению до тех пор, пока не откроет таких своих деяний, которых на самом деле он никогда не совершал. Он изнывал в тюрьме, а в это время его товарищи с успехом обдeldывали свои дела.

— Помню, что я слышал о таком деле; но это было в правление моего предшественника, не правда ли?

— Да, и его мука в тюрьме длилась почти до этого дня правления вашего высочества.

— Как! Сенат, узнавши о своей ошибке, не поспешил ее исправить?

Монах внимательно посмотрел на дожа, как бы желая убедиться в искренности его удивления; он понял, что это дело не считали достаточно важным, чтобы довести до сведения дожа.

— Великий дож! — сказал он. — Правительство скрытно в делах, касающихся его репутации. По некоторым причинам, о которых я не позволю себе говорить, бедный Рикардо пробыв в заключении еще долго после того, как смерть и сознание его обвинителя доказали его невиновность.

Дождь задумался и обернулся к члену Тайного Совета, но лицо сенатора было безучастно и холодно, словно выточенное из мрамора.

— Но что же общего между делом Рикардо и смертным приговором этому наемному убийце Джакопо? — спросил дож, напрасно стараясь придать своему лицу то каменное выражение, которое было на лице члена Совета.

— Это пусть объяснит вашему высочеству дочь тюремного смотрителя... Подойди сюда, мое дитя; расскажи все, что тебе известно.

Джельсомина дрожала, потому что, несмотря на дорогую для нее цель, ради которой она пришла сюда, она не могла побороть своей застенчивости. Но, верная своему обещанию и любви к осужденному, она выступила вперед, не желая больше скрываться за рясой монаха.

— Так ты дочь тюремного смотрителя? — благосклонно спросил ее удивленный дож.

— Мы, по бедности нашей, ваше высочество, принуждены зарабатывать хлеб службой государству.

— Вы служите хорошему хозяину, дитя мое... Ну, скажи нам — что ты знаешь об этом браво?

— Те, кто называют его так, не знают его сердца, государь. В Венеции нет другого человека, более преданного своим друзьям, более верного своему слову...

— Но что же общего между этими двумя Фронтони?

— Это отец и сын, ваше высочество. Когда Джакопо возмужал настолько, что сознал всю тяжесть горя своей семьи, он стал неутомимо хлопотать перед сенаторами за своего отца, и, наконец, они разрешили ему тайные свидания с ним в тюрьме.

— По каким соображениям дали они это разрешение, девушка?

— Ему сказали, что пусть своей службой он искупит свободу отца...

Несмотря на тяжесть условий, Джакопо согласился на них ради того, чтобы его отец мог вздохнуть на свободе.

— Ты говоришь загадками.

— Мне достоверно известно, что в продолжение трех лет Джакопо разрешалось приходить в тюрьму, и мой отец не согласился бы впустить его туда без разрешения властей. Мне было поручено сопровождать Джакопо.

— Ты знала, что он был наемным убийцей?

— Нет! Мне никогда больше не придется пережить более тяжелых минут, как те, когда я узнала, что добрый, нежный Карло оказывается отверженным всеми Джакопо... Но это страдание мое прошло.

— Ты хотела стать женой этого осужденного?

— Да, ваше высочество; мы хотели повенчаться.

— И теперь, когда тебе известно ремесло этого Джакопо Фронтони, ты все-таки не отказываешься от своего намерения?

— Не отказываюсь, потому что я знаю, кто он на самом деле. Он пожертвовал своим именем, чтобы спасти томящегося в тюрьме отца...

— Это дело требует вашего объяснения, отец. Девушка слишком взволнована и не может ясно передать его сущность.

— Великий государь, она хочет сказать, что республика разрешила сыну навещать заключенного отца и дала ему надежду на освобождение при условии, если он, служа в тайной полиции, согласится прослыть за наемного убийцу!

— И вся эта невероятная история опирается только на слова осужденного к смертной казни преступника?

— Да, того, кто уже много раз видел смерть перед собою... Во всяком случае, синьор, это дело заслуживает внимательного расследования.

— В этом отношении ты прав... А когда назначена казнь?

— Завтра на рассвете, государь.

— А что с отцом?

— Он умер, в тюрьме, дож Венеции...

В течение нескольких минут дож молчал.

— Слышал ли ты о смерти рыбака Антонио?—спросил дож.

— Да, и я утверждаю, что Джакопо не виновен в этом преступлении. Я исповедывал этого самого старика перед тем, как он был... убит.

Дождь отвернулся; он начинал понимать истину.

— Ваше высочество!—произнес дрожащий голос.

— Что тебе надо, девушка?

— Я надеюсь, что ваше высочество не допустит Венецию до такого позорного преступления.

— Ты слишком смело говоришь, моя милая.

— Опасность, грозящая моему Карло, научила меня быть смелой. Может быть, вы согласитесь пойти взглянуть на бедного Карло или прикажете его привести сюда? Его простой рассказ докажет вам всю несправедливость возводимых на него обвинений.

— Это бесполезно... совершенно бесполезно. Твоя уверенность в его невинности красноречивее его слов.

Луч надежды блеснул в глазах Джельсомины. Дождь, казалось, совершенно терялся; он смотрел то на девушку, то на члена Совета Трех, лицо которого попрежнему оставалось безучастным.

Он дал знак Джельсомине и монаху удалиться. Джельсомина охотно повиновалась, так как торопилась в камеру Джакопо. Но монах задержался на минуту, не доверяя успеху своей просьбы. Он увидел, что старый дож подошел к безмолвному члену Тайного Совета и протянул ему руки, как бы ища его сочувствия.

### ГЛАВА XXXI

С наступлением следующего дня жители Венеции принялись за свои дела. Полицейские агенты деятельно готовили настроение публики; и, когда солнце поднялось высоко над морем, площади начали наполняться. Говорили, что, для восстановления спокойствия в городе и для дальнейшей охраны жителей, на площади будет произведена публичная казнь преступника. Любопытные горожане в мягких шляпах и плащах, маскированная молодежь и множество иностранцев, посещавших угасавшую республику.—все спешили поглядеть на приговоренного в последние минуты.

Гвардейцы-далматинцы были выстроены так, чтобы окружить обе гранитные колонны Пьяцетты. Дисциплинированные солдаты стояли лицом к африканским столбам—символу смерти. Несколько воинов более высокого разряда с серьезными лицами прохаживались перед войсками, а бесчисленная толпа заполняла остальное пространство площади сзади войск. Больше сотни рыбаков находились сзади первого ряда солдат. Между возвышенными пьедесталами святого Феодора и крылатого льва были видны плаха, топор, древесные опилки и корзина,—обычные принадлежности казни того времени. Палач стоял в стороне.

Наконец, общее волнение в толпе заставило всех повернуться к двери дворца. Поднялся глухой гул голосов, толпа раздалась, и показался отряд полицейских, приближавшийся быстрыми шагами. Далматинцы разомкнули ряды и, пропустив отряд, снова сомкнулись. Дойдя до плахи, полицейские разделились на два ряда и расположились в некотором отдалении; Джакопо с духовником остались вдвоем перед орудиями смерти. Таким образом, все присутствовавшие на площади могли их видеть.

Отец Ансельм был в обыкновенной одежде монаха-кармелита, голова его не была покрыта капюшоном. Его лицо, выражавшее беспокойство, оживлялось по временам слабыми проблесками надежды; глаза его переходили от окна к окну дворца дождей.

Джакопо стоял спокойно перед плахой. Голова его была непокрыта, щеки бледны, грудь и спина обнажены ниже плеч; на нем был обыкновенный костюм гондольера. Он окинул глазами площадь, переводя взгляд с одного лица на другое. Джакопо ни в ком не видел участия. Грудь его высоко поднялась, и стоявшие близ него подумали, что ему, пожалуй, долгие не хватит присутствия духа. Но они обманулись в своих ожиданиях. Джакопо вздрогнул, однако, вскоре лицо его приняло обычное спокойное выражение.

— Ты не нашел в толпе ни одного дружеского взгляда?—спросил монах, заметив невольное движение Джакопо.

— Да, здесь ни у кого нет жалости к убийце.

— У тебя есть еще надежда, Джакопо. Они не могут совершить эту несправедливость!.. Ведь я был свидетелем смерти Антонио... И дожу это известно.

В это время к ним приблизился начальник полиции и палач.

— Час настал.

Монах инстинктивно повернулся к дворцу. В окнах он увидел несколько лиц, и в нем вспыхнула надежда, что сейчас дадут знак остановить казнь.

— Подождите!—вскрикнул он.

То же самое восклицание было повторено звонким женским голосом, и Джельсомина, несмотря на все препятствия, прорвалась сквозь строй далматинцев и присоединилась к маленькой группе, находившейся между колоннами. Изумление и любопытство овладело толпой, и по площади разнесся гул голосов:

— Это безумная!—кричали в одной стороне.

Джельсомина схватила цепи, которыми были скованы руки Джакопо, и делала невероятные усилия, чтобы снять их.

— Я надеялся, что тебе не придется видеть это зрелище, бедняжка моя, Джессина,—сказал осужденный.

— Не волнуйся, Джакомо,—проговорила она, едва переводя дыхание.—Все это так, нарочно... Это только хитрость, чтобы обмануть... Они не могут, они не смеют... Волос не спадет с головы моего Карло!..

— Дорогая моя Джельсомина...

— Не удерживай меня!.. Я хочу все рассказать гражданам... Гнев их пройдет, когда они узнают правду, и они полюбят тебя, Карло, как я люблю.

— Мне было бы легче, если бы ты не приходила сюда.

— Не бойся за меня! Правда, я не привыкла к такой толпе, но ты увидишь, что у меня хватит смелости сказать правду. Мне только надо... передохнуть.

— Джессина моя! У тебя есть отец и мать; заботясь о них, ты будешь еще счастлива!

Она вырвалась из рук Джакомо, которому эта разлука показалась гораздо тяжелее приближавшейся потери жизни. Он положил голову на плаху, опустившись перед ней на колени.

— Из дворца дают знак!—воскликнул кармелит, простирая туда руки как бы для получения милости.

Зазвучали рога. Джельсомина радостно вскрикнула и быстро повернулась к Джакомо, которого она считала спасенным. Но перед ее глазами сверкнул топор... В толпе произошло движение.

— Уведите эту девушку,—сказал полицейский чиновник, указывая на Джельсомину.

Это приказание было исполнено. Монах дышал с трудом. Он смотрел то на толпу, окружавшую его, то на дворец дожа, то на солнце, заливавшее лучами землю.

— Отец,—сказал ему кто-то на ухо,—вы скрылись совсем в этой толпе! Идите за мной; я вас выведу.

Отец Ансельм чувствовал себя совсем разбитым и без колебания воспользовался предложением. Окольными улицами проводник довел его до площади, где они сели в гондолу, чтобы выехать в открытое море. Вскоре впавший в глубокую задумчивость и все еще дрожавший монах плыл уже на корабле к церковным владениям и вскоре был во дворце герцога святой Агаты.

В свой обычный час солнце скрылось за Тирольскими Альпами, и луна поднялась над Лидо. Узкие улицы Венеции снова выбросили сотни праздных людей на площади. Мягкий лунный свет упал на здание дворца, на колоссальную башню Кампаниле...

Портики были ярко освещены. Весельчаки шутили; бездельничали, убивали время, как могли и умели; замаскированные люди были заняты своими, им лишь известными делами; певицы и фигляры играли свои обычные роли.

САТАНСТВО



## ГЛАВА I

Я решил сделать попытку сохранить для потомков тот быт и нравы, какие были при мне и при родителях моих в Нью-Йорке. Все эти явления частной жизни весьма просты и несложны, но ведь я и не берусь писать историю. Я глубоко убежден, что всякий правдивый и искренний рассказ будет немало способствовать воссозданию общего облика эпохи.

Я родился 3 мая 1737 года на перешейке, прозванного „Сатанстоэ“, то-есть „Чортов Палец“, в графстве Уэст-Честер, в колонии Нью-Йорк, части громадной территории, в то время еще подвластной Великобритании.

Перешеек, как его называли в Вест-Честере и Лонг-Эйланде, правильнее было бы назвать полуостровом, но я предпочитаю сохранить за ним местное название.

„Сатанстоэ“ занимает пространство в четыреста шестьдесят три акра прекрасной, плодородной земли, на которой, однако, встречается много камней; он имеет две мили<sup>1</sup> береговой полосы, дающей соответственное количество морских трав, которые служат превосходным удобрением для почвы, и, кроме того, сотню акров соляных озер. Это поместье принесла в приданое моему деду, капитану Гуго Литтльпэджу, моя бабушка ровно тридцать лет спустя после окончательной уступки этой колонии англичанам ее первоначальными владельцами, голландцами. Имение должно было перейти к моему отцу, майору Ивенсу Литтльпэджу, а от него ко мне.

В этом поместье жили мой дед и бабка, затем мои родители, а теперь живу и я.

В сущности, поместье „Сатанстоэ“ — не что иное, как большая ферма, но находящаяся в прекрасном состоянии; все постройки, не исключая даже сараев и амбаров, — каменные; стены ограды могли бы с честью служить стенами крепости и форта; самый дом не уступал по красоте красивейшим домам колонии. Все комнаты были светлые и просторные.

„Сатанстоэ“ считалось крупным имением. Я, конечно, не говорю ни о Моррисах, ни о Филиппсах, огромные поместья которых лежали у Гудзонова залива, в двенадцати милях от нас, ни о де-Лансей, поселившихся еще ближе к нам. Но то были наиболее богатые люди в колонии.

Самые ранние мои воспоминания связаны с „Сатанстоэ“. В раннем детстве я часто слышал разговоры о Джордже Клинтоне, генерале Монктоне, о сэре Чарльсе Гарди и Джемсе де-Лансей и прекрасно помню войну между французами Канады и нами в 1744 году. Мне было тогда

<sup>1</sup> Милья английская — около полутора километров. (Прим. ред.)

семь лет; дед мой был еще жив и горячо интересовался военными вопросами того времени. Хотя Нью-Йорк не участвовал в знаменитой экспедиции, окончившейся взятием Луисбурга, тогдашнего американского Гибралтара,<sup>1</sup> но капитан Литтльпэдж всем сердцем участвовал в ней.

Надо сказать, что между колониями Новой Англии<sup>2</sup> и южными колониями не было особенной симпатии; во всяком случае, мы, нью-йоркцы, смотрели на своих соседей, колонистов в Новой Англии, как на людей другого пошиба; они платили нам тем же. Новая Англия получила свое название благодаря тому, что английские владения на западе соприкасались с голландскими, которые отделяли их от других колоний, также англо-саксонских. Как я заметил, англо-саксонцы предрасположены осмеивать и презирать другие расы, и даже жители родной нам Англии, приезжая к нам, проявляли эту черту в отношении нью-йоркцев и жителей Новой Англии.

Но мой дед не разделял этих чувств.

Я помню поездку капитана Гуго Литтльпэджа в Бостон в 1745 году для присутствия при приготовлениях к экспедиции. Хотя наша колония не принимала участия в этом предприятии, но офицеры, собравшиеся на берегу Новой Англии, с охотой принимали советы деда и искали его общества. Здесь было немало старых военных, некогда служивших на континенте и участвовавших в свое время в других кампаниях, и со многими из них мой дед был знаком. С ними он провел много приятных часов, прежде чем они сели на суда и отправились в экспедицию; не будь меня, я думаю, и дед отправился бы с ними.

То, что я тогда видел и слышал, оказало впоследствии большое влияние на мою дальнейшую жизнь.

Я пристрастился к военным предприятиям, и меня стало тянуть к приключениям. В Бостоне дед встретился со своим старым сослуживцем, приехавшим сюда, подобно ему, присутствовать при снаряжении экспедиции, и с самого момента встречи старые приятели сделались неразлучны. Майор Хайт был рядом из Джорсея; он любил выпить и привез с собой изрядный запас превосходной мадеры.

— Эти янки были бы умнее, если бы меньше молились, старина,— сказал однажды майор, покуривая свою трубку.—Я, право, не вижу надобности тратить так много времени на битье лбом, когда уже кампания начата!

— Они ничего другого и не делают,— отвечал дед.—Вспомни, как в 1717 году, когда мы с тобой вместе служили, в войсках Новой Англии при каждом батальоне было по священнику, и эти господа являлись у них своего рода полковниками. Говорят, что генерал решил, чтобы все войска постились один день в неделю в продолжение всей кампании!

— Да, приятель, бить лбом да грабить—вот все, что они умеют,— продолжал майор, выколачивая золу из своей трубки.—Помнишь старика Ватсона, который служил в 1712 году по набору в Массачусете?

Дед утвердительно кивнул головой.

<sup>1</sup> Гибралтар—крепость на берегу пролива из Средиземного моря в Атлантический океан, принадлежащая Англии.

<sup>2</sup> Новая Англия была населена пуританами.

— Ну, так его сын участвует в нынешней экспедиции, и старый Том, или, лучше, полковник Ватсон, как он любит, чтобы его величали, приехал сюда с женой и двумя дочерьми, и я застал их всех занятыми снаряжением юного Тома на войну.

Закурив новую трубку, старый майор продолжал:

— Прежде всего я увидел с полдюжины пучков красного лука, затем целый жбан патоки, но больше всего привлек мое внимание громадный парусиновый мешок, совершенно пустой. „На кой чорт молодому Тому этот мешок?“—думал я, но вскоре в разговоре старик чистосердечно признался мне, что, судя по рассказам, Луисбург—город богатый, и как знать, что судьба пошлет его сыну Тому. Но так как мешок был пока пуст, то сестрицы догадались временно положить в мешок добычи библию и молитвенник.

В этот вечер приятели пили за успех экспедиции и ругали на чем свет стоит будущих ее участников. Нью-йоркцы не отличались особенной религиозностью, зато у наших соседей ханжество ценилось выше всего, и один полковник, Хескот, рассказал деду прием, примененный им для возбуждения „религиозного рвения“ во вверенном ему отряде. Он издал приказ, чтобы командиры всех отдельных частей по воскресеньям с рассветом собирали своих людей на плацу и заставляли их непрерывно маршировать до заката, делая исключение только для тех, кто выкажет желание итти к утренней и вечерней церковной службе и прослушать в течение дня две длинных проповеди. Этот прием дал превосходные результаты.

## ГЛАВА II

О первых четырнадцати годах моей жизни я почти ничего не могу рассказать; они похожи на жизнь всех мальчиков в нашей колонии. Небольшая сравнительно группа лиц голландского происхождения довольствовалась местным образованием для своих детей и не отправляла их ни в Англию, ни в другие заморские страны, считая Лейденский университет ничем не хуже Оксфордского или Кембриджского.

Большинство же лиц, преимущественно английского происхождения, отправляло своих детей в Англию в перворазрядные учебные заведения и университеты.

Я сначала обучался у мистера Вордена, пастора нашего прихода и ректора<sup>1</sup> местной семинарии. Проповеди его всегда были кратки, но энергичны; двадцать минут было высшим пределом его проповеди, и только однажды его проповедь затянулась на двадцать две минуты.

Когда я мог уже сносно переводить две первых книги Энеиды, мог управиться с начальной математикой и знал еще кое-что из других наук, зашла речь о помещении меня в какой-нибудь колледж. Посылать меня в Англию не хотели, и у нас оставался выбор между Изль<sup>2</sup>—в Нью-Хавене, в Коннектикуте, и Нассау-Холль в Неварке, в Нью-Джерсее. Но мистер Ворден презрительно пожал плечами и заявил, что последняя средняя школа в Англии стоит во сто раз выше, и что любой ученик

<sup>1</sup> Ректор—глава учебного заведения.

<sup>2</sup> Изльская академия, где обучался сам Ф. Купер.

грамматических классов Итона или Вестминстер-колледжа мог бы быть здесь профессором. Отец, родившийся в колонии и воспитанный здесь, был несколько обижен таким мнением; дед же мой, родившийся в Англии, хотя и выросший в колониях, не знал, как к этому отнестись. Я присутствовал при обсуждении этого вопроса ровно за неделю до Рождества. Мне только-что минуло тогда четырнадцать лет.

В гостиной собрались капитан Гуго Роджер, мой дед, майор Ивенс, мой отец, матушка моя, мистер Ворден и старик Ван-Валькенбург, друг семьи, голландец, которого друзья, ради краткости, звали всегда полковник Фоллок; он был другом и сослуживцем моего отца и дальним родственником моей матери. В это время года он постоянно приезжал в „Сатанстоэ“, а на этот раз привез с собой и своего сына Дирка.

— Так что же ты думаешь делать, Ивенс?—спросил полковник.— Дать ли мальчику высшее образование, подобно его деду, или же только среднее, подобно его отцу?

— Признаться по правде,—сказал отец,—этот вопрос у нас еще не решен, потому что мы прежде всего не можем притти к соглашению, куда отправить мальчика.

Полковник удивленно посмотрел на отца и воскликнул:

— Да разве их так много, этих колледжей, что выбор представляется затруднительным?

— Для нас представляется выбор между двумя,—ответил отец,—так как Кэмбридж слишком далеко.

— Кэмбридж? Где это Кэмбридж?—спросил полковник, вынув трубку изо рта.

— Это в Новой Англии, близ Бостона!

— Отдать туда Корнелиуса?!—воскликнул полковник.—Там, сударыня, слишком много попов, они совершенно испортят мальчика. Вы отправите туда честного мальчугана, а он вернется оттуда негодным малым.

— Как же так, полковник?—возразил мистер Ворден.—Неужели вы хотите сказать, что духовные лица могут создать только негодяев?

Полковник ничего не ответил, а стал пускать громадные клубы дыма.

— Ну, а что вы скажете о Изэле, полковник?—спросила моя мать.

— Там тоже все болтуны, краснобаи, целый день говорят и ничего путного не делают! На что порядочным и честным людям такое богомольство? Когда человек—действительно хороший, то это ханжество может только повредить ему.

— Я могу возразить против Изэля то, что у них там говорят убийственным английским языком!—заметил дед.

— Ах, и не говорите мне об их английском языке; он положительно невыносим!—подтвердил полковник, который сам не мог сказать двух слов по-английски, не исковеркав их до неузнаваемости.

— Ну, в таком случае придется отправить нашего мальчика в Ньюарк, в Нью-Джерсей!—сказал отец.

— С этим могла бы и я согласиться.—заметила мать,—если бы не приходилось переезжать море.

— Как так переезжать море?—сказал мистер Ворден.—Ведь мы говорим, сударыня, о Ньюарке, который находится не в Англии, а у нас в колониях!

— Я знаю, глубокочтимый мистер Ворден,—но ведь туда нельзя поехать иначе, как переправившись через страшный пролив между Нью-Йорком и Пуулес-Гуком, и каждый раз, когда мой бедный мальчик будет возвращаться домой, ему придется ехать этим ужасным путем! Нет, это невозможно: у меня не будет ни одной минуты покоя!

— Но он может пользоваться Доббским бродом, мистрисс Литтлпэджд!—спокойно заметил полковник.

— Это ничем не лучше: брод есть брод, и Гудзон всегда останется Гудзоном от Альбани до Нью-Йорка; вода—везде вода!—возразила моя мать.

— В таком случае,—сказал полковник, многозначительно взглянув на отца,—есть возможность обогнуть Гудзон! Правда, это маленький крюк, и придется ехать мысом—всего только два месяца пути, но все же это лучше, чем оставить мальчика без образования! Я даже могу указать ему дорогу.

Матушка заметила, что над ней подтрунивают, и больше не сказала ни слова. Но остальные продолжали обсуждать вопрос, и в конце-концов было решено отправить меня в Ньюарк.

Действительно, я отправился в колледж и как-раз тем самым страшным бродом. Хотя поместье наше было очень близко от города, все же только теперь, отправляясь с отцом в Ньюарк, я впервые посетил остров Мангаттан, где жила моя родная тетка, пригласившая нас остановиться проездом у нее в Квинстрите. В былое время люди не ездили, как теперь, с места на место, не проводили половину времени в дороге и путешествиях, и даже мой отец и дед редко бывали в Нью-Йорке. Мать бывала здесь еще реже, хотя мистрисс Легг являлась ее родной сестрой.

— Я весьма рада, что Корни приехал сюда именно теперь, потому что завтра предстоит большой праздник для негров и для детей!—сказала мистрисс Легг.

Я был немного задет тем, что меня могли причислить к детям, однако, не подал вида и даже заинтересовался праздником. Мой отец осведомился об этом у тетки за меня.

— Вчера получилось известие, что патрон<sup>1</sup> Альбани находится на пути в Нью-Йорк, в экипаже, запряженном четверкой, с двумя форейторами, и что он должен прибыть завтра поутру. Многим детям родители разрешили итти встречать его.

— Пусть Корни идет его встречать, но, с вашего позволения, Помпей и Цезарь пойдут с ним!—заявил дядюшка.

На другой день, ранним утром, я и мои провожатые вышли из дома; по пути они указали мне на все красоты и достопримечательности Нью-Йорка. Около одиннадцати часов утра целые толпы негров и детей устремились за город, увлекая нас с собой. Наконец, мы остановились под сенью маленькой вишневой рощицы, против грандиозной загородной дачи де-Лансей. Тут были не одни негры и дети, но и немало другого народа. Наконец, после довольно долгого ожидания, на дороге показались сперва верховые, а затем и запряженный четверкой экипаж патрона. Лошади были вороные, крупные, чистокровные фламандские, как мне сказал

<sup>1</sup> Патроны—класс крупных землевладельцев. (Прим. ред.)

Цезарь, а патрон—видный, дородный мужчина в красном мундире, большом парике и треугольной шляпе, со шпагой, увенчанной серебряным эфесом. Он отвечал поклонами на жиденькие приветствия и казался весьма довольным.

В толпе зрителей было несколько маленьких девочек. Среди них мне особенно приглянулась одна девочка, лет десяти-двенадцати, с большими голубыми глазами и очаровательной улыбкой; оказалось, что Помпей был знаком с негритянкой, сопровождавшей эту девочку, и, здороваясь с маленькой барышней, назвал ее мисс Аннеке.<sup>1</sup> Желая завязать знакомство, я предложил девочке яблоки и вишни, нарванные по пути. Девочка приняла угощение. Вдруг пробежавший мимо мальчишка грубо толкнул Аннеке и выхватил у нее из рук яблоко.

Я не выдержал и треснул кулаком мальчишку по спине. Тот был приблизительно моих лет и моего роста; обернувшись, он презрительно смерил меня взглядом с головы до ног и сделал мне знак, приглашая последовать за ним в соседний огород. Несмотря на просьбы Аннеке, я поспешил последовать за ним, а Помпей и Цезарь—за мной. Мистер Ворден был превосходный боксер и обучил меня и Дирка своему искусству, которое мне теперь очень пригодилось: мальчишка вынужден был просить пощады и пошел домой с окровавленным носом и подбитым глазом.

Когда после окончания поединка я вернулся на прежнее место, Аннеке уже там не было, и я не решился спросить у Цезаря или у Помпея ее фамилию.

### ГЛАВА III

В колледже я провел обычные четыре года. Там я прочел по-гречески весь „Новый завет“, познакомился с Цицероном, Горацием,<sup>2</sup> географией и математикой и разными другими науками, даже с астрономией, так как у нас имелся телескоп, в который можно было видеть четырех спутников Юпитера. Наш преподаватель был такой знаток в этой науке, что мог бы даже показать нам кольцо Сатурна, если бы только мог найти самую планету, но отыскать ее он не мог, и в этом заключалось единственное препятствие.

Я часто бывал дома и мало думал о броде у Поулес-Гук, но мать моя была весьма рада, когда я, окончив колледж, в последний раз, как она думала, переправился через него.

— Наконец, Корни, теперь тебе никогда больше не придется переезжать этот брод!

За все время моего пребывания в колледже я поддерживал деятельную переписку с Дирком Фоллоком, который пробыл еще два года в школе мистера Вордена.

Когда я вернулся, наконец, домой, школа мистера Вордена перешла в другие руки; старик отказался от педагогической деятельности, которая ему вообще была не совсем по душе. Надо было или найти заместителя мистери Вордену, или закрыть школу. Заместителя этого стали искать

<sup>1</sup> Аннеке—сокращенное от имени Анна Корнелия.

<sup>2</sup> Цицерон, Гораций—древне-римские писатели, по произведениям которых изучается мертвый теперь латинский язык.

сперва в Англии, но безуспешно. Тогда пришлось удовольствоваться получившим ученую степень в Йезе мистером Язоном Ньюкемом, что вызвало ропот и неудовольствие. Полковник Фоллок и майор Николас Утоут, также голландец по происхождению, взяли своих сыновей из школы, и с этого момента Дирк окончательно покончил с науками.

Когда я в первый раз встретился с Язоном Ньюкемом, мы наблюдали друг друга, как две птицы, севшие на одну ветку. Прежде всего, мы были: один из Нью-Хавен, другой из Ньюарк, человек же, получивший, как я, ученую степень в Ньюарке, являлся такой же редкостью, как древняя монета или книга, напечатанная в четырнадцатом веке. Язон был пуританин, но его строгие принципы не выдерживали, насколько мог заметить я, столкновения с действительностью; даже в тот вечер, когда матушка моя часа за два до ужина принесла и положила на стол несколько колод карт, табак и трубки, я уловил на его строгом лице выражение скрытого удовольствия; он, повидимому, не знал, как ему быть, и как-будто спрашивал взглядом, предназначены ли для него эти невинные развлечения.

Я от души рассмеялся бы, если бы мог это сделать, глядя, как Язон переживал волнения могущего быть уличенным преступника в то время, как матушка готовила стол для карт.

Ньюкем не читал ничего, кроме библии, книжки проповедей и нескольких брошюр, специально издаваемых для прославления Новой Англии и унижения всего остального мира. Так как для его семьи весь мир заключался в пределах родной деревни, то его жизненный опыт был крайне ограничен. Английская речь его была смесью простонародных выражений с претенциозными оборотами книжного языка.

Мы с ним сблизились очень быстро и сразу же стали отстаивать каждый свой взгляд.

— Удивляюсь, Корни,—говорил он мне,—как это ваши родители не стараются испробовать вас в какой-либо сфере деятельности! Ведь вам, так сказать, девятнадцать лет; пора бы об этом подумать!

— Я не совсем вас понимаю, мистер Ньюкем!

— Мне кажется, однако, что я выражаюсь довольно ясно. Ваше образование стоило вашим родителям много денег, и они, естественно, должны извлечь из него пользу. Ну, скажите мне, сколько они истратили на вас со времени вашего поступления к мистери Вордену и до окончания вами Ньюарка?

— Право, не имею об этом ни малейшего представления, я никогда об этом не думал!

— Как? Неужели родители ваши никогда не говорили вам этого, не подводили итога своим расходам? Быть не может! Во всяком случае, вы можете узнать об этом из приходо-расходной книги вашего отца, а все эти суммы должны быть занесены в ваш дебет.

— На мой дебет? Да неужели вы думаете, что мой отец намерен заставить меня вернуть ему то, что он потратил на мое образование?

— Конечно, вы единственный сын, и в конце-концов все вам же достанется.

— Ну, а если бы у меня был еще брат или сестра, неужели вы думаете, что мои родители стали бы записывать каждый шиллинг, который они израсходовали на нас, чтобы впоследствии истребовать его с нас?

— Ну, конечно! Почему, например, не открыть бы вам школу?  
 — Открыть школу?  
 — Да, вы, конечно, могли бы взять школу мистера Вордэна, но теперь она в моих руках, и я ее не отдам; но в школах чувствуется большой недостаток почти везде.  
 — Вы забываете, что со временем я буду владельцем „Сатанстоэ“.  
 — Почему вы называете ферму вашего батюшки столь непристойным словом, как „Чортов палец“? Это слово неблагозвучное, неприличное, и вы произносите его даже в присутствии вашей матери!  
 — Но и мать моя сотни раз на дню произносит его при своем сыне! Что вы в этом видите дурного?  
 — Что дурного? Оно вульгарно и, наконец, противно истине: чорт не имеет пальцев на ногах—он козлоногий.

Со времени моего возвращения из колледжа Дирк и я были положительно неразлучны; то я гостил у него, то он у нас. Оба мы достигли теперь полного физического развития, и к девятнадцати годам мой приятель стал настоящим Геркулесом. Он был белокур, голубоглаз и мог даже быть назван красивым, только в фигуре и движениях его сказывалась присущая ему тяжеловатость и неповоротливость; ум его также отличался той же тяжеловатостью и медлительностью, хотя Дирк был не глуп. Он был честен, добр и храбр, как зазорный петух.

Язон был совершенно иной. Он был угловат, жилист и костист; походка же и манера его были так неуверенны, так неопределенны, что его можно было назвать разгильдяем, хотя он в действительности был весьма силен, так как до двадцати лет работал на ферме, как простой работник. Он был деятелен, хотя этому трудно было поверить, видя его неповоротливость. Любую мысль он схватывал и улавливал гораздо быстрее Дирка, но схватывал ее не всегда верно, тогда как молодой голландец, хорошенько пораздумав, всегда улавливал самую суть.

Рассердить Дирка было не легко, но когда это удавалось, то он становился несносен.

#### ГЛАВА IV

Мне едва исполнилось двадцать лет, когда я с Дирком впервые отправился знакомиться с городом Нью-Йорком.

Хотя расстояние от нас до этого города было всего двадцать пять миль, все же поездка в Нью-Йорк считалась чем-то необычайным. Мы с Дирком отправились вскоре после Пасхи. В это время многие семьи из окрестностей столицы съезжались туда.

Я должен был остановиться у своей тетки мистрисс Легг; у Дирка также были в Нью-Йорке родственники, которые рады были его приютить.

Отец припас для нас двух превосходнейших коней, а заботливая матушка встала чуть свет, чтобы разбудить нас пораньше и раньше отправить в дорогу: она хотела быть уверенной, что мы приедем на место до наступления ночи.

Грабителей на больших дорогах тогда не было, но имелись иные опасности в дороге, а именно мосты. Они далеко не все были в исправности, и дорога делала такие крюки, что не трудно было заблудиться

и проплутать и тогда несколько дней в долине Гарлема, беспредельной пустыне, расстилавшейся на громадное пространство и лежащей всего в семи-восьми милях от столицы.

С первым лучом солнца мы выехали из „Сатанстоэ“. Дирк был удивительно весел, и мы без умолку болтали по дороге, как две пансионерки; никогда еще я не видал моего приятеля таким разговорчивым. Не отъехали мы и одной мили от дома, как он сказал:

— А знаешь, Корни, чем наши папеньки были заняты последнее время?

— Нет, не имею ни малейшего представления!

— Неужели? Так ты не знал, что они подали губернатору коллективное прошение об утверждении их в правах собственности над землями, приобретенными ими от моговков во время последней кампании, которую оба проделали вместе с офицерами милиции!

— Это для меня совершенно ново!—воскликнул я.—И я, право, не понимаю, почему они делали из этого секрет!

— Почему? Может быть, для того, чтобы об этом не пронюхали янки! Ведь ты знаешь, что мой отец не выносит, чтобы какой-нибудь янки совал нос в его дела!

— Но как же ты узнал об этом, Дирк?

— Мне сказал сам отец; мы курим вместе и беседуем, и тогда он мне говорит все!

— Я начал бы тоже курить, если бы знал, что это верное средство узнать все, что мне хотелось бы знать!—заявил я.

— Да, трубка многому содействует!—заметил Дирк.

— Но где же находятся эти земли?—спросил я.

— Вблизи земли моговков, подле Гемпширских концессий!

— И много там земли?

— Сорок тысяч акров, из которых часть составляют те жирные луговые пастбища, к которым так льнут все голландцы!

— И твой отец вместе с моим совместно купили эти земли, говоришь ты?

— Да!

— Сколько же они за них заплатили?

Дирк не спешил ответить на этот вопрос; он, не торопясь, достал из кармана свой портфель с замочком, долго возился над замком, прежде чем ему удалось его открыть, так как этому мешала тряска в седле, и в конце-концов разыскал бумагу, которую и передал мне.

— Вот список тех предметов, которые были вручены индейцам в уплату за землю! Я снял копию; кроме того, пришлось еще уплатить несколько сот фунтов стерлингов правительству и его агенту на смазку!

Я начал читать вслух этот список:

„Пятьдесят одеял с желтыми каймами; десять чугунных котлов вместимостью по четыре галлона каждый; сорок фунтов пороха; семь ружей английских; двенадцать фунтов бус; пять галлонов ямайского рома высшего качества; двадцать музыкальных рожков; три дюжины томагавков английского производства лучшего качества“.

— И это все!—воскликнул я, дочитав список до конца.—Скажу по совести, что сорок тысяч акров превосходной земли недорого обходятся

в колонии Нью-Йорк! Ведь все это обошлось не дороже двухсот долларов, считая в том числе и ром, и томагавки первейшего качества!

— Ровно двести сорок два доллара!—сказал с уверенностью Дирк.— Я это видел по счетам!

— Недорого,—заметил я.—И, вероятно, ружья, ром и остальные предметы обмена были из числа специально изготавливаемых для этой цели!

— Нет, Корни, ты взводишь напраслину на наших родителей: они люди честные!

— Но скажи на милость,—что же они будут теперь делать с этой землей?

Дирк возился со своей трубкой, которую старался раскурить, и ответил не сразу.

— Прежде всего ее надо будет разыскать,—сказал он.—После того, как концессия утверждена и бумаги выправлены, необходимо отправить кого-нибудь разыскать эти земли. Я слышал об одном фермере, приобретшем в тех краях концессию в десять тысяч акров, который вот уже пять лет не может найти своего участка!

— Так, значит, наши старики намерены отправиться на розыски своей земли, как только позволит время года?

— Так думал сделать твой отец, потому что в его жилах течет галльская<sup>1</sup> кровь. Но мой отец решил подождать до будущего года и отправить нас двоих; к тому времени война, вероятно, так или иначе окончится, и нам будет легче разобраться во всем.

Война, о которой упомянул Дирк, разгорелась перед самой нашей поездкой в Нью-Йорк. Какой-то Вашингтон из Виргинии был захвачен в плен вместе со своим небольшим отрядом в маленьком форте близ французской территории на берегах Огайо, впадающей в Миссисипи. Помоему, совершенно не стоило вести войну из-за таких медвежьих углов; но меня об этом не спросили.

В Кингсбридже мы остановились пообедать, рассчитывая поужинать в Нью-Йорке. Пока нам подавали обед, я прошел с Дирком к Гудзону полюбоваться рекой, и Дирк, часто переправлявшийся через нее, стал указывать мне на ее красоты.

— Видишь, Корни, на берегу реки, у залива, дом с лужайками и большим огородом? Это „Сиреневый Куст“, принадлежащий двоюродному брату моей матери, Герману Мордаунту.

— Если этот Герман Мордаунт кузен твоей матери, Дирк, то ты, вероятно, не раз бывал в „Сиреновом Кусте“.

— Да, пока была жива жена Германа, я с моей матушкой ежегодно ездил туда летом; теперь она умерла, но я еще время от времени бываю в доме.

— Почему же ты теперь не заехал к твоим родственникам? Они могут обидеться, узнав, что ты здесь, в двух милях от их поместья, обедаешь в гостинице! Необходимо, по крайней мере, послать им хоть извинительную записку!

<sup>1</sup> Галльская—французская. Французы считаются, как уроженцы юга, вспыльчивыми и легкомысленными. (Прим. ред.)

— Ах, Корни, всегда ты так поспешен! Никто решительно не обидится, и извиняться нам нет никакой надобности. Герман Мордаунт со своей дочерью теперь не здесь; они постоянно проводят зиму в Нью-Йорке и возвращаются сюда только после Троицы!

— Чорт возьми! Дом в городе и дача за городом! Да после этого я, право, не знаю, можно ли было нагрязнуть к ним обедать, не предупредив и не получив приглашения!

— Ты, шутишь, Корни! В дороге какие церемонии! Герман Мордаунт принял бы нас с распростертыми объятиями, и я, конечно, предложил бы тебе заехать к ним, если бы не знал, что в настоящее время вся семья в Нью-Йорке. После Троицы Герман Мордаунт и Аннеке поспешат сюда наслаждаться ароматом цветущей сирени и роз.

— Так у мистера Мордаунта есть дочь мисс Аннеке? Сколько ей может быть лет теперь?

Взглянув на Дирка, я заметил, что при последнем моем вопросе он заметно покраснел, и лицо его положительно сияло, когда он мне ответил:

— Ей минуло семнадцать лет, и знаешь, Корни, Аннеке—одна из самых хорошеньких девушек колонии, притом так же мила и добра, как и хороша!

Я был крайне удивлен живостью, с какой говорил о своей кузине Дирк; мне никогда не приходило в голову, чтобы этот славный, добродушный парень мог влюбиться.

— Так, значит, эта прелестная особа твоя кузина?

— Да!

— В таком случае, надеюсь, ты представишь меня ей. Не правда ли?

— Я желал бы, чтобы ты ее увидел,—сказал Дирк,—прежде чем вернуться домой, и постараюсь это устроить.

Всю остальную часть пути мы не говорили больше ни о Германе Мордаунте, ни об его дочери, а Дирк почти все время молчал, как это вообще бывало с ним после обеда. К вечеру мы прибыли в Нью-Йорк.

Оставив лошадей в первой попавшейся гостинице, мы отправились в сопровождении негра, несшего наши чемоданы, пройти пешком по улицам столицы. В 1757 году Нью-Йорк был уже оживленным торговым центром, и, проходя по Квин-стритт, мы видели свыше двадцати судов, стоявших на реке. Наконец, побродив по улицам и насмотревшись вволю, мы с Дирком расстались; он пошел к своей тетке, а я к моей; но, прежде чем разойтись, мы условились встретиться завтра поутру у начала Бродвея, в долине, где должно было происходить празднество.

В это время моя тетка и дядя жили близ Ганновер-сквера; они приветливо встретили меня, накормили ужином и проводили в приготовленную для меня комнату.

Поутру я встал очень рано. Это был первый день негритянских сатурналий<sup>1</sup>, ежегодно справляемых в Нью-Йорке. Я предупредил тетку,

<sup>1</sup> Сатурналии—праздник, связанный с окончанием земледельческих работ. (Прим. ред.)

чтобы меня не ждали к завтраку, а также и к обеду, зная, что в этот день вся прислуга отпросится на праздник, и возиться с обедом будет некому.

Выйдя на улицу, я через несколько шагов очутился в Ганноверсквере, где увидел старого негра с двумя ярко вычищенными жестяными ведрами, продававшего белое вино. Я очень люблю выпить поутру стакан белого вина со сладким пирожным, и остался доволен и тем и другим; вдруг, к великому моему удивлению, я увидел в нескольких шагах от меня Язона Ньюкема, стоящего посреди сквера с недоумевающей физиономией и видом типичного коннектикутца. Вскоре я узнал из его слов, что его ученики получили отпуск по случаю негритянских праздников, и он воспользовался этим, чтобы впервые посетить столицу.

— А что вы делаете здесь?—спросил я его, узнав от него, что он остановился в пригороде в скромной гостинице, где, по его словам, цены были в „превосходной мере“ умеренные.—Празднества и гулянья происходят в начале Бродвея!

— Я об этом слышал,—сказал Язон,—но я хотел предварительно увидеть суда и все, что можно еще видеть здесь, а относительно этих празднеств, я, право, не знаю, подобает ли даже смотреть на них! Но, быть может, вы укажете мне, Корни, где здесь Ганноверсквер!

— Да вы сейчас находитесь в нем! Это он и есть, мистер Ньюкем!—засмеялся я.—Не правда ли, красивая площадь?

— Как, это Ганноверсквер?! Да ведь это же вовсе не сквер<sup>1</sup>, это скорее треугольник!

— Да, но в городах называется сквером всякая небольшая площадь, свободная от домов, хотя бы и не имеющая формы квадрата!

— И какой он маленький! Вот если бы я разбивал этот сквер, то сделал бы так, чтобы площадь имела от пятидесяти до шестидесяти акров, а посредине сгруппировал бы статуи. И к чему это здесь оставили этот маленький „букетик“ домов в сквере? Их следовало бы снести!—добавил Язон.

— Они уже не в сквере! Здесь сквер кончается, и хотя они немного выдаются и их думали было скрыть, но решили оставить, в виду большой стоимости этих построек! Их оценивают в двадцать тысяч долларов.

Такая большая ценность домов примирила Язона с их существованием: к деньгам он питал громадное уважение.

— Корни,—сказал он вполголоса, взяв меня под руку и отходя в сторону, словно желал сообщить мне секрет, хотя в сквере не было ни души,—скажите, пожалуйста, что вы пили за „горькое“ несколько минут тому назад?

— Горькое?—удивился я.—Я ничего горького не пил сегодня и не собираюсь пить!

— Я говорю про тот напиток, который наливал вам сейчас негр, проходивший по скверу! Мне показалось, что напиток этот должен быть очень вкусен, а у меня пересохло в горле, и мне думается, что глоток другой был бы мне в превосходной степени полезен!

<sup>1</sup> Square—квадрат. (Прим. ред.)

— Так что же, можно сейчас кликнуть негра, и он вам нальет стакан этого белого вина, за который вы заплатите ему только су<sup>1</sup>! Но почему вы это называете „горьким“?

— Утром пьют всегда „горькое“, а за обедом на третье подают „сладкое“,—пояснил он.—Но вы говорите, что это стоит всего только су? Так дешево?

— Да! Эй, торговец, налей вот этому господину стакан твоего вина!—крикнул я.

Язон при этом боязливо и испуганно оглянулся вокруг, словно опасаясь, что его кто-нибудь может увидеть пьющим это дешевое вино; затем, взяв стакан, осушил его одним духом.

— Тьфу!—воскликнул он, делая страшную гримасу.—Да это какая-то сыворотка! Я думал, что оно гораздо вкуснее!

— Вы, вероятно, рассчитывали на добрый грог с ромом, корицей и гвоздикой,—засмеялся я.—В таком случае вы ошиблись!

## ГЛАВА V

Некоторое время Язон упорно молчал, а когда, наконец, снова раскрыл рот, то лишь для того, чтобы разразиться бранью по адресу этого омерзительного голландского напитка. Почему простое белое вино он считал голландским, я понять не могу,—разве только потому, что оно внушало ему отвращение.

Вскоре явился Дирк, и мы втроем направились к набережной—полюбоваться на суда. Часов около девяти мы поднялись по Валл-стритту, и тогда уже две трети населения толпились на улицах, стремясь к месту гулянья негров.

Показав Язону по пути важнейшие здания, мы вышли за город и пошли за толпой к тому обширному плацу, где обыкновенно производилось обучение солдат, но который почему-то именовался парком. Здесь гулянье было уже в полном разгаре.

В первый момент Язон был положительно шокирован пляской, музыкой, шумом всей этой пестрой, движущейся и беснующейся толпы. Девять десятых всех негров города Нью-Йорка и всей округи миль на тридцать собрались здесь, на этой равнине, и веселились безудержно, как дети знойной Африки, пили, пели, били в барабан, кружились, плясали, кувыркались, хохотали во все горло, захлебывались своим весельем. Множество белых в качестве зрителей вмешивалось в толпу; особенно много было детей и молодежи. Мы уже около двух часов толкались в этой толпе; даже Язон настолько осмелел, что решался проявлять признаки удовольствия; как вдруг я потерял своих товарищей в толпе и, бродя наугад, наткнулся на группу молодых девушек и девочек различных возрастов. Некоторые из них были уже почти взрослые, а одна особенно привлекла мое внимание. Когда она приблизилась ко мне, мне показалось, что я знаком с нею. Эта была та самая прелестная маленькая девочка, из-за которой лет шесть-семь тому назад я, еще будучи мальчуганом, дрался с мальчишкой.

<sup>1</sup> Су—мелкая медная монета. (Прим. ред.)

Встретившись взглядом с девушкой, я отвесил ей низкий поклон, а она улыбнулась, как при встрече со старым знакомым, затем, покраснев, сделала мне глубокий реверанс и тотчас же поспешила заговорить со своими спутницами. Что же мне оставалось после этого делать? Я надеялся было, что сопровождавшая Аннеке старая негрятянка узнает меня, но—увы!—старуха Катринке, как ее называли, продолжала давать девушкам объяснения, ничуть не интересуясь мной.

— А вот, мисс Аннеке,—воскликнула, наконец, негрятянка,—и молодой человек, которого вам, вероятно, приятно будет видеть!

Я обернулся и увидел у себя за спиной Дирка.

Дирк с веселым лицом приблизился к группе и, отвесив общий поклон, дружески поздоровался с моей хорошенькой незнакомкой, назвав ее кузиной Аннеке. „Так это и была мисс Анна Мордаунт, единственная дочь мистера Мордаунта. Значит, у Дирка вкус лучше, чем я ожидал!“—подумал я. В этот момент он, обернувшись, увидел меня и, пригласив меня подойти, представил своей кузине.

— Кузина Аннеке, это Корни Литтльпэдж, о котором я вам так много и часто говорил. Будьте к нему благосклонны!

Мисс Мордаунт улыбнулась и сделала грациознейший реверанс, но при этом мне показалось, что она старалась удержаться от смеха. Неожиданный возглас негрятянки заставил меня поднять на нее глаза. Старуха дернула свою барышню за рукав и стала что-то оживленно шептать ей на ухо. Аннеке заметно покраснела и, взглянув на меня, подарила меня поистине очаровательной улыбкой.

— Да, теперь я припоминаю, что мистер Литтльпэдж мне несколько знаком,—сказала она, обращаясь к кузену.—Катринке сейчас напомнила мне, что он однажды рыцарски вступился за меня. Помните, мистер Литтльпэдж, того мальчишку, который обидел меня, и которого вы тут же вздули?

— Но будь их двадцать, а не один, всякий сделал бы то же на моем месте!

— Двадцать, и даже больше, маленьких или больших, безразлично, вы можете быть спокойны, кузина,—у вас не будет недостатка в защитниках!—заявил Дирк.

— В одном я уверена, кузен,—проговорила Аннеке, протянув ручку моему другу,—что мистер Литтльпэдж меня тогда не знал, и я не в праве была рассчитывать на его заступничество.

— Странно, Корни, что ты никогда не говорил мне об этом ни слова! Даже вчера, когда я ему показал „Сиреневый Куст“ и говорил о вас, кузина, он не заикнулся об этом случае.

— Дело в том, что я не знал, за кого вступился. Но мистер Ньюкем стоит у тебя за спиной, Фоллок, и, вероятно, желает быть также представленным твоей кузине!

Язон был в свою очередь награжден улыбкой и реверансом, на которые он ответил самым педагогическим поклоном.

Часа полтора мы бродили в пестрой толпе между лотками и будочками с товарами; большинство негров, собравшихся здесь, родились в колонии, но были среди них и уроженцы Африки.

Аннеке Мордаунт сопровождала молоденькая негрятянка, которую звали Мэри. Это была толстая и веселая девушка с ярко-красными губами и ослепительно белыми зубами, смешливая и живая.

— О, мисс Аннеке! Какое счастье! Кто бы мог подумать... Эти негры выписали со своей родины для сегодняшнего праздника живого льва!

— Живого льва? Ты это наверное знаешь?

— Как же, мисс! Все кругом об этом говорят... Это так интересно! Негрятянка была права; из нас никто никогда не видал льва. Плата за вход была один доллар для взрослых, половина—для негров и детей. У кассы, когда надо было брать билеты, Дирк почему-то замешкался, и возле Аннеке с одной стороны оказался я, с другой—Язон...

Вдруг Язон, который обыкновенно никогда не спешил раскрывать кошелек, к немалому моему удивлению, достал горсточку монет и, обращаясь к Аннеке, самодовольно сказал:

— Мисс, разрешите мне попотчевать вас этим удовольствием. Я буду в превосходной степени счастлив угостить вас!

Аннеке заметно покраснела и стала искать глазами Дирка; прежде чем я успел сказать слово, она поспешно ответила:

— Не беспокойтесь, мистер Ньюкем, мистер Литтльпэдж будет добр взять билеты для нас!

— Помилуйте, какое же тут беспокойство! Это, так сказать, одно удовольствие! Весьма, можно сказать, желательный случай!—пытался возразить Язон, но, пока он разглагольствовал, я успел протолкаться к кассе, взять билеты и вручить их Аннеке; в этот момент к нам присоединился Дирк, и мы вошли все вместе в балаган.

У льва было очень много посетителей, так что к клетке трудно было пробраться, но Аннеке удалось подойти очень близко. На ней был ярко-пунцовый шарф, и, вероятно, это явилось причиной того, что лев, просунув лапу между решеткой, захватил этот шарф и потянул его к себе. Я быстрым движением сдернул шарф с плеч девушки и, слегка приподняв Аннеке, отнес ее на несколько шагов в сторону. Все это произошло так быстро, что половина присутствующих ничего не заметила. Сторож подошел и отнял у льва шарф. Аннеке была в полной безопасности прежде даже, чем поняла, что ей грозило. Дирк оттерло толпой. Язон же подошел лишь тогда, когда сторож вручил ему злополучный шарф.

Когда мы вышли оттуда, мисс Мордаунт подошла ко мне и сказала:

— Благодарю вас, мистер Литтльпэдж, что вы взяли мне билеты! Это составляет три шиллинга, если не ошибаюсь?

Я сделал утвердительный знак головой, после чего маленькая ручка ее коснулась моей, и деньги из ее руки перешли в мою. В тот же момент я почувствовал сильный толчок локтем в бок, оглянувшись и увидел Язона.

— Вы с ума сошли, Корни!—воскликнул он, отводя меня в сторону, по своей неизменной привычке к глупому секретничанью на глазах у всех.—Разве можно допустить, чтобы женщины сами платили за себя? Разве вы не видели, что я желал ее попотчевать, желая ее угостить этим зрелищем?

— Угостить?—повторил я.—И вы думаете, что мисс Мордаунт допустила бы, чтобы ее „угощали“, как вы говорите?



— Да почему же нет? Какая же молодая особа пойдет с вами, если вы не угостите ее? Разве вы не заметили, как она была довольна, когда я ей предложил?

— Я заметил только, что она поспешила отклонить ваше предложение взять билеты,—сказал я.

— Вы, положительно, ребенок, Корни!—сказал педагог.—Не мешайте только мне, и я все это дело поправлю!

Он подошел к мисс Аннеке и, протягивая ей три шиллинговых монеты, сказал:

— Вы уж извините, Корни, мисс,—он еще очень молод и совершенно незнаком с обычаями света! Не обращайтесь на него внимания! Когда он станет немного постарше, то не будет в высочайшей степени опрометчив.— Говоря это, он продолжал протягивать деньги мисс Мордаунт. Та была настолько тактична, что обратила все это в шутку и ответила ему, насколько возможно, серьезно:

— Вы, право, очень любезны, мистер Ньюкем, но в Нью-Йорке принято, чтобы дамы в подобных случаях сами платили за себя! Когда мне случится быть в Коннектикуте, тогда я с удовольствием подчинюсь тамошним обычаям!

С этими словами Аннеке отошла от Язона.

— Вот видите,—сказал Язон,—она обиделась, что вы не угостили ее! Но все же три шиллинга остались в экономии!—добавил он со вздохом облегчения, опуская деньги в карман.

Когда Аннеке стала собираться домой, она подошла ко мне.

— Мистер Литтльпэдж,—проговорила девушка, прощаясь со мной,—я только теперь поняла, как много вам обязана. Все это случилось так быстро, и я была так смущена, что не нашла, и сейчас еще не нахожу, слов, чтобы благодарить вас! Но будьте уверены, что я никогда не забуду этого дня.

Прежде чем я успел собраться с мыслями, чтобы ответить ей, Аннеке уже затерялась в толпе.

## ГЛАВА VI

Мне уже не хотелось больше прогуливаться, и, воспользовавшись удобным моментом, я отстал от Язона в толпе и поспешил в город.

Усталый и взволнованный, я вернулся домой к тетке.

Едва я успел войти, как мистрисс Легг, моя тетушка, накинулась на меня с вопросом.

— Корни, милый, что ты такого сделал, чтобы заслужить подобную честь? Герман Мордаунт сидит в гостиной и ждет тебя! Он хочет непременно видеть тебя и все время говорит только о тебе!

— Я вам все это объясню после, тетя, а пока разрешите мне пойти к нему!—сказал я.

— Иди, иди!—сказала тетка, и я поспешил в гостиную.

Дяди не было дома, и Герман Мордаунт сидел один, рассматривая только что полученные журналы. Увидев меня, он поднялся со стула, сделав несколько шагов мне навстречу, и, крепко пожав мне руку, сказал:

— Весьма рад, молодой человек, что обязан вам, а не кому другому, спасением моей дочери!

— Право, вы несколько преувеличиваете мою заслугу, сэр.

Герман Мордаунт уверил меня в своей дружбе и расположении и пригласил к себе обедать в среду, то-есть в первый день, когда можно было рассчитывать, что прислуга приступит к своим обязанностям.

Пробыв около пяти минут, Герман Мордаунт уехал, дружески пожав мне руку и повторив еще раз приглашение.

— Тебе, Корни, следовало бы сегодня же вечером поехать к ним,—сказала тетя,—и осведомиться о том, как себя чувствует Аннеке: этого требует вежливость!

Мне это требование вежливости было как нельзя больше по душе; к счастью, явился Дирк, предложивший мне отправиться вместе с ним к Мордаунтам.

Дирк чувствовал себя там, как дома; его, очевидно, очень любили в семье, но я предпочел бы, чтобы Дирк любил кого-нибудь другого, а не свою кузину. В прекрасно, богато обставленной гостиной я застал мисс Аннеке в обществе пяти или шести девушек, ее сверстниц и подруг, и нескольких молодых людей, среди которых было четыре красных мундира.

Признаюсь, я смутился, очутившись в этом обществе, и в первую минуту не знал, что делать. Аннеке сделала несколько шагов навстречу мне, еще раз поблагодарила меня за оказанную ей услугу, затем представила меня всему обществу и попросила садиться. Мужчины, особенно офицеры, стали внимательно приглядываться ко мне, насколько это позволяло приличие.

— Надеюсь, ваше маленькое приключение не помешало вам наслаждаться веселым зрелищем праздника?—спросил один из офицеров Аннеке.

— Мое маленькое приключение, мистер Бельстрод, не такое маленькое, как вы думаете! Или вы полагаете, что мне было бы приятно очутиться в когтях льва?

— Простите, я должен был сказать „этот серьезный случай“, если вы считаете его таковым, хотя он, повидимому, не имел настолько серьезных последствий, чтобы помешать вам повеселиться на празднике!

— Праздник этот повторяется ежегодно, и я уже много раз видела его и не особенно дорожу этим зрелищем!

Впоследствии я узнал, что младший из трех офицеров был прапорщик Харрис, младший сын члена парламента, в сущности, еще мальчик. Вторым по положению был капитан Биллинг, что же касается Бельстрода, то это был старший сын баронета, человек очень богатый, который, благодаря деньгам, к двадцати четырем годам являлся уже майором. Он был красив собой и элегантен, и я с первого же взгляда понял, что он поклонник мисс Аннеке.

Мистер Бельстрод умел казаться милым и любезным, когда этого хотел, и это блестяще доказал по отношению ко мне. Он подошел ко мне в то время, когда я стоял несколько в стороне, любуясь картиной одного из старых мастеров, и заговорил:

— Вы, право, счастливчик, мистер Литтльпэдж, что вам привелось оказать такую услугу мисс Мордаунт! Мы все завидуем вам; этот случай

наделает много шума у нас в полку, потому что мисс Аннеке покорила у нас все сердца, и ее спаситель, конечно, в праве рассчитывать на нашу признательность!

Я пробормотал что-то несвязное в ответ на эту речь, и Бельстрод продолжал.

— Меня удивляет, мистер Литтльпэдж, что такой лихой молодец, как вы, не вступаете в наши ряды! Я слышал, что и отец, и дед ваш служили в нашей армии, и что вы человек состоятельный! Вы найдете среди нас очень много порядочных людей и, вероятно, будете чувствовать себя хорошо! Ожидается много реформ, предстоит усиление отрядов, и вам легко будет занять приличное положение в рядах армии. Если бы вы пожелали, я рад был бы служить вам в этом отношении!

— Весьма благодарен вам, мистер Бельстрод,—отвечал я,—и весьма ценю вашу любезность, но мой дед еще жив, и я не могу выйти из повиновения, а мне известно его желание, чтобы я оставался в „Сатанстоэ“.

— Во всяком случае, если бы у вас явилось желание вступить в ряды армии, мой милый Литтльпэдж, не забудьте меня. Помните, что у вас есть друг, пользующийся некоторым влиянием, которое он счастлив будет пустить в ход ради вас.

— Очень признателен вам, мистер Бельстрод, за ваше милое предложение, но признаюсь, что желал бы быть обязанным своим повышением исключительно своим заслугам.

Бельстрод собирался что-то ответить, но ему помешала мисс Варрен.

— Правда ли, мистер Бельстрод, что офицеры сняли новый театр и намерены дать в нем несколько представлений?

— Кто вам сказал об этом? Харрис? Его следует посадить под арест за это.

— Не он один виноват в этом,—вступилась Аннеке,—а весь полк. Вот уже две недели, как это всем известно; я даже слышала, что пойдут „Катон“ и „Скреб“.

— Совершенно верно, и мы имеем намерение просить вас притти послушать, как мы будем уродовать эти пьесы, в том числе и ваш почерный слуга, мисс Мордаунт!—сказал Бельстрод.

— Вы будете играть роль Катона, мистер Бельстрод?—воскликнула одна из девушек.—Это прелестно. А какой на вас будет костюм? Современный или исторический, того времени?

— Да просто мой халат, до некоторой степени приспособленный к случаю.

## ГЛАВА VII

После того я не раз виделся с Аннеке Мордаунт, то на прогулке, то у них дома, а в день званого обеда Бельстрод посетил меня у моей тетки. Он сообщил, что также приглашен на обед, и что прямо из-за стола все отправятся в театр на любительский спектакль офицеров.

— Если вы потрудитесь зайти в ресторан „Корона“, то найдете там оставленные на ваше имя билеты для вас и ваших друзей.

После его ухода я отправился в „Корону“ за билетами, а оттуда—в Кроун-Стрид к Мордаунтам. Там собрались уже все приглашенные. Всего было человек двенадцать.

Едва только доложили, что обед подан, Мордаунт провозгласил:

— Прошу вас заметить, что сегодня мы собрались главным образом, чтобы чествовать мистера Корнелиуса Литтльпэджа и чтобы отблагодарить его за оказанную моей дочери услугу, а потому, надеюсь, он предложит мисс Мордаунт руку, чтобы вести ее к столу.

При этом неожиданном обороте дела, я почувствовал себя крайне неловко и едва смел взглянуть на Аннеке, ведя ее в столовую; рука моя дрожала, прикасаясь к ее руке, и когда все сели за стол, я сел рядом с ней. Это был, в сущности, первый парадный обед, на котором я присутствовал в своей жизни.

— Если бы я знал, что здесь предстоит такой обед, мисс Мордаунт,—проговорил я, когда подали жаркое,—то мой отец был бы счастлив прислать вам дичь своей стрельбы; он прекрасный охотник и бьет очень много дичи.

С моей легкой руки после этого разговор перешел на охоту. Вест-Честер вообще славился своими превосходными охотами; все мужчины увлеклись этой темой, а так как дам было всего только две—Аннеке и мисс Уаллас—то они вскоре запросили пощады.

— Вы забываете, что мисс Уаллас и я не охотимся!

— Если не считать стрел Купидона,—возразил Бельстрод с присущей ему находчивостью,—потому что этим оружием вы владеете в совершенстве и производите настоящие опустошения.

В семь часов все маленькое общество отправилось в театр.

Первые ряды были заняты неграми в парадных ливреях, которые были посланы занять места для своих хозяев, как это здесь было принято. По мере того, как публика собиралась, негры исчезали. Мы заняли оставленные для нас места; Аннеке уже заранее предвкушала предстоящее удовольствие.

Когда прибыли главнокомандующий и губернатор, заиграл оркестр духовой музыки, и вскоре поднялся занавес. Бельстрода встречали и провозжали аплодисментами; многие, бывшие даже в лондонских театрах, уверяли, что роль Катона Бельстрод провел мастерски, не хуже любого актера. В результате все были довольны.

В антракте между трагедией и водевилем актеры вышли в зал, где их стали осыпать восторженными похвалами; у Аннеке горели глаза, и вся она сияла восторгом и радостью, восхваляя Бельстрода и осыпая его комплиментами. „Этот успех, повидимому, сослужил ему хорошую службу“,—подумал я, к немалому моему огорчению, но, к счастью, раздался звонок, и актеры отправились переодеваться.

Во время антракта зрители обходили ложи знакомых, обмениваясь впечатлениями. Я зашел в ложу моей тетки. Дядя нашел, что Катон был вполне удовлетворителен.

— Кстати, Джен (так звали мою тетку),—обратился он к жене,—говорят, этот Бельстрод женится на прелестной дочери Германа Мордаунта, и что вскоре она будет лэди Бельстрод.

— Весьма возможно,—отвечала тетка.—Аннеке—весьма завидная невеста.

„Так значит, это было дело решенное!“ Только теперь я почувствовал, какую боль мне причинило это известие.

Началась вторая пьеса; она показалась мне возмутительно тривиальной, но и в ней Бельстрод, игравший роль слуги, играл превосходно; пьеса эта пользовалась большим успехом в Лондоне, и мнение столицы, очевидно, должно было быть решающим. Но я с радостью увидел, что личико Аннеке становилось серьезным, и что она не находила в этой пьесе никакого удовольствия. Едва успели опустить занавес, как она поспешила уйти из ложи.

На улице к нам присоединилось несколько подруг Аннеке; все они громко и шумно восхищались пьесой, но Аннеке и Мэри Уаллас упорно молчали. Все наше маленькое общество вернулось к Мордаунтам, где мы должны были ужинать; когда уже садились за стол, явился Бельстрод, сияющий и торжествующий.

— Согласитесь, что Марция была весьма прилична! Но могу вас уверить, что был момент, когда я, как режиссер, был не спокоен.

— Да, вам, как режиссеру, было очень много дела!—сухо отозвался Герман Мордаунт.

— Мисс Мордаунт дала мне понять, что она осталась не очень недовольна Катонем, и я желал бы знать, каково ее мнение о маленькой пьеске?

— Она позволяет мне не сожалеть о том, что у нас нет постоянного театра!—ответила Аннеке.

— Сожалею, что наш выбор пал на эту такую модную в Лондоне пьесу, и если наш выбор оказался неудачным, то прошу простить на этот раз!

Когда мне оставалось пробить всего еще два дня в Нью-Йорке, я с грустью пошел прощаться с Аннеке и ее отцом.

— Дирк только-что сообщил мне, что он едет вместе с вами завтра, — сказал Герман Мордаунт. — Аннеке уезжает уже сегодня, а я приеду в свою усадьбу к вечеру. Так знаете ли, что вам следует сделать? Выезжайте завтра с рассветом и по пути заезжайте к нам позавтракать. Мы вас долго не задержим, и к ночи вы будете в „Сатанстоэ“.

Отказаться от этого милого предложения было невозможно.

С шести утра и Дирк, и я были уже в седле. Было прекрасное майское утро, и, когда мы выехали за город, какой-то всадник принялся что есть мочи догонять нас. Это был Язон Ньюкем. Поровнявшись с нами, он был несколько разочарован тем, что его попутчиками являлись мы: видимо, он рассчитывал на встречу с незнакомцами, так как ничего так не любил, как новые знакомства. Не знаю, к каким только ухищрениям или желаниям, но всего чаще он, конечно, прибегал к самым бесцеремонным расспросам, не допускаемым иногда не только известной деликатностью, но даже и самой обычной вежливостью. В данном случае ему также очень скоро стало известно, куда мы едем.

— А-а... так вы думаете остановиться... вероятно, у мистера Ван Кортланда? Его поместье лежит как-раз на реке, так вы заедете к нему?!

— Нет.

— О, так, значит, к богачу Филиппсу, его усадьба тоже недалеко, вам совсем немного придется уклониться в сторону!

— Мы свернем дальше!

— Ах, так, значит, вы свернете, я так и думал... да, да... дальше, там поблизости находится усадьба мистера Мордаунта, дочь которого вы вырвали из когтей... Роскошнейшая дача... Она носит название „Сиреневый Куст“, чудное место!

— Да как вы знаете все это, Язон?

— Как? Просто расспрашивал всех и каждого направо и налево, — ответил он и тотчас же начал уговаривать нас, чтобы мы взяли его с собой к мистеру Мордаунту.

Я, со своей стороны, всеми силами отпирался и отнекивался, но как-раз в этот момент выехавший встретить нас Мордаунт подъехал к нам и, видя, что с нами Язон, счел долгом вежливости пригласить и его.

## ГЛАВА VIII

Когда Герман Мордаунт присоединился к нам, до усадьбы оставалось еще две мили. Мы проехали небольшой лесок и очутились на возвышенности, откуда открывался превосходный вид на Гудзон. На противоположном берегу возвышались утесы; в этом месте река имела почти три четверти мили ширины и ослепительно сверкала на солнце. Деревья только-что оделись молодой листвой; птицы щебетали на каждой ветке; полевые и лесные цветы раскрывали свои пестрые чашечки, и все в природе как-будто радовалось и пело.

— Это любимое место моих прогулок, — сказал Мордаунт, — и моя дочь часто сопровождает меня в этих утренних прогулках; она тоже хорошая наездница. Она, вероятно, и теперь где-нибудь здесь; они обе с мисс Уаллас обещали последовать за мной, как только будут готовы.

В этот момент Дирк радостно вскрикнул и помчался во весь опор; вдали показались две амазонки, и ничто не могло удержать его на месте. Через несколько минут и мы подъехали к ним.

Никогда еще Аннеке не казалась мне такой прелестной, как в амазонке и темной шляпе с большим пером, спускавшимся на плечо; утренний воздух размягчил ее щеки; при виде нас лицо ее осветилось радостной и приветливой улыбкой.

— Ваш батюшка сказал, что это ваша излюбленная прогулка, мисс Мордаунт! Как жаль, что „Сатанстоэ“ так далеко отсюда, у меня была бы по крайней мере надежда иногда встретить вас здесь поутру! — заметил я.

— У меня есть кое-кто знакомый на реке Гарлем в тех местах, где вы живете, — отвечала девушка, — но не по соседству с вашим поместьем. В прежнее время мой отец иногда охотился в долинах „Сатанстоэ“; он мне рассказывал об этом!

— Мне даже кажется, будто мой отец охотился с вашим, а теперь его примеру обещал последовать мистер Бельстрод. Скажите, пожалуйста, после того, как вы успели все это обсудить: какое впечатление произвел на вас этот спектакль?

— Мне кажется, что он продолжался часом дольше, чем следовало! Но это, конечно, не мешает мне отдать должное искусству мистера Бельстрода; из него, несомненно, вышел бы выдающийся комедиант при других условиях!

— Но ведь он должен унаследовать большое состояние и титул баронета!

— Да, говорят! И все-таки он приехал сюда, в колонии, на войну! Не правда ли, это очень похвально, мистер Литтльпэдж?

Я должен был согласиться; но меня кольнул этот вопрос. Я никак не мог разобраться в чувствах Аннеке к блестящему майору. Когда о нем говорили, она всегда слушала с видимым равнодушием, но замечания, подобные этому, смущали меня.

— Как красивы эти высоты!—воскликнул я.

— Да, в настоящее время они служат лишь пастбищем для скота, но кто знает, что будет через несколько лет!

— Вероятно, все они застроятся домами и дачами; здесь так близко от города,—заметил Язон.

— Весьма возможно; все стараются округлить свои владения и приобретают земли даже на стороне. Я слышал, мистер Литтльпэдж, что ваш отец с другом моим, полковником Фоллоком, также приобрели большой участок земли близ Альбани?—обратился ко мне Мордаунт.

— Ну, не такой большой, всего сорок тысяч акров, и не особенно близко от Альбани; будущей весной мы с Дирком должны отправиться на розыски этой земли, и тогда в точности будем знать, где она находится.

— В самом деле!—воскликнул Герман Мордаунт.—Но, в таком случае, мы легко можем там с вами встретиться. Я также собираюсь проехать в Альбани будущей весной по своим делам.

— Вы уже, вероятно, раньше бывали в тех краях!

— О, не раз, и до женитьбы, и после женитьбы, и всякий раз по делам!—сказал Мордаунт.

— Мой отец был там, когда находился на службе; во всяком случае, я решил совершить это путешествие, потому что хорошо увидеть свет; если в то время там будут драться, то мы с Дирком поступим в ряды войск,—добавил я.

Разговаривая, мы подъехали к воротам „Сиреневого Куста“. Так как майора Бельстрода не было, то я имел счастье снять Аннеке с седла; кругом все утопало в цветущей сирени, очаровательный аромат которой наполнял воздух.

— Да это какое-то сказочное царство!—невольно воскликнул я.

Аннеке улыбнулась.

— Действительно, у нас здесь хорошо!—подтвердила она.

— Аннеке,—сказал Мордаунт, когда мы уже сидели за завтраком,—слышала ты, что мистер Литтльпэдж собирается к весне на север? Полк Бельстрода также со дня на день ожидает приказа выступить в Альбани, так что мы можем надеяться на встречу среди голландцев!

— Надеюсь, что и кузен Дирк присоединится к нашей компании?—сказала Аннеке.

Дирк ответил утвердительно.

Я покинул „Сиреневый Куст“ серьезно влюбленным; с первого же взгляда девушка произвела на меня сильное впечатление, но после того, как я увидал ее в домашней обстановке, она окончательно завладела моим сердцем. Я не боялся соперничества Дирка. Я несравненно сильнее опасался Бельстрода, видя и сознавая все его преимущества передо мной.

— А знает ли, Корни, что эти Мордаунты изрядные толстосумы,—сказал Язон, когда мы выехали на большую дорогу.—У них на столе было больше ценной посуды, чем во всем городе Данбюри! Верно, старик чудовищно богат! И поверьте мне,—продолжал Язон,—он недаром выставляет всю эту посуду напоказ. Когда имеется дочь-невеста, ее, естественно, хотят пристроить за какого-нибудь из этих богатых английских офицеров, которые теперь справляют свой сенокос у нас в колониях. А скажите,—этот Бельстрод, о котором несколько раз упоминалось в разговоре, кто он такой? Офицер? Да?.. Меня редко обманывают предчувствия, а мне думается, что именно он станет мужем прелестной мисс...

При этих словах я заметил, что Дирк вздрогнул; меня тоже всего передернуло.

В „Сатанстоэ“ мы прибыли поздно. Матушка моя была страшно рада вновь увидеть меня целым и невредимым после двухнедельного отсутствия.

Однажды, когда я сидел в своей комнате, сочиняя стихи, что мне очень плохо удавалось, вошла моя матушка и села с работой в руках возле моего стола.

— Пиши, пиши,—сказала она,—я не буду тебе мешать!

— Да я уж кончил,—отвечал я, пряча бумагу в стол,—я просто переписывал стихи.

— Ты пишешь стихи?—спросила она.—Ты поэт?

— О нет! Да это не лучше, чем быть школьным учителем, как Язон!

— Кстати, о нем! Скажи, пожалуйста, как это случилось, что ты спас из пасти льва какую-то молодую девушку, как мне рассказывал мистер Ньюкем!

Вероятно, я покраснел, как рак, потому что почувствовал, как кровь прилила мне в голову, и положительно не в состоянии был произнести ни слова.

— Да от чего же тут краснеть, мой милый? Семья Мордаунтов такая уважаемая, что оказать им услугу и быть принятым у них в доме должно быть приятно каждому молодому человеку. Так как же, борьба твоя со львом была очень опасна?

— Да борьбы никакой не было, прежде всего! Это все сочинил Язон!—воскликнул я и рассказал все, как было в действительности.

— Ведь Аннеке Мордаунт единственная дочь, как мне говорил Дирк?

— Так Дирк вам говорил о ней?—спросил я.

— Да, очень часто. Ведь они родственники, так же, как и ты.

— Как и я?—воскликнул я.—Да разве мы в родстве с Мордаунтами?

— Да, не в особенно близком, но все же в родстве: моя прабабушка, Алида ван-дер-Гейден была двоюродной сестрой прабабушки Германа Мордаунта; таким образом, ты и Аннеке родственники. Говорят, это очень недуренькая девушка...

— Недуренькая?! Ах, мамаша, она красавица; она настоящее совершенство во всех отношениях!

В половине лета к нам приехал Дирк и предложил мне поехать вместе с ним к Мордаунтам. Я как нельзя больше обрадовался этому предложению.

Как человек предусмотрительный и осторожный, Дирк предварительно написал Герману Мордаунту, чтобы узнать, не обеспокоим ли мы их своим

приездом. Ответ не заставил себя ждать: нас приглашали самым радужным образом. Мы выехали из дома с таким расчетом, чтобы приехать в „Сиреневый Куст“ незадолго до обеда. Аннеке встретила нас несколько раскрасневшаяся и оживленная, с милой, приветливой улыбкой. От нее мы за обедом узнали, что любительские спектакли офицеров продолжались до самого ухода полка из Нью-Йорка. Аннеке, живя в имении, была за все это время только на трех представлениях и настолько же хвалила, насколько и порицала эти спектакли, отдавая справедливость превосходной игре мистера Бельстрода.

Уступая настояниям наших радушных хозяев, я согласился заночевать у них, но на другой день мы с Дирком уехали вскоре после завтрака. Я привез Герману Мордаунту настоящее приглашение от имени моих родителей приехать к нам отведать нашей рыбы и дичи, вместе с обеими девушками, и в сентябре они приехали к нам. Они пробыли у нас день и уехали в тот же вечер. Я поехал их проводить и простился с Аннеке на этот раз на несколько месяцев.

Тысяча семьсот пятьдесят седьмой год был памятным для колоний. Монкальм захватил форт Вильям-Генри<sup>1</sup>, неприятель завладел Чампленом и занял Тикондерог. Все это вызвало удрученное настроение в колониях. Весной предполагалось предпринять, с помощью подкреплений, ожидаемых из Англии, и призыва местной молодежи, усиленные нападения на неприятельские отряды, чтобы вернуть свои потери. Лорд Лаудон был отозван и замещен старым воякой Аберкромби; из Индии прибывали все новые полки.

## ГЛАВА IX

Зима подходила к концу. Мне исполнился двадцать один год. Отец и полковник Фоллок, который теперь чаще прежнего приезжал к нам, стали серьезно поговаривать о путешествии, которое мы с Дирком должны были предпринять. Раздобыв карты, стали разрабатывать маршрут; громадный план Мусриджа (Оленьей Горы)—так именовалось наше новое владение—внушал мне чувство восторга<sup>2</sup>: на плане всюду значились холмы, речки, озера и леса.

Прежде всего следовало решить, каким образом Дирк и я доберемся до Мусриджа—водой или сухим путем.

Можно было дожидаться того времени, когда река очистится от льда, и, воспользовавшись одним из судов, отплывающих раз или два в неделю из Нью-Йорка в Альбани, прибыть в этот город без особенных затруднений. Но теперь, по случаю войны, все эти суда будут, без сомнения, заняты, главным образом для доставки провианта и припасов,

<sup>1</sup> Эпизод захвата форта Вильям-Генри описан Купером в романе „Последний из Могикан“ см. т. V собр. романов. (Прим. ред.)

<sup>2</sup> Один из жителей Нью-Йорка приобрел громадный участок земли, руководствуясь при покупке планом, но, прибыв на место, он убедился, что владение его совершенно лишено воды. Землемера призвали к ответу и обвинили в обмане, так как на плане повсюду были речки и озера.—„Почему же здесь реки, которых на самом деле нет?“—спросил раздраженный владелец. „Как?“—возразил ему составитель плана,—да разве вы когда-нибудь видели карту или план без рек? Это делается для красоты!“ Ф. Купер.

вследствие чего пришлось бы испытывать много задержек и постоянно иметь дело с фуражирами, провиантмейстерами и разными поставщиками.

Дед мой, проводивший все утро, по обыкновению, в халате и колпаке, но никогда не забывавший переодеться к обеду в камзол и парик, неодобрительно покачал головой и сказал:

— Старайтесь иметь как можно меньше дела с этим народом, Корни! Знайте, что если вы попадете в их лапы, то они отнесутся к вам, как к боченку солонины или мере картофеля, и если уж вам придется следовать за войсками, то лучше оставайтесь среди настоящих солдат, но только не среди этих пиявок-поставщиков!

Значит, о водном пути лучше было и не думать; а сухим путем, если воспользоваться санной дорогой, можно было добраться до Альбани в три-четыре дня. Решено было избрать этот путь. Когда все было готово для нашего отъезда, родители преподали свои наставления.

Призвав меня в свой кабинет, отец сказал:

— Корни, мой друг, вот бумаги, удостоверяющие наши права на те земли, а вот карта той местности и рекомендательные письма к некоторым военным на случай, если вам придется следовать за армией. Вот это письмо к моему бывшему капитану Чарльсу Мерреуезеру, который теперь уже полковник и командует батальоном. Свинина такого сорта, какую мы нагрузили на сопровождающий вас транспорт съестных припасов, должна продаваться не дешевле трех деми-жое (два пенса) за боченок, а мука по настоящим временам не дешевле двух деми-жое. Да, вот тут есть письма и к Скайлерам; это очень именитые люди, и я служил с ними, когда был в твоих годах; они сродни ван-Кортландам и даже Рейсселаерам! Ах, да, и если они будут торговать у вас соленые языки, помеченные на боченке буквой Т...

— Кто? Скайлеры?

— Да нет же, конечно, поставщики армии... то ты скажи им, что это языки домашнего засола, и что их можно подать к столу самого главного командующего.

Таковы были напутственные наставления отца; наставления матери были несколько иного характера.

— Корни, дитя мое, ты теперь уезжаешь от нас; не забывай же моих наставлений и того, чем ты обязан и самому себе, и своей семье. Ищи преимущественно общества почтенных пожилых дам; молодые люди много выигрывают, бывая в таком обществе, и в смысле своего поведения, и в образе мыслей и взглядов на жизнь!

— Но, дорогая матушка, если мы будем следовать за армией, как того желают и отец, и полковник Фоллок, то как же мы можем вернуться в обществе этих почтенных дам?

— Я говорю о том времени, когда вы будете в Альбани. Право, я не знаю, что вы будете делать при армии, раз оба не военные. Я достала для тебя рекомендательное письмо к мистрисс Скайлер и непременно желаю, чтобы ты вручил ей это письмо в собственные руки. Оказывается, что Герман Мордаунт...

— Как, неужели Герман Мордаунт и Аннеке?

— Я ничего не сказала об Аннеке,—заметила, улыбаясь, мать,—но, действительно, сестра пишет мне, что Герман уже около месяца как уехал

вместе со своей дочерью и мисс Уаллас в Альбани с каким-то секретным поручением от правительства. Но в Нью-Йорке поговаривают, что он хлопотал себе это поручение, чтобы иметь предлог быть поближе к известному полку, в котором служит один его дальний родственник, назначенный им в зятья.

— Подобное предположение чудовищно!—воскликнул я.—Никогда такое навязчивое поведение не могло притти в голову Аннеке!

— Не ей, конечно, но ее отцу! Это дело другое! Мы все, отцы и матери, чрезвычайно смелы, когда дело идет о счастье наших детей.

— Но кто может поручиться, что в этом ее счастье? И кто может знать, что творится в мыслях Германа Мордаунта?—воскликнул я.

— Люди обыкновенно судят по себе. Признаюсь, Корни, никакая невестка не была бы мне более приятна, чем Аннеке Мордаунт. Но майор Бельстрод соперник очень серьезный.

— Другой невестки, если... но она у вас, мамаша, не будет!—решительно воскликнул я.

— Что ты, бог с тобой! Такой молодец, за которого с радостью пойдет любая девушка, и вдруг не женится! Да этого быть не может!

— Не станем больше говорить об этом, а лучше скажите,— правда ли, что мистер Ворден также уезжает в действующую армию?

— Совершенно верно, и не только он, но и мистер Ньюкем тоже!

Спустя дня три после этого наш маленький отряд выехал из „Сатанстоэ“. Наш обоз с провиантом, состоявший из нескольких саней, нагруженных доверху солониной, свиной и всеми просоленными продуктами сельского хозяйства полковника Фоллока, был отправлен под конвоем и ответственностью Джеппа и еще двух-трех негров несколькими днями раньше, с таким расчетом, чтобы прибыть одновременно с нами в Альбани.

Наши сани были щедро снабжены буйволовыми и медвежьими шкурами, защищавшими нас от ветра и холода. На переднем сиденье помещались Дирк и я, на заднем—мистер Ворден и Ньюкем.

Мы выехали из „Сатанстоэ“ первого марта 1758 года. Погода стояла великолепная, хотя у нас в том году снегу было не очень много. Надо быть очень хмурым и мрачно настроенным человеком для того, чтобы путешествие в санях не подействовало бодряще и не показалось веселым и приятным.

Все мы были весело настроены, но Язон не мог не критиковать всего, что ему попадалось на глаза; по его мнению, все отзывалось Голландией или Йорком: двери домов были не там, где бы он желал; окна помещались либо слишком высоко, либо низко; от жителей несло табаком,— словом, все решительно было ему не по вкусу.

Не успели мы отъехать нескольких миль от дома, как обозначились все признаки оттепели, и мы поняли, что нам надо спешить, если мы не хотим застрять в пути. К вечеру мы прибыли в замок ван-Кортланд. На следующий день ветер опять был южный, но мы уже поднялись в горы и продолжали спешить вперед, не теряя времени, и перед наступлением ночи прибыли в Фишкиль. Это было цветущее селение, жители которого, повидимому, очень мало интересовались тем, что происходило кругом. Здесь мы заночевали и поутру, выехав из местечка, заметили

разительную перемену: здесь была настоящая зима; воздух был резкий; снег лежал толстым слоем на земле и на крышах строений, и сани неслись, как крылатые птицы. Днем мы нагнали наш обоз, но оставили его позади и продолжали свой путь тем же форсированным маршем. Местами мы видели реку, еще скованную льдом, но предпочитали не уклоняться от большой проезжей дороги, считая этот путь более надежным.

На следующий день мы приехали в одну голландскую гостиницу, от которой недалеко было и до Альбани. Здесь мы решили передохнуть после дороги. Переодевшись, умывшись и отдохнув, мы поехали дальше и вскоре подъехали к берегу реки, где глазам нашим впервые предстали колокольни и крыши старинного города Альбани.

В первую минуту никто из нас не решался переправиться через Гудзон по льду в санях в марте месяце, но Язон на этот раз высказал совершенно убедительную мысль:

— Посмотрите,—сказал он,—видите, вся река пестрит санями, между тем, есть дорога и южнее, и севернее, а люди все-таки едут. Если местные жители едут по льду, то это доказывает, что езда не представляет опасности!

Это было вполне убедительно, но старик Ворден ни за что не решился ехать в санях и предпочел перейти реку пешком; он опасался даже итти возле саней и потому не пошел проторенной тропой, а стал пробираться сторонкой по снегу.

При виде такого множества саней, наполненных веселой разряженной молодежью, мы подумали, что тут какой-нибудь праздник. Когда мы были уже посредине реки, мимо нас пронеслись с быстротой стрелы богаго разукрашенные сани; впереди стоял и правил лошадьми закутанный в меха возница, в котором я с первого взгляда узнал Бельстрода, а в санях, среди пяти-шести розовых девичьих лиц, мне бросилось в глаза лицо Аннеке Мордаунт.

## ГЛАВА X

Мы выехали на берег одновременно с санями, на которых находились двое молодых людей и три дамы, по глазам которых было видно, что им неудержимо хотелось рассмеяться.

Один из этих молодых людей вежливо приподнял свою меховую шапку, подошел к нам и, видя, что мистер Ворден принадлежит к нашей компании, спросил:

— Скажите, пожалуйста, что такое приключилось с этим почтенным пастором, что он бежал по льду, а не ехал в санях.

— Что со мной?—повторил старик.—Я просто не имел охоты утонуть.

— Утонуть?—удивился молодой голландец.—Как могли вы допустить возможность подобной опасности, ваше преподобие? Ведь река замерзла!

Молодого голландца звали Гуртом Тен-Эйком, его знал весь город. Это был первый весельчак, затейник и балагур, красивый парень, всегда готовый посмеяться, всегда готовый развязать кошелек, большой любимец дам и девиц и добродушнейший малый. Он предложил нам ознакомиться

нас с городом и, узнав адрес гостиницы, где мы рассчитывали остановиться, обещал вскоре навестить нас. Затем он пожал всем нам дружески руку; его товарищ вежливо раскланялся, а три дамы подарили нас очаровательными улыбками; после этого веселая компания умчалась, звеня бубенцами и колокольчиками своих ретивых коней.

В 1758 году Альбани был еще чисто голландский город; жители все говорили по-голландски, на простом голландском наречии, даже негры распевали голландские песенки. На улицах встречалось много военных, но все же Альбани производил после Нью-Йорка впечатление маленького провинциального городка. Большая улица была действительно и велика, и широка, но зато все остальные были чрезмерно тесны.

Мы с Дирком вышли пройтись и ознакомиться с главнейшими достопримечательностями города; дойдя до голландской церкви, мы столкнулись неожиданно с Гуртом Тен-Эйком.

— А, здравствуйте, мистер Литтльпэдж и мистер Фоллок, я вас как раз искал! Дело в том, что мы имеем здесь привычку собираться по вечерам теплой компанией, чтобы вместе поужинать. Сегодня как раз мы хороним зимний сезон и очень желали бы видеть вас среди нас; мы собираемся в девять часов, ужинаем в десять и расходимся в полночь! как видите, все строго прилично, и при этом все ведем себя примерно!

В этом забавном приглашении было так много искренности и сердечности, что отказаться было совершенно невозможно.

— Мы не заставим себя просить, мистер Тен-Эйк, — сказал я, — я и друг мой с благодарностью принимаем ваше милое приглашение!

— Ваш друг? Я подразумевал всех ваших друзей! Впрочем, вон я вижу одного из них! — Это был бледно-зеленый фрак, который он увидел с конца улицы. — Им я займусь сам, а вы постарайтесь уговорить его преподобие; он, кажется, не дурак покушать, и добрый кусок индейки да стакан доброй мадеры, право, такие вещи, которыми не следует пренебрегать даже и духовному лицу. Так в этом отношении я рассчитываю на ваше содействие! Мне думается, что мы вскоре станем с вами неразлучными друзьями, мистер Литтльпэдж, а пока до скорого свидания! К восьми часам я зайду за вами.

Распростившись с Гуртом, мы с Дирком прошли до английской церкви и залюбовались фасадом ее, как вдруг нас окликнули мистер Ворден и Язон. Я передал мистеру Вордену приглашение Тен-Эйка.

В ожидании ужина надо было пообедать. В гостинице нас накормили очень недурным обедом, после которого мы с Дирком решили пройтись и кстати посмотреть, не столкнет ли нас судьба с каким-нибудь провиантмейстером, которому мы могли бы сбить свои припасы и коней.

Едва мы успели выйти из дома, как столкнулись опять с Гуртом Тен-Эйком, который словно жил на улице. Сообщив ему о согласии Вордена принять приглашение, мы с Дирком в разговоре упомянули о нашем деле. Гурт тотчас же предложил свести нас с одним крупным поставщиком армии, скупавшим в данное время все, что можно закупить.

Идя вместе с нами к этому поставщику, он предупредил нас, чтобы мы ни под каким видом не спускали цены на свой товар; лошадей приказано покупать где только можно и сколько можно.

— Я вам советую, — добавил он, — сказать ему, что вы желаете продать ваших лошадей не иначе, как вместе с санями и упряжью.

Мы последовали его совету, а скупщик оказался очень сговорчивым. Вскоре сделка была заключена, и мы с Дирком получили всю стоимость наших коней, саней, солонины, муки и всего остального звонкой монетой. Медвежьей шкурой с наших саней прельстился Гурт, и я предложил ему эту шкуру безвозмездно, но он ни под каким видом не соглашался и настоял на том, чтобы уплатить мне за нее гинеею.

— Ну, вот, — весело воскликнул неунывающий Гурт, — ваше дело и улажено. Коней своих вы продали по хорошей цене; они хотя и добрые кони, но возраста почтенного; впрочем, на войне и самых молодых не больше пощадят, чем старых. А теперь не пройти ли нам с вами прогуляться по Большой улице? Это как раз тот час, когда все наши дамы совершают свою вечернюю прогулку в экипажах, а мы, молодежь, пользуемся случаем раскланяться с ними и посмотреть на них!

— Несомненно, что ваши дамы здесь, в Альбани, замечательной красоты, судя по тому, что я видел! — сказал я, желая польстить своему собеседнику.

— Мы, конечно, не можем пожаловаться, — согласился он, — но нынешнюю зиму к нам понаехали из вашей стороны такие красавицы, что при виде их лед на реке мог бы растаять!

— Значит, эти красавицы из Нью-Йорка? — спросил я.

— Да, и этим украшением нашего города мы обязаны близости армии; но ни один полковник, капитан или майор не привез к нам таких красавиц, как Генрих Мордаунт! Быть может, его имя вам знакомо?

— Как же! Мой друг Фоллок даже в родстве с ним! — ответил я.

— Вам можно позавидовать, мистер Фоллок, в том, что вы имеете счастье называть кузиной мисс Аннеке Мордаунт!

— О да! — воскликнул я. — Аннеке Мордаунт красивейшая и прелестнейшая девушка в Нью-Йорке!

— Ну, я не сказал бы этого, — возразил Гурт, — мисс Мордаунт действительно прелестна, об этом я не спорю, но с ней мисс Мэри Уаллас, которая ничуть не уступает ей ни по красоте, ни по другим своим качествам!

Мисс Мэри Уаллас! Никогда мне в голову не приходила мысль о ней, как о равной Аннеке; она была прекрасна, мила, кротка, добра и скромна, но рядом со своей подругой оставалась как-то в тени.

Итак, Гурт Тен-Эйк был восхищен Мэри Уаллас; быть может, даже влюблен в нее!

Это являлось новым подтверждением того, что мы любим в других свою противоположность. Что могло быть более противоположного одному другому, чем Мэри Уаллас и Гурт Тен-Эйк?

— Мисс Уаллас действительно прелестна, — согласился я, — и я ни мало не удивлен, что вы говорите о ней с таким восхищением!

— Восхищением! — воскликнул Гурт, остановившись посреди улицы и глядя мне прямо в глаза. — Нет, милый мистер Литтльпэдж, это слово слишком слабо! Оно не может выразить моих чувств; это не восхищение, а восторг; я хотел бы жениться на ней сию минуту.

— И вы сказали ей это?

— И не раз! Я твердил ей о моих чувствах до пресыщения! Она уже два месяца как здесь, и с первого дня ее приезда все мое существо принадлежит ей. Так вот, если хотите, я проведу вас к тому месту, где в это время дня всегда проезжает экипаж Германа Мордаунта, и где я всегда имею удовольствие приветствовать его красавиц!

Теперь я начинал понимать, почему Гурт целые дни проводил на улице. Мы последовали за ним к голландской церкви, и вскоре я действительно увидел Аннеке Мордаунт и ее подругу. Мне показалось, что глаза последней с особенным вниманием остановились на том углу, где стоял Гурт, и что, отвечая на его поклон, она слегка покраснела. Но я заметил также, что Аннеке вздрогнула от неожиданности, увидев меня, и ее улыбка и разгоревшиеся глазки так взволновали меня, что я насилу мог справиться с охватившим меня волнением.

## ГЛАВА XI

Мы продолжали свою прогулку и, поднимаясь вверх по главной улице, были не мало поражены, увидев, что взрослые молодые люди в Альбани занимаются катанием с гор на салазках. У нас в Нью-Йорке этим забавлялись мальчишки лет до четырнадцати; здесь же вся блестящая молодежь предавалась этому спорту на главной улице, идущей крутым спуском под гору. Садилась в салазки или саночки у голландской церкви и съезжали дальше английской; офицеры, группами выходя из форта, садилась на салазки и со смехом катились с горы.

— Хотите попробовать?—предложил мне Гурт.—Вот хорошие большие салазки; вам нечего бояться,—я ручаюсь за вашу безопасность!

— Не стары ли мы с вами для такой забавы, да еще на главной улице города?—заметил я.

— Полноте, что вы! Даже дамы доверяют мне свою судьбу при этих катаньях, и никогда еще со мной ничего не случалось.

— Как? Дамы? Неужели они решаются скатываться с гор таким образом?

— Да почему же нет? Это очень весело, особенно в лунные ночи! Смотрите, вот и капитан Маузон готовится скатиться вниз! Садитесь и предоставьте все остальное мне!

Я сел; в одну секунду Гурт оказался за моей спиной, и с захватывающей дух быстротой мы понеслись вниз. Признаюсь, при этом я испытывал живейшее удовольствие и, кроме него, не думал ни о чем. Мы благополучно пронеслись вдоль всей улицы, и на нашем пути почтенные люди кричали: „Браво, Гурт! Молодчина, Тен-Эйк!“ Повидимому, все в городе его знали, и все любили; в тот момент, когда мы заворачивали за церковь, желая прокатиться еще дальше, до самой набережной, нам навстречу выехал откуда-то экипаж, запряженный парой горячих лошадей; была минута, когда я был уверен, что мы несемся прямо под ноги этим рысакам. Но Гурт, заметив опасность во-время, сильным толчком заставил наши саночки описать круг, при чем мы оба вылетели на снег и покатились друг за другом под гору. Через минуту, вывалявшись в снегу, мы вскочили на ноги как-раз перед экипажем, который кучеру удалось остановить во-время, чтобы избежать несчастья. Каков же был мой ужас,

когда я увидел, что в экипаже сидели Аннеке Мордаунт и Мэри Уаллас, а негр, их возница, хохотал без удержу, глядя на нас.

— Мистер Литтльпэдж!—невольно воскликнула Аннеке.

— Мистер Гурт Тен-Эйк!—вырвалось и у Мэри Уаллас восклицание, полное упрека.

— К вашим услугам, как всегда!—отозвался неугомонный весельчак.— Не подумайте, пожалуйста, что виной тому была моя неловкость! Нет, это вина шалопая мальчишки, который должен стоять на углу улицы и предупреждать о выезде экипажа; он куда-то сбежал со своего поста. Пусть только одна из вас согласится сделать мне честь скатиться на моих саночках, и я клянусь своей честью, что скачу ее с быстротою ветра, не помяв ни одной ленточки!

Мэри Уаллас ничего на это не ответила, но Аннеке ответила за нее с большей живостью, чем я от нее ожидал.

— Нет, мистер Тен-Эйк,—сказала она,—когда Мэри и мне придет фантазия превратиться вновь в девочек-подростков, то мы обратимся к маленьким мальчуганам, а не к взрослым людям, которым пора бы и забыть о ней. Помпей, поезжай домой!—добавила она, обращаясь к негр-кучеру, и, довольно холодно поклонившись в нашу сторону, обе дамы скрылись из наших глаз.

Нам ничего не оставалось, как почтительнее поклониться и молчать.

— Нет, вы только посмотрите, мистер Литтльпэдж,—возмутился Гурт,—ведь это, пожалуй, на целую неделю хватит холодных взглядов и безмолвной укоризны! А за что? За то, что я всего на каких-нибудь четыре года старше того возраста, к которому, по их мнению, это удовольствие подходит! А вам который год, можно спросить?

— Мне только-что исполнилось двадцать один год!—сказал я.—Лучше бы я был грудным младенцем!

— Ну, уж это вы через край хватили, мой милый! Достаточно было бы стать школьником. Но не будем унывать! Я люблю веселиться и не раз говорил это самой мисс Уаллас, и знаете, что она мне на это отвечала? Что следует в известном возрасте быть более серьезным и думать о благе других. Но ведь можно и о других думать, и с гор кататься. Если можно, не роняя своего достоинства, бегать на коньках, то почему нельзя кататься с гор? Но она прочла мне по этому случаю целую проповедь!

— Что же, это добрый знак,—заметил я,—наставления читают только тем, кем интересуются!

— В самом деле? А мне это и в голову не пришло. Подумайте, мисс Мэри еще говорит мне, что такому человеку, как я, стыдно сидеть, сложа руки, когда кругом дерутся, то-есть воюют. Как вам кажется, естественно ли со стороны молодой девушки желать, чтобы ее возлюбленный подставлял грудь под пули?

— Радуйтесь, что вами занимаются, Гурт. Но мне пора домой, меня ждет мистер Ворден: я обещал вернуться к шести часам.

Почти у дверей нашей гостиницы я встретил Дирка, сияющего и счастливого.

— Я только что видел Аннеке и Мэри Уаллас,—сказал он,—и они остановились, чтобы поговорить со мной. Мордаунты устроились здесь



своим хозяйством и рассчитывают пробыть до половины лета. Нас ждут в любой день к обеду, потому что после истории со львом ты там стал общим любимцем.

— Так мисс Аннеке тебе сказала, что она рада будет видеть нас с тобой у себя, как прежде?

— Ну, конечно! Я могу повторить тебе слово в слово то, что она сказала: „Кузен Дирк, всегда, когда вам будет можно, я буду рада вас видеть у нас и надеюсь, что вы приведете к нам и вашего священника, о котором вы мне рассказывали“.

— А о Язоне Ньюкеме или Корни Литтльпэдже она ни разу не упомянула? Мое имя не было произнесено в разговоре?— встревоженно осведомился я.

— Нет, я много раз упоминал о тебе в разговоре; я рассказал ей, как ты выгодно продал все, что твой отец поручил тебе продать, и вообще мы очень много говорили о тебе.

— Прекрасно, но какая-нибудь из барышен говорила что-нибудь обо мне?

— Ах да! Теперь припомнил, что Аннеке сказала что-то такое, чего я не понял; она сказала так: „Я видела мистера Литтльпэджа; он как будто вырос с тех пор, как я его видела, он скоро будет настоящим мужчиной...“ Понимаешь ты это, Корни?

— Да, понимаю, Дирк, понимаю! Я не рад даже что попал в Альбани! Но посмотри, что я вижу! Ведь это наш Язон!

Действительно, в этот самый момент мимо нас на салазках скатывался с горы Ньюкем в своем яблочно-зеленом фраке: широко расставив ноги в пестрых чулках и башмаках с большими серебряными пряжками.

— А ведь это, вероятно, очень весело, Корни,— сказал Дирк,— мне положительно хочется попросить у него салазки и скатиться самому раз-два с горы!

— Сделай это, Дирк, и тогда тебе не видать мисс Аннеке, как своих ушей! Она не любит, чтобы взрослые мужчины забавлялись как дети!

Дирк широко раскрыл глаза, но не сказал ни слова. Мы застали старика Вордена в превосходнейшем настроении духа; он сообщил, что познакомился с несколькими английскими офицерами и получил много приглашений, поздравил меня с успешной продажей и вообще был доволен и собой, и другими.

В назначенное время Гурт явился за нами, как обещал, и по пути стал знакомить нас с тем обществом, в которое готовился нас ввести.

— Наша компания состоит из самых милых, веселых и порядочных молодых людей города; собираемся мы обыкновенно раза два в месяц у одного милого старого холостяка, по имени ван-Брюнта!—говорил мой новый знакомый.

Придя к дому этого почтенного холостяка, Гурт вошел первый, не постучав в двери; весь маленький клуб, состоявший из двенадцати человек, был в сборе. Все это были по большей части голландцы, с виду сдержанные, миролюбивые и флегматичные, но очень буйные и шумливые, когда разойдутся, а об альбанийской молодежи я не раз слышал, как о больших затейниках и проказниках.

Нас встретили очень сердечно и радушно; все именовали мистера Вордена „преподобием“ и, повидимому, намеревались держать себя скромно

и прилично. Ван-Брюнт был человек лет сорока пяти, коренастый, плечистый, с красным лицом и довольно свободным обращением, вследствие постоянного общения с молодежью.

— Не находите ли вы, что стоять и смотреть друг другу в глаза—занятие довольно скучное и притом возбуждает жажду? А потому, мне кажется, нам следует прежде всего выпить по стакану доброго пунша! Это освежает горло и мысли! Ну-ка, Гурт, пуншевая чаша как раз у вас за спиной!—начал хозяин.

Гурт тотчас же наполнил стаканы и угостил всех превосходнейшим пуншем, который мне показался, однако, очень крепким. Но Гурт, выпив один стакан, налил себе другой и, не задумываясь, выпил и его. Громкая пуншевая чаша немедленно опустела, и Гурт опрокинул ее вверх дном. Присутствующие, полагая, что мистер Ворден не понимает по-голландски, разговаривали преимущественно по-английски. Вскоре принесли другую чашу пунша, и после второго и третьего, а для некоторых и четвертого стакана разговор стал еще оживленнее. Больше всех пил Гурт, но вино не производило на него ни малейшего действия.

Все были веселы и в прекрасном настроении духа, когда в дверях появился негр с растерянной физиономией и знаками вызвал хозяина. Вслед за хозяином исчез и Гурт, но он вернулся очень скоро и, отозвав в сторону еще двух-трех членов клуба, стал с ними о чем-то озабоченно совещаться. До меня доносились из их разговора только бессвязные отдельные слова: „У старого Кюйлера... вот ужин достойный богов!.. Утки, дичь, паштет... все нас знают—это не выгорит!.. Вот бы его преподобие!.. Чужие! Как быть?“

Из того, что я уловил, я понял, что нашему ужину грозит какая-то беда... Главную роль в совещании играл, несомненно, Гурт; все его слушали и в большей части поддакивали ему. Наконец, он выступил на середину и обратился к нам с такой речью:

— Я должен сказать, что у нас, в Альбани, среди молодежи в обычае многое, что, вероятно, не принято у вас в столице. Так, у нас в обычае делать хищнические набеги на птичники и курятники соседей и поужинать за их счет! Не знаю, как вы на это смотрите, но что касается меня, то выкраденная таким образом птица—утки, гуси, индюшки и куры—мне кажется много вкуснее и сочнее приобретенной на базаре. Но на этот раз у нас был изготовлен самым законным путем приобретенный ужин, который, однако благодаря той же теории, вдруг бесследно исчез из кухни сделавшись поживой какой-нибудь другой предприимчивой компании.

— Как так? Похищен целый ужин?—встревожился не на шутку мистер Ворден.

— Да, весь, до последней крохи! Не осталось ни крылышка, ни ребрышка, даже ни одной картофелины,—унесли все до последней корки хлеба.

— Кто же? Кто мог на это отважиться?

— Пока это еще покрыто мраком неизвестности; все было сделано так ловко, так тонко, что никто ничего не видал. Кто-то под окнами крикнул: „пожар!“, слуги выбежали посмотреть, где горит, и в этот момент наш ужин исчез.

— Боже мой, какое несчастье! Какое злодейство!

— Нет, ваше преподобие. Это просто шалость, забавная проделка кого-нибудь из наших друзей, вздумавших угоститься за наш счет, и если вы не поможете нам вернуть наш ужин, то они и съедят его за наше здоровье, а мы останемся ни с чем.

— Я могу помочь вам, говорите вы? Да я готов сделать, что угодно, чтобы вернуть ужин!

— Вот видите ли, наш ужин находится в двух шагах отсюда, и ничего не может быть легче, как вернуть его. Необходимо только выманить на время из кухни старую Доротею и задержать ее хотя бы всего на пять минут. Нас она всех в лицо знает и сразу заподозрит, в чем дело. Но вы, мистер Ворден, чужой человек, да еще духовное лицо, а она такая богомолка и без ума от духовенства. Если вы поговорите с ней несколько минут, то это все, что нам надо.

— Я весь к вашим услугам,—заявил мистер Ворден,—мы, по справедливости, в праве отнять то, что взяли у нас!

Решено—сделано. Гурт с несколькими товарищами, захватив большие корзины, накрытые салфетками, задним ходом пробралась в кухню соседнего дома, а мистер Ворден в сопровождении меня пошел улицей к крыльцу, над которым висел зажженный фонарь, судя по которому, мы думали, что здесь помещается какая-нибудь гостиница или ресторан. Маленький негртенек выманил старуху Доротею на крыльцо, сказав ей, что ее спрашивает какой-то священник. Завидев священника, старуха рассыпалась в любезностях по его адресу, а мистер Ворден принялся ласково внушать ей, что воровство есть грех, что это поступок непростительный, противный христианской морали и тому подобное. Напрасно бедная Доротея старалась его уверить, что она никогда ничего не воровала и хозяина своего никогда не обсчитывает, что даже остатки холодного мяса без его личного приказа или разрешения не отдает бедным. Наконец, пронзительный свист возвестил нам, что ужин наш водворен на место; тогда мистер Ворден протиснулся со своей собеседницей, и мы вместе вернулись к своим друзьям. Гурт подошел к нам и поблагодарил за оказанное содействие, после чего все мы весело сели за стол.

Ужин был приготовлен на славу, и все оказали ему должную честь; в продолжение нескольких минут ничего не было слышно, кроме стука ножей и вилок; затем стали пить за здоровье, провозглашая тосты, и в заключение петь песни и рассказывать забавные случаи из своей или чужой жизни.

Гурт спел несколько песенок, частью английских, частью голландских; все ему шумно аплодировали; голос у него был звучный и приятный, и все слушали его с удовольствием.

Когда шум аплодисментов несколько затих, Гурт предложил, чтобы каждый из присутствующих предложил тост непременно за даму.

— Я пью за мисс Аннеке Мордаунт, о которой все вы, вероятно, слышали!—сказал Ван-Брюнт.

— За мисс Аннеке Мордаунт!—сдержанным хором подхватили присутствующие.

— Ваша очередь, Гурт!

— Я пью за мисс Мэри Уаллас!—громко и торжественно произнес он, и на мгновение красивое лицо его приняло серьезное выражение.

— Право, я мог это наперед сказать, Гурт!—воскликнул Ван-Брюнт.— Вот уже десятый раз вы неизменно провозглашаете этот самый тост.

— И это еще не последний раз вы его слышите, друг мой, так как я и впредь никогда не буду провозглашать другого тоста, кроме этого!— решительно заявил он в тот момент, когда в дверях появилась фигура полицейского.

— А-а!—весело воскликнул Гурт.—Чему обязан чести вашего посещения в такое позднее время?

— Делаю службы, мистер Гурт. Прошу покорно извинения, что потревожил,—ответил полицейский, маленький, пузатенький голландец, весьма добродушного вида, немилосердно коверкающий английский язык.—Если разрешите, позволю себе передать вам возложенное на меня поручение.

## ГЛАВА XII

— Сделайте одолжение, я слушаю!—сказал Гурт.

— Так вот, мистер Гурт, мэр поручил мне сказать, что он будет очень рад видеть вас теперь же у себя вместе с преподобным отцом, читавшим наставление его кухарке, старухе Доротее, и с молодым, человеком находившимся при нем, вероятно, в качестве причетника.

„Кухарка мэра! Так вот в чем фокус! Значит, то был не собственный ужин Гурта, которым мы помогли ему овладеть; мы уничтожили ужин мэра, всеми уважаемого Петера Кюйлера. Значит, фонарь над входом обозначал не гостиницу, а присутственное место—резиденцию власти. Судя по количеству яств, ужин этот был приготовлен не на одну семью, а на гостей“,—думал я, с невольной тревогой взглянув на мистера Вордена; тот смотрел мрачно. Но делать было нечего; мы взяли свои шляпы и последовали за полицейским в дом мэра.

— Вы не беспокойтесь, такие вещи здесь, в Альбани, часто случаются,—сказал Гурт, когда мы вышли на улицу.—Во всяком случае вы оба ни в чем неповинны, так как были уверены, что содействуете возвращению похищенного у нас ужина.

— А кому же собственно принадлежал этот уничтоженный нами ужин?—спросил мистер Ворден.

— Почему бы теперь и не сказать вам этого?—весело отозвался Гурт.—Собственно говоря, это был ужин мэра, но будьте спокойны, все это объяснится, как нельзя лучше! Моя мать—близкая родственница жены мэра; впрочем, мы здесь, в Альбани, все между собой родня так или иначе, так что я поужинал на счет своего родственника, хотя и не званный.

— Я, право, не знаю, мистер Тен-Эйк, не в праве ли мы с мистером Литтльпэждем пожаловаться на вас. Я счел возможным прочесть наставление кухарке, которая, как я полагал, являлась участницей похищения нашего ужина. Но что теперь мне сказать мэру, если он обвинит меня в том, в чем я обвинил его кухарку? Ведь я все-таки лицо духовное.

— Положитесь во всем на меня, ваше преподобие,—сказал Гурт, готовый принести себя в жертву, обвинить себя в чем угодно, лишь бы не причинить огорчений другому.—Я уже привык к таким проделкам и отвечаю за все.

— Да, да, — подтвердил полицейский, — мистер Гурт знаком с такими делами. С ним каждую неделю что-нибудь подобное случается, а только все-таки вы на этот раз хватили через край, мистер Гурт, — стащили ужин из-под носа у самого мэра! Вы бы лучше обратились ко мне, я указал бы вам, у кого ваша дичь и паштеты!

— Это, конечно, было бы лучше, но мы так торопились, у нас были званые гости, нельзя же было их морить голодом.

Мэр распорядился, чтобы нас ввели прямо в его гостиную, вероятно, для того, чтобы пристыдить Гурта в присутствии одной особы, и представьте себе мой ужас, когда среди общества, обреченного нами на голод, я увидел Германа Мордаунта с дочерью и мисс Уаллас. Все знали, что было сделано, но до нашего появления в гостиной один мэр знал, кто принимал участие в проделке. Гурт смело и решительно выступил вперед, несмотря на присутствие Мэри, на лице которой ясно читалась мучительная тревога. Аннеке же даже не взглянула в мою сторону, но лицо ее горело.

При виде мистера Вордена мэр был крайне удивлен; он ожидал увидеть знакомое лицо какого-нибудь шутника, переодетого для случая, и вместо того здесь стоял незнакомый пастор почтенной наружности.

— Здесь, верно, какое-нибудь недоразумение, — сказал мэр. — С какой стати побеспокоили этих господ наравне с Тен-Эйком? — спросил он у полицейского.

— Мне было приказано пригласить сюда и сообщников мистера Гурта! Так вот они!

— Послушайте, Гурт, скажите же мне, — кто эти господа, которых я имею честь видеть у себя?

— Я давно сказал бы вам это, мистер мэр, если бы нас не ввел полицейский, а в таких случаях я все представления возлагаю на него!

Как я мог заметить, мэр с трудом сдерживал смех: очевидно, мы очутились не в руках строгого судьи, а милейшего человека.

— Этот уважаемый пастор только-что прибыл из Англии и на следующую день будет говорить проповедь в церкви святого Петра для поучения всех нас, не исключая и мисс Мэри Уаллас, если она соизволит притти послушать его, по свойственной ей доброте и снисходительности.

Взглянув на Мэри, я увидел, что она скорее была огорчена случившимся, чем возмущена против Гурта. Аннеке же была, видимо, шокирована откровенностью Гурта, который так явно высказывал свои чувства к ее подруге.

— Прекрасно, — сказал мэр, — я весьма рад видеть вас у себя, ваше преподобие!

— А этот молодой человек — мистер Корнелиус Литтльпэджд из „Сатанстоэ“ в Вест-Честере.

Мэр любезно поклонился, но, видимо, не знал, что ему теперь делать с нами. Что молодые проказники крали у соседей птицу и свиней и затем устраивали себе грандиозный ужин, это было дело довольно обычное, что две группы таких проказников похищали одни у других такой ужин, который иногда успевал несколько раз перейти из рук в руки прежде, чем быть съеденным, это тоже случалось нередко; но до сего дня еще никому не приходило в голову похитить ужин из кухни мэра.

В первый момент возмущения этим поступком мистер Кюйлер поспал за полицейским, но затем одумался и при виде замешанных в это глупое дело двух посторонних лиц, из которых один был пастором, решил переменить гнев на милость.

— Идите, Ханс, — сказал он, обращаясь к констеблю, — когда мне понадобятся ваши услуги, я пошлю за вами. А вам я хочу доказать, что старый Петер Кюйлер умеет угостить своих гостей даже вопреки столь опасному соседству, как соседство проказника Гурта Тен-Эйка. Мисс Уаллас, позвольте мне предложить вам руку! Мистер Ворден, вероятно, не откажется повести мою жену к ужину, и остальные гости последуют нашему примеру.

Гурт поспешил предложить руку одной из дочерей хозяина дома, сын мистера Кюйлера повел к ужину Аннеке, а я должен был удовольствоваться обществом оставшейся девушки, кажется, также родственницы хозяев.

Надо отдать справедливость, наспех собранный ужин был превосходен и, пожалуй, не уступал первому. Хозяин дома всячески старался доказать нам, что мы все прощены, и что теперь мы у него желанные гости; мы старались помочь ему в этом с своей стороны, хотя я не могу сказать, что чувствовал себя в своей тарелке.

Мистер Кюйлер, желая показать, что он смотрит на всю эту проделку, как на шутку, от души смеялся и подтрунивал над случившимся. Мистер Ворден очень мило отшучивался, и мэр был им совершенно очарован.

Видя, что Гурт не совсем в своей тарелке, мэр, желая выказать ему свое расположение, сказал:

— Гурт, налейте себе вина и чокнитесь со мной или же выпейте его за здоровье одной из присутствующих дам!

Я уже пил, мэр, за здоровье одной из них сегодня, но за ваше я выпью с удовольствием. Но прежде я должен сказать, что мне весьма совестно за мою глупую проделку; в оправдание могу сказать только то, что вам известно, какие мы бесшабашные головы; все мы — молодые альбанийцы, и как только задето наше самолюбие, и нам необходим ужин...

— То в таком случае что же делают, — расскажите нам, мой милый, это может нам пригодиться! Впрочем, теперь я знаю: его добывают у соседей. Но скажите, — почему у вас явился столь внезапный аппетит настряпню моей кухарки? Разве кухарка ван-Брюнта не могла вам приготовить такой же ужин?

— Она не только могла, но и приготовила нам прекрасный ужин, но он внезапно исчез бесследно, и мне неизвестно даже, как и кем он похищен; откровенно говоря, у нас не оставалось иного выбора, кроме вашего ужина. У нас были приглашенные, вот эти господа, и нам нечего было предложить им; мы их звали на ужин, а ужина не было. На беду, один из наших негров проходил мимо вашей кухни, почуял чудесный запах и сообщил мне об этом. И вот под влиянием излишнего стремления к гостеприимству я и решил лишить вас ужина.

— А, так это под влиянием духа гостеприимства вы отправляете ваших гостей зарабатывать себе ужин наставительными проповедями, а сами опоражниваете чужие кастрюли!

Опоражнивать кастрюли нам не пришлось, все кушанья уже были выложены на блюда, а мы забрали блюда вместе с кушаньями, наши же

гости были мною введены в заблуждение, чтобы не сказать—обмануты, как и ваша Дорогея. Я их уверил, что мы отбираем отнятый у нас наш же ужин, а что в этом доме живете вы, этого они тоже не знали. Я никак не могу допустить, чтобы ни в чем неповинные люди были замешаны там, где виноват только я.

После этого чистосердечного признания лица всех присутствующих разом прояснились. Аннеке испытующе взглянула на Гурта, желая убедиться, что он говорит правду, и затем лицо ее осветилось ее обычной милой улыбкой, и она, обратившись ко мне, справилась о здоровье моей матушки. Мы сидели как-раз друг против друга, так что разговаривать нам было удобно; кроме того, все перекидывались шутками, и в столовой было очень шумно.

— Здесь, в Альбани, совершенно иные обычаи, чем у нас, в Нью-Йорке, как вы успели убедиться,—сказала она.

— Не знаю, на что вы намекаете: на утреннее происшествие или на вечернее?—отвечал я.

— На то и на другое, если хотите,—улыбаясь отозвалась Аннеке,—эти обычаи одинаково странны для нас.

— Поверьте, мисс Мордаунт, я весьма огорчен всем случившимся,—сказал я.

— Ну, мы поговорим об этом в другой раз,—улыбнулась Аннеке, и так как все встали из-за стола, то поднялась и она.

Поблагодарив хозяина, все стали прощаться, так как было уже поздно. Прощаясь со мной, Герман Мордаунт пригласил меня к завтраку на следующее утро к девяти часам и поручил мне передать его приглашение Дирку.

Когда же мы вышли на улицу и вдвоем с мистером Ворденом направились к нашей гостинице, пастор сказал мне:

— А знаешь ли, Корни, я боюсь, что новый приятель, пожалуй, окончательно скомпрометирует нас.

— Но мне казалось, что вы им очарованы.

— Да, он мне нравится, я этого не отрицаю.

На другой день я отправился к Герману Мордаунту настолько рано, насколько это позволяло приличие. Меня провели в маленькую гостиную, где не было никого, но на диване лежал красный шарф Аннеке; вместе с этим шарфом лежала пара крошечных дамских перчаток, таких прелестных, что я не мог противостоять искушению взять их и поднести к своим губам. В этот момент я услышал совсем близко возле себя шаги; поспешно положив перчатки на прежнее место, я обернулся и увидел Аннеке; она смотрела на меня с таким милым выражением, что я едва удержался, чтобы не кинуться перед ней на колени и просить ее быть моей женой.

— Что вам так понравилось в этих перчатках Мэри Уаллас?—спросила она, стараясь скрыть лукавую улыбку.

— Мне показалось, что они издают восхитительный запах...

— Вероятно, они пахнут лавандой, которою мы, женщины, вообще имеем привычку душить перчатки и платки. Но что за странного руководителя вы себе избрали в Альбани, мистер Литтльпэдж, и как это случилось?

— Вы питаете антипатию к Гурту Тен-Эйку?

— Антипатию? К такому славному, чистосердечному и скромному во всех отношениях человеку! О нет, такого брата могла бы пожелать себе каждая сестра, хотя у него, конечно, есть и кое-какие недостатки.

— Но мне кажется, что, несмотря на все его безумство, он пользуется общим сочувствием дам, а разве мисс Мэри Уаллас не расположена к нему?

Взгляд Аннеке ясно сказал мне, что я был нескромен, и я поспешил извиниться.

— Вы должны сознаться, Корни, что ваши подвиги на салазках были довольно смешны, и что вы можете этим довольствоваться.

— Я с вами вполне согласен, Аннеке,—ответил я,—тем не менее, я счастлив, что это катанье на салазках вам кажется более важным, чем история с ужином.

— Да, если бы мэр был не столь мил, эта история могла бы стать весьма неудобной!—и Аннеке искренно рассмеялась.

— Даю вам слово, что этот сумасшедший, но славный Тен-Эйк воспользовался моим незнанием; в этом отношении я действовал, совершенно не зная, что я делаю. Скажите мне, могу ли я надеяться заслужить ваше прощение?—и я протянул ей руку.

— Корни,—сказала она ласково, протянув мне кончики пальцев в знак примирения,—если вам придет фантазия забавляться, как маленькому мальчугану, то какое право имеет Аннеке Мордаунт запрещать это?

— Всякое право! Право дружбы, право более разумного суждения, право...

— Тише!—остановила она меня.—Я слышу шаги в коридоре. Это мистер Бельстрод. Нет надобности слышать ему длинный перечень моих прав; но так как он будет еще минут пять снимать свою шубу, плащ и саблю, то я воспользуюсь этим временем, чтобы сказать, что Гурт Тен-Эйк—опасный руководитель для Корни Литтльпэджа.

— А между тем, разве это не хорошая рекомендация его сердцу, уму и вкусу, что он полюбил Мэри Уаллас?

— Ах, он и вам уже успел сообщить об этом? А, впрочем, кому он только этого не говорил?! Весь город, включая уличных мальчишек, знает о его любви.

— И сама мисс Уаллас также. И в этом я его одобряю. По-моему, мужчина не должен оставлять девушку, которую он любит, в сомнении относительно своих чувств. Мне всегда казалось низким и малодушным выжидать с признанием до того момента, пока ты не получил полной уверенности во взаимности девушки. Как может последняя дать волю своему сердцу без этого откровенного и чистосердечного признания, и для чего таить от всех честную любовь?

— Да, в этом следует ему отдать справедливость, он не раз честно и открыто признавался ей в своей любви, даже и в моем присутствии, и просил ее позволить ему встать в ряды ее претендентов с тем, что он будет ждать ее решения до тех пор, пока не сумеет заслужить ее расположения и уважения.

— Согласитесь, мисс Аннеке, что это поведение достойно честного и порядочного человека.

— Без сомнения, так как мисс Уаласс, по крайней мере, знает цель его ухаживаний.

— Весьма рад, что вы одобряете подобный образ действий,—сказал я,—и хотя у меня сейчас остается всего одна минута до прихода Бельстрода, я все же успею сказать вам, что Корнелиус Литтльпэдж желает поступить по отношению к мисс Мордаунт совершенно так же, как поступил Гурт по отношению к мисс Мэри!

Аннеке вздрогнула; щеки ее побледнели, но затем снова вспыхнули; она ничего не ответила, но взглянула на меня так, что я никогда не забуду этого взгляда. Объясниться уже было некогда, так как дверь отворилась, и Герман Мордаунт вошел вместе с Бельсродом в гостиную, где мы находились.

### ГЛАВА XIII

Бельстрод, казалось, был очень рад меня видеть; я принял такой же радостный вид, и через несколько минут мы снова стали с ними добрыми приятелями, как в Нью-Йорке. Вскоре пришла Мэри Уаллас, и мы все прошли в столовую, куда явился и Дирк, немного запоздавший на этот раз.

Сначала разговаривали, главным образом, Герман Мордаунт и Бельстрод. Мэри Уаллас вообще была молчалива, Аннеке же была на этот раз как-то особенно задумчива и рассеянна, и, только когда Бельстрод обратилась непосредственно ко мне, задумчивость ее исчезла, и она внимательно стала прислушиваться к нашему разговору.

— Ну, мистер Литтльпэдж,—сказал майор,—полагаю, что этот ваш приезд в Альбани связан с намерением присоединиться к нам в предстоящую кампанию. Как слышно, очень много молодежи колонии намереваются двинуться с нами на Квебек.

— Мы намеревались двинуться несколько дальше с Дирком Фоллоком,—сказал я,—тем более, что мы не имеем представления о том, что королевские войска пойдут в этом направлении. Но мы намерены оба просить о прикомандировании нас к одному из полков в качестве волонтеров и дойти с ним, по крайней мере, до Тинкондерога.

— Я сейчас встретил Гарриса,—продолжал Бельстрод,—и он рассказал мне весьма пикантную историю об одном ужине, в котором он участвовал. Ужин этот весь был похищен компанией молодых альбанийских мародеров у кого-то и принесен к нам в казармы. Эту скверную шутку они сыграли с другой компанией молодежи, и хотя говорят, что голландцы на такие вещи не сердятся, тем не менее, я полагаю, что пострадавшим было не особенно приятно лишиться своего ужина. Но самое забавное то, что эти пострадавшие, недолго думая, утешились тем, что точно таким же образом стадили ужин мэра, сделав набег на его кухню и опорожнив все кастрюли и сковороды, так что у бедного мэра не осталось ни одной картофелины на ужин.

Я почувствовал, что кровь ударила мне в голову; мне казалось, что все глаза обращены на меня, и я вздохнул с облегчением, когда услышал ответ Германа Мордаунта.

— Как водится, история разукрасилась, переходя из уст в уста. Но в том, что вы говорите, есть доля правды. Мы как-раз ужинали вчера

у мэра; на столе был не один картофель, а прекраснейшие блюда и закуски.

— Как? И ваши барышни были у мэра?

— Да, и даже мистер Литтльпэдж ужинал вместе с нами и также может засвидетельствовать, что нам подали превосходный ужин.

— Однако, судя по выражению лиц, я вижу, что от меня что-то скрывают, и я желал бы быть посвященным в секрет.

В ответ на это Герман Мордаунт рассказал ему все, как было, со всеми подробностями, несмотря на то, что Аннеке несколько раз пыталась остановить его.

— Нет, право, этот Тен-Эйк не имеет себе равного!—воскликнул Бельстрод.—Это совершенно непостижимый человек. Я не знаю человека более смелого, любезного, услужливого и устойчивого в своих взглядах, а вместе с тем это какой-то ребенок по своим вкусам и склонностям.

— Да, вы, пожалуй, правы.

После завтрака я пошел проводить Бельстрода до его казармы, а Дирк остался еще беседовать с барышнями.

— Мисс Аннеке, действительно, прелестная девушка,—сказал Бельстрод, когда мы вышли с ним на улицу,—я положительно горжусь моим родством с нею и надеюсь со временем вступить с ней в еще более близкое родство!—хвастливо добавил он.

Я невольно вздрогнул и взглянул ему прямо в лицо. Бельстрод самонадеянно улыбался, но был при этом совершенно спокоен и с развязностью светского человека продолжал:

— Я вижу, что моя откровенность вас удивляет, но я не вижу причины скрывать того, что я намерен просить руки этой девушки; мне, напротив, кажется, что порядочному человеку даже следует громко заявить о своем намерении в подобном случае.

— Заявить? Да, конечно, самой девушке или ее семье, но не всем и каждому.

— Я, пожалуй, готов с вами отчасти согласиться, но когда речь идет о мисс Аннеке Мордаунт, то человеколюбие требует не допустить, чтобы бедные молодые люди питали себя несбыточными надеждами и тратили даром свои сердечные чувства. Ваши отношения к семье Мордаунтов мне хорошо известны, но другие молодые люди легко могут проникнуть в эту семью с более корыстными намерениями. Не правда ли?

— Что же вы хотите этим сказать, мистер Бельстрод? Что мисс Мордаунт ваша невеста?

— О нет! Она еще не дала мне своего согласия, но, с согласия моего отца, я просил ее руки у Германа Мордаунта, и это дело на мази. Приведет ли оно к желанным для меня результатам, об этом вы лучше в состоянии судить, чем я, потому что в качестве беспристрастного зрителя лучше можете оценить чувства мисс Аннеке ко мне, чем я сам.

— Вы забываете, что до сегодняшнего утра я целых шесть месяцев не видал вас вместе с мисс Мордаунт. Неужели же вы все это время ждали ответа?

— Так как я считаю вас другом семьи, Корни, то не вижу причин скрывать от вас, в каком положении находится дело. Когда мы впервые встретились с вами, я уже объявил о своих намерениях и получил

обычный в таких случаях ответ, что Аннеке еще очень молода, что она не думает о браке, что в Англии у меня еще живы родители, с которыми мне следует посостязаться, что им тоже нужно время подумать и тому подобное, что обыкновенно говорится для начала. Все это я выслушал терпеливо, со всем решительно согласился и в заключение объявил, что намерен написать об этом отцу и возобновить свою просьбу, заручившись его согласием.

— Ну, и это согласие пришло к вам со следующим же очередным почтовым судном?—спросил я.

— Не могу сказать, что именно со следующим очередным пакетботом, как вы предполагаете, но с одним из ближайших почтовых судов я, действительно, получил ответ от сэра Гарри, моего отца, но, признаюсь откровенно, это не было ожидаемое согласие. Атлантический океан так ужасно велик, что для того, чтобы обсудить подобный вопрос и сговориться на расстоянии его протяжения, требуется весьма много времени.

— Обсудить? Да что же тут обсуждать? Что может быть легче, как уверить сэра Гарри, что лучшего выбора вы не могли сделать, если только вам не откажут?

— Откажут мне? Вы очень наивны, милый Корни, впрочем, это мы увидим по окончании кампании, когда вернемся из Квебека.

— Но что же вам ответил сэр Гарри?

— Вы полагаете, что убедить сэра Гарри было легко? Сильно ошибаетесь. И это объясняется тем, что вы никогда не бывали у нас в Англии и не знаете, какого там вообще держатся взгляда на колонии, иначе вы бы поняли, что это значит.

— Значит, сэр Гарри не поддался вашим убеждениям и доказательствам?

— Сначала он оказал дьявольское сопротивление, и потребовалось целых три письма, из которых последнее было весьма энергичное, чтобы уломать его. Наконец, мне удалось получить его согласие, и я вручил его мистеру Мордаунту. Конечно, на моей стороне та выгода, что сэр Гарри страдает подагрой и астмой и не владеет ни малейшим клочком земли, которая не была бы уже отписана мне по наследству от деда, так что даже в случае его несогласия это был бы просто только вопрос времени.

— И все эти подробности были сообщены отцу и дочери?—спросил я.

— Нет, за кого вы меня принимаете? Я не столь глуп; вы, провинциалы, во многих вопросах удивительно щепетильны, и к вам не знаешь, как подойти. Я думаю, что Аннеке не согласилась бы стать женой даже самого герцога Норфолька, если бы узнала, что его семья выказала хоть малейшее нежелание принять ее в свою родню.

— И вы не находите, что она была бы совершенно права в этом?

— Не думаю. Ведь она выходила бы только за самого герцога, а не за всех его тетушек, дядюшек, кузин, братьев и сестер. Впрочем, мы еще не дошли до этого, я не получил еще форменного согласия, но Аннеке знает, что согласие сэра Гарри получено, и это уже большой шаг вперед. Теперь я знаю, что главнейшим возражением с ее стороны будет ее нежелание расстаться с отцом, который вдов и одинок, и для которого разлука с ней будет тяжела; кроме того, вероятно, и расстаться со своей

страной ей будет трудно. Вы, американцы, такие домоседы и думаете, что только у вас хорошо... А теперь я должен проститься с вами: меня ждут еще кое-какие дела.

Мы пожали друг другу руки и расстались.

У меня, действительно, было немало дела в этот день: прибыл наш обоз, и мне опять пришлось отправиться к тому скупщику, с которым меня познакомил Гурт. Тен-Эйк отправился вместе со мной, и при его содействии мне удалось прекрасно распродать все, что мне было поручено продать. Впервые я почувствовал в своем кармане громадную сумму в восемьсот девяносто восемь долларов.

Было уже поздно, когда все эти дела были окончены, и Гурт предложил мне сесть в его сани и прокатиться по реке.

— Я хотел попросить вас, Корни, об одной услуге!..—сказал Гурт.

— Все, что в моих силах, я сделаю с величайшей готовностью!—сказал я.

— Надо вам сказать, что на целых двадцать миль в округе вы ни у кого не найдете таких коней, как мои!

— Так вы желали бы их продать мисс Мэри Уаллас?

— Да, пожалуй, и с упряжью, и с санями, и с фермами, и складами на реке, и с вашим покорным слугой в придачу, если бы только она захотела. Но так как она пока еще не высказалась на этот счет, то я хотел бы только прокатить ее на моих рысаках, в моих санях, вместе с мисс Аннеке.

— Я думаю, что это возможно будет устроить.

— Вы посмотрите только, Корни, что это за кони! Ведь они доносили меня в час двадцать минут отсюда до Шенектади; это шестнадцать миль по линии птичьего полета и чуть не шестьдесят по проезжей дороге. А какие красавцы! Я назвал их—Джек и Моиз и готов дать, что угодно, чтобы прокатиться на них с мисс Мэри.

Я обещал Гурту сделать все от меня зависящее, чтобы уговорить девушек согласиться на такую прогулку. Чтобы убедить меня в достоинствах коней, саней и возницы, Гурт приказал подать сани и предложил мне прокатиться за город. Сани его, окрашенные в небесно-голубой цвет, излюбленный цвет голландцев, были покрыты мехами чернубурых лисиц с такою же полостью, окаймленной алым сукном. Воронье кони его были увешены бубенцами и колокольцами в таком множестве, что получался целый концерт.

Промчавшись по главной улице города, мы понеслись вдоль западного берега Гудзона, к северу от Альбани, по гладкой снежной равнине, излюбленной дороге для вечерних катаний всего избранного общества. По пути мы заехали к миссис Скайлер, пользовавшейся громадным влиянием в городе. Гурт предложил заехать к ней и представить меня ей, тем более, что приезжие никогда не упускали случая представиться ей, а я еще не успел исполнить этой приятной обязанности.

— Ну и везет же нам!—воскликнул Гурт, когда мы въехали в ворота дома миссис Скайлер.—Смотрите, ведь это сани Германа Мордаунта. Вероятно, барышни здесь!

Действительно, Аннеке и Мэри Уаллас обедали у почтенной дамы и теперь собирались уезжать. Я много слышал еще дома о миссис

Скайлер, и потому в первый момент все мое внимание сосредоточилось на ней. Это была чрезвычайно тучная особа, едва вмещавшаяся в большом кресле и с трудом поднимавшаяся с него; но у нее были прекрасные, умные и добрые глаза и приятная, ласковая улыбка. Когда Гурт назвал ей мою фамилию, она многозначительно переглянулась с девушками, и я заметил, что Аннеке покраснела и как-будто несколько сконфузилась, на лице же Мэри Уаллас, как всегда при виде Гурта Тен-Эйка, отразилась робкая радость.

— Имя вашей матери мне хорошо знакомо, мистер Литтлпэдж,—приветливо обратилась ко мне хозяйка,—мы с ней знавали друг друга в молодости. Добро пожаловать, молодой человек, как ради нее, так ради и вас самих, тем более, что вы оказали такую громадную услугу моей юной приятельнице мисс Мордаунт.

„Значит, Аннеке рассказала ей об этом, и в лестных для меня словах“—подумал я, и сердце мое радостно забилось при этой мысли. Гурт был, повидимому, в большом почете у почтенной дамы, которая относилась к нему, как к балованному ребенку, которого нельзя не любить, несмотря на все его шалости и проделки.

— Ваша чудная воронья пара все еще у вас, Гурт?—спросила хозяйка.

— Еще бы! Лучших нельзя найти во всем округе, и хотя господа военные уверяют, что хороши только кровные лошади, то-есть, по их мнению, английские, а мои чистой породы голландцы, но Скайлеры и Тен-Эйк никогда не согласятся, что голландская раса не кровная, и, раз уже зашла речь о моих лошадях, то я желал бы попросить этих барышен позволить мне сегодня отвезти их домой на моих лошадях; ваш экипаж может ехать за нами, и так как ваши лошади английские, то можно будет устроить испытание. Ваши будут везти порожние сани, а мои четверых седоков, и я готов прозакладывать что угодно, что мои обойдут их и придут первыми!

Аннеке мягко отклонила это предложение, но он так горячо настаивал на своем желании их прокатить, а я, со своей стороны, всячески стараясь уговорить обеих девушек сделать ему это удовольствие, что, наконец, было решено переговорить с Мордаунтом и заручиться его разрешением для подобной прогулки как-нибудь на будущей неделе.

#### ГЛАВА XIV

Мы были у миссис Скайлер в субботу вечером, а в понедельник решено было испытать быстроту бега Джека и Моиза. Проснувшись утром в воскресенье, я увидел, что на улице льет дождь и дует сильный южный ветер. Было двадцать первое марта, и эта оттепель предвещала конец зимы.

Ночью дождь прекратился, но ветер все еще дул с юга. Я отправился к Гурту завтракать и по дороге встретил несколько экипажей на колесах.

— Что ни говори, а настала весна,—сказал я и высказал по этому случаю мое соболезнование Гурту, что прогулка должна расстроиться вследствие оттепели.

— А почему ей не состояться?—спросил Гурт.—Джек и Моиз в превосходном здравьи, бодры и веселы, и я готов держать пари, что в два часа времени они домчат нас в Киндерхук.

— Но ведь на дорогах нет больше снега.

— А на что он нам? У нас есть река, а на реке лед, лед гладкий, ровный, без трещин! Чего же лучше?

Признаюсь, мысль ехать по льду мне не совсем улыбалась, но я ничего не сказал. После завтрака мы отправились к Герману Мордаунту; девушки, узнав, что мы явились потребовать исполнения данного ими обещания, крайне удивились: ехать по льду в оттепель им казалось небезопасным.

— Опасности нет никакой,—уверял Гурт,—я прошу вас позволить моим вороним поддержать честь голландской породы, не то я никогда не посмел бы настаивать. Поверьте, я буду очень ценить оказанную мне милость, так как вполне сознаю, что совершенно не заслуживаю ее!

Решить этот вопрос предоставили Герману Мордаунту, который вспомнил, что несколько лет тому назад он также ездил по льду здесь в Альбани, когда уже кругом нигде не было снега.

— Да, но разве это было в конце марта?

— Нет, это было в начале февраля, но в настоящий момент лед здесь имеет еще не менее восемнадцати дюймов толщины и, вероятно, еще может поднять воз с сеном!

— Да,—подтвердил старый негр Катон, когда-то нянчивший Германа Мордаунта,—я сейчас видел несколько возов с сеном, переправлявшихся по льду через реку.

После таких доказательств нечего было больше сомневаться в крепости льда, и обе девушки согласились участвовать в катанье. В санях Гурта поместились обе девушки, Гурт и я, в других санях—Герман Мордаунт, Дирк и одна старая родственница—миссис Богарт. Мы должны были ехать обедать к другой родственнице Мордаунтов, мисстрис ван-дер-Гейден, жившей в Киндерхуке, и после обеда вернуться в Альбани.

Ровно в десять утра вся наша компания в двух санях выехала из ворот дома, занимаемого Германом Мордаунтом; по краям улиц, пользуясь остатками снега, мы добрались до берега реки. Неподалеку виднелась большая прорубь, по которой можно было судить о толщине льда. Гурт не преминул обратить на это внимание всех присутствующих. Множество саней виднелось тут и там на льду; целые возы сена тянулись по реке в город. Вскоре последние признаки страха и опасений совершенно исчезли, и мы неслись с быстротой ветра по гладкой поверхности скованной льдом реки. Быстрый бег саней, чистый весенний воздух и ясное солнце вызывают радостное ощущение в каждом человеке, и молодые девушки невольно поддались этому настроению, которое разделяли с ними и мы.

Наконец мы благополучно прибыли в Киндерхук и, за отсутствием и здесь снега, не без труда добрались до берега до дома миссис ван-дер-Гейден.

Здесь нас ждал самый радушный и ласковый прием; когда мы собрались уезжать, то милая хозяйка ни за что не соглашалась нас отпустить прежде, чем взойдет луна. Нам всем было так хорошо и приятно у гостеприимной старушки, что решено было остаться, но когда на городской башне пробило восемь часов, мы стали садиться в сани и вскоре, добравшись до берега, понеслись по льду с быстротой одиннадцати миль в час.

Луна была не яркая, так как в воздухе висела легкая дымка, но все же было достаточно светло, чтобы видеть перед собою путь; бесчисленные бубенчики на упряжи Гурта весело звенели и переливались; все мы были весело и приятно настроены; час пролетел незаметно, и мы приближались уже к возвышенности, лежавшей над берегом реки и прозванной Обезьяньим Городом. Это—первые дома по выезде из Альбани, составляющие, так сказать, пригород.

Как я уже говорил, луна была в тумане, а потому, хотя дома и деревья на обоих берегах мы хорошо различали, заметить более мелкие предметы издали было трудно; утром, когда мы ехали в Киндерхук, то повстречали саней двадцать, но теперь на реке не было ни души. Когда же мы были на полпути между островами, лежащими против Куемана и возвышенности, Гурт, стоявший впереди и правивший вороньими, увидел быстро мчавшиеся навстречу сани, направлявшиеся к западному берегу реки, где седоки, повидимому, рассчитывали высадиться. Пронесясь мимо нас, один из седоков громко крикнул нам что-то, но наши бубенцы помешали нам расслышать его слова. А так как у голландцев было в обычае, при езде в санях, встречаясь, окликать друг друга, то этому случаю мы не придали значения.

— Слышали вы, что он кричал?—спросил Герман Мордаунт, поровнявшись с нашими санями.

— Это, вероятно, возвращаются из Альбани молодчики под хмельком и желают всем встречным покойной ночи.

— Миссис Богарт показалось, что он кричал что-то об Альбани и о реке!

— Посмотрим!—сказал Гурт, передавая мне вожжи, и, выскочив из саней, с кнутом в руке пошел к проруби и, измерив толщину льда, вернулся с доказательством—отметиной ногтем на кнутовище. Девушки ничуть не встревожились и даже подтрунивали над беспричинным страхом бедной миссис Богарт.

Но во мне зародилось какое-то смутное беспокойство. Гурт теперь ехал осторожнее; шум бубенцов привлек внимание жителей Обезьяньего Города, и некоторые из них, добежав до самого берега, тоже стали кричать нам что-то по-голландски.

— Они вечно что-нибудь кричат всем едущим в Альбани,—сказал Гурт,—это уж у них такая привычка.

И мы продолжали путь не останавливаясь. Все попрежнему были веселы, но я не был спокоен. Мэри Уаллас даже запела, и мы с Гуртом обернулись, чтобы лучше слышать ее. Вдруг резкий звук трения по льду и громкое восклицание заставили нас посмотреть вперед: в тридцати шагах от нас мчались сани, в которых, стоя, правил один человек; он размахивал кнутом и кричал нам что есть мочи; он мчался во весь опор, и, когда мы оглянулись, я увидел что он всем телом подался вперед, разгоня еще быстрее своих коней. В следующий момент Герман Мордаунт поровнялся с нашими санями и властно потребовал, чтобы мы остановились.

— Что это значит, мистер Тен-Эйк? Вот уже третий раз нам кричат об Альбани и реке? На этот раз я сам вполне отчетливо слышал эти слова.

— Это значит, что все они завидуют моим вороньим, и когда проносятся мимо, то непременно пускают мне вслед какое-нибудь глупое замечание! Что прикажете делать?

Мы помчались снова. Гурт, повидимому, спешил достигнуть города, как вдруг звук, похожий на залп из нескольких орудий, заставил разом обоих возниц остановить на месте лошадей. Миссис Богарт слабо вскрикнула; барышни точно застыли.

— Очевидно, что-нибудь не благополучно. Что это такое? Вы должны это знать, мистер Тен-Эйк!—обратился к Гурту Герман Мордаунт.

— Да, что-то есть! Надо посмотреть, что это,—проговорил Гурт и, выйдя из саней, несколько раз сильно ударил каблуком о лед, желая убедиться в его прочности; в этот момент другой такой же выстрел раздался позади нас. Гурт взгляделся в даль, затем, став на колени, приложил ухо ко льду и стал прислушиваться. Еще два таких же выстрела последовали один за другим прежде, чем он успел подняться.

— Да, теперь я понимаю, в чем дело,—сказал Гурт.—Но лед надежен, и в этом отношении нам нечего опасаться, хотя, быть может, лучше было бы выехать на берег. Вероятно, дождь и сильная оттепель настолько увеличили прибуль воды в реке, что лед поломался во многих местах вблизи берега; в этих местах образуются заторы, у которых вода приобретает громадную силу давления, и лед трескается на большом протяжении, при чем обломки и глыбы льда взгромождаются друг на друга, образуя преграды в двадцать и тридцать футов вышиною. Ничего подобного пока еще не произошло здесь, но позади нас, в полумиле расстояния отсюда, лед действительно дал трещину.

Мы оглянулись в указанном направлении и увидели трещину, преграждавшую нам путь назад; западный берег Гудзона в этом месте был очень крутой и обрывистый, и, взглядевшись попристальнее, мы заметили, что лед, на котором мы стояли, описывает медленное вращательное движение: нас, несомненно, несло по реке. Через минуту это стало ясно для всех; следовало принять какое-нибудь решение. Прежде всего мы обратились к Мордаунту, как к старшему, но он предоставил решение Гурту, как наиболее знакомому со всеми этими явлениями.

— Пока льдину несет, мы, конечно, не можем добраться до берега, и мне думается, всего лучше ехать дальше вперед: мы с каждой саженью будем становиться тогда ближе к Альбани, а если мы проедем полторы или две мили, то будем между островами, где несравненно легче пристать к берегу, чем здесь, в этом широком месте реки. Мне не раз приходилось переправляться через реку на пловучих льдинах; пока еще, могу вас уверить, никакой серьезной опасности нет.

Все заняли свои места, но я видел, что Герман Мордаунт сильно встревожен за дочь. Пересадить ее к себе в сани он не мог: неловко было оставить Мэри Уаллас одну, а также неловко было покинуть и миссис Богарт. Это он прекрасно сознавал. Видя его положение, я подошел к нему и уверил, что ни на одну минуту не буду спускать глаз с Аниске.

— Спасибо вам, Корни мой дорогой,—сказал растроганно Мордаунт, горячо пожимая мою руку.—Я хотел вас просить перелезть в мои сани и пустить меня на ваше место, но думаю, что под вашей охраной моя дочь будет даже целее, чем под моей. Поручаю ее вам! Если бы Бельстрод



был с нами, мы могли бы... Впрочем, Гурт торопится, не надо его задерживать.

Мы вскочили в сани, и Гурт, не теряя ни секунды, понесся вперед. Я сказал несколько слов, чтобы подбодрить девушек; затем все умолкли.

## ГЛАВА XV

Гурт хотел добраться до мелких островов, лежащих близ Альбани, и искать на них спасения в случае, если опасность на льду возрастет еще больше.

Треск льда раздавался все чаще и чаще то впереди, то сзади нас. Гурт гнал вперед лошадей, зная, что в этом месте реки берега с обеих сторон неприступны.

Берега Гудзона вообще очень крутые и обрывистые, и до самого города Альбани нет долин; река течет среди гор и холмов и потому чрезвычайно живописна. Ниже города вид реки совершенно изменяется; здесь уже чувствуется влияние морских приливов и отливов; здесь она становится судоходной; главнейшим притоком является Могаук, протекающий между плодородными равнинами, окаймленными с севера и юга крутыми холмами. Весною, когда тают снега, равнины эти заливаются водой, и наводнения эти влекут за собой множество несчастий. Предыдущая зима была чрезвычайно снежной, и теперь воды со всех сторон неудержимыми потоками неслись к морю, сокрушая и разрушая все на своем пути и заливая все низменные места.

В то время, как Гурт гнал вперед своих коней, Гудзон с обеих сторон города совершенно вскрылся, и теперь нес громадные льдины и целые горы льдин к морю, и от всей этой громадной ледяной равнины, по которой мы ехали еще утром, уже ничего не осталось.

Бубенцы саней Германа Мордаунта все еще слышались совершенно близко за нами, но, чем дальше мы подвигались вперед, тем чаще и громче трещал лед со всех сторон. Обе девушки сознавали, конечно, грозящую нам опасность, но не жаловались и не малодушничили. Наконец, совершенно выбившись из сил, вороны заметно убавили ход, и Гурт понял, что всякая надежда добраться до города благополучно безвозвратно погибла. Тогда он сам стал сдерживать лошадей, как вдруг страшный треск раздавался прямо перед нами, и лед стал вздыматься горой под нашими санями, или, вернее, под ногами наших коней, до высоты десяти футов, образуя подобие двухскатной крыши. Вернуться назад было поздно. Громко гикнув на своих воронях, Гурт вытянул их со всего маха кнутом, и животные, точно поняв, чего от них требуют, собрали все свои силы, взлетели на верх крыши и, перелетев через трещину в три фута ширины, вынесли сани на ровный лед.

Все это было делом одной секунды; девушки насилу усидели в санях; я сам держался с трудом; только Гурт стоял, как вкопанный, не дрогнув и не пошатнувшись. Когда же мы перенеслись через трещину, он сразу затянул поводья и остановил лошадей. Позади нас все еще слышались бубенцы вторых саней, но из-за ледяной горы мы не могли их больше видеть. Осколки льдин, громоздясь одна на другую, в одну минуту образовали преграду футов в пятнадцать вышины, через которую

невозможно было перебраться даже и пешком. Но голос Германа Мордаунта долетел до нас:

— Держите к берегу, Гурт! Держите к берегу!

Затем, судя по звуку бубенцов, задние сани стали удаляться по направлению к западному берегу; мы все четверо прислушивались к этим бубенцам с чувством скрытой тревоги, а кругом нас трещал и ломался лед, и, когда бубенцы совершенно замерли вдали, нам показалось, что мы отрезаны от всего живого мира.

Но нельзя было терять времени, следовало немедленно принять какое-нибудь решение: или постараться добраться до западного берега, или же до одного из ближайших островков, лежавших как-раз в противоположном направлении. Гурт предпочел последнее и, пустив своих коней шагом, повернул в сторону островка. Чтобы успокоить Аннеке, он обратил ее внимание на то, что мистер Мордаунт остался по ту сторону ледяной преграды, и что теперь ему будет легче выбраться в безопасное место, чем нам.

Подъехав к островку, Гурт передал мне вожжи, а сам пешком пошел посмотреть, есть ли возможность сойти на берег; прошло четверть часа, показавшихся нам целой вечностью. Кругом трещал лед, и разбивались, налетая друг на друга, громадные глыбы. Мы не могли поручиться ни за одну секунду безопасности; при этом я невольно удивлялся невозмутимому спокойствию, холодной рассудительности и присутствию духа Гурта. Вернувшись, он заявил, что все обстоит благополучно, и что беспокоиться пока не о чем, затем отозвал меня в сторону и сказал:

— Корни, я был безумцем, когда пожелал спасти мисс Мэри от какой-нибудь страшной опасности. Вот она теперь налицо, и я боюсь, что она страшнее всякого льва и тигра, но мы не должны с вами терять голову: необходимо во что бы то ни стало спасти этих девушек или погибнуть вместе с ними. Лед идет на всем протяжении; мы с вами, пожалуй, добрались бы до берега, перескакивая с льдины на льдину, но льдины эти мимолучно разбиваются—ни за одну нельзя поручиться. Как быть с девушками?! Я сильно опасаюсь за судьбу Германа Мордаунта, Корни, и боюсь, что он и его спутники погибли!

— Неужели это возможно? Нет, нет, я не хочу думать об этом!—воскликнул я, невольно протестуя против этой ужасной мысли.

— А теперь, когда вы понимаете всю опасность, Корни, поспешим переправить наших спутниц на островок; одной минуты достаточно, чтобы прервать с ним сообщение, и тогда нам нет спасения!—сказал Гурт.

Но, пока мы говорили, между островком и нами выросла целая стена льдин; лошади никак не могли взобраться на эти почти отвесные ледяные скалы. Пришлось попросить девушек выйти из саней и перевести их пешком через ледяной барьер на островок. Хотя мороза почти не было, но все же топкая, вязкая, болотистая почва размытого водой островка несколько затвердела, что значительно облегчило нашу задачу. Оставив двух подруг под деревом, мы вернулись назад на льдину за санями, решив перетащить их на островок на себе. Гурт стал выпрягать лошадей; мало того, он снял с них даже уздечки, затем звонко щелкнул по воздуху кнутом раз, другой и третий, и вороны, почуввав свободу, помчались, как вихрь, в сторону города.

— Было бы жестоко,—проговорил Гурт, глядя им вслед,—не дать беднягам возможности спасти свою жизнь. Для нас они теперь бесполезны; в упряжи они были обречены на гибель,—теперь же, следуя природному инстинкту, эти умные животные, быть может, выберутся на берег; они умеют плавать. Сани мы перетащим на островок, а если представится возможность, то и на берег; они легки.

Сани перетащить оказалось не так трудно, как я думал. Мы подтащили их к самому дереву, под которым нас ожидали девушки, усадили их в них, укутали мехами, так как ночь все-таки была свежа, и девушки совершенно успокоились, полагая, что всякая немедленная опасность теперь миновала, так как они чувствовали у себя под ногами твердую почву. Но бедняжки жестоко ошибались. Все острова в этой части Гудзона чрезвычайно низменны, и ежегодно весной их совершенно затопляет, смывает деревья и размывает берега. Чтобы предупредить это размывание, каждый из островков засажен густой рощицей, назначение которой преграждать дорогу плувучим льдинам и задерживать хоть немного воду, но и это мало помогает.

Усадив девушек в сани, Гурт предложил мне отправиться на разведки—осмотреть состояние реки и постараться найти средство добраться до Альбани. В несколько минут мы дошли до конца островка, и Гурт указал мне на огромные льдины, скопившиеся у его берега.

— В них наша главная опасность теперь,—сказал он,—и эта рощица нас не спасет! Такого страшного наводнения, как нынче, я не запомню! Видите эту ледяную преграду? Она образовалась оттого, что наш островок и другие преградили им путь; на всем протяжении они, скопившись и нагромождаясь друг на друга, образовали ледяную плотину. Но поток силен, он каждую минуту может прорвать эту плотину своим страшным напором, и тогда вода в одно мгновение смоем все, что есть на островке. Понимаете теперь? Оставаться здесь нельзя. Каждую минуту мы, может быть, обречены на гибель! Вы, Корни, вернитесь к нашим бедным спутницам, а я попытаюсь как-нибудь перебраться по льдинам через пролив, отделяющий нас от соседнего острова,—сказал Гурт,—и посмотрю, что там происходит.

— Мне не хотелось бы пустить вас одного; те опасности, которые вдвоем нетрудно преодолеть, нередко становятся роковыми, когда человек один!

— Ну, если хотите, пойдемте вместе и посмотрим, что отделяет тот остров от восточного берега реки,—вода или лед. Если лед, то вы как можно скорее, вернетесь к нашим спутницам, чтобы перевести их на тот остров, а я постараюсь отыскать тем временем удобное место для их переправы. Признаюсь, Корни, мне не нравится вид этой ледяной запруды, и я, положительно, опасаясь за участь наших дорогих спутниц!

Мы собрались разойтись, как вдруг раздался страшный треск, более ужасный, чем все уже слышанные нами.

Как обезумевшие, кинулись мы к тому месту, где ледяная запруда сломилась, как щепку, большую старую иву, росшую у берега, и теперь медленно, но неудержимо, надвигалась вперед на островок, давя и сокрушая все на своем пути.

— Надо бежать с этого островка, бежать, не теряя ни минуты!—крикнул Гурт.

Мы побежали что было сил к тому месту, где оставили сани. Каков же был мой ужас, когда саней не оказалось, и вся эта низменная часть островка была уже покрыта мелкими движущимися льдинами. Я готов был кинуться по ним в реку, чтобы догнать какой-то уносимый льдинами предмет, который я в первый момент принял за сани. Но крик отчаяния заставил нас обоих обернуться совсем в другую сторону: Мэри Уаллас вышла из-за дерева и, протягивая Гурту руки, молила его не оставлять ее.

— А Аннеке! Где Аннеке?—крикнул я, не помня себя.

— Она не захотела выйти из саней. Я ее молила, просила, говорила, что вы непременно вернетесь, но она не послушала!

Не слушая дальше, я кинулся вперед, перепрыгивая с одной льдины на другую, и вскоре увидел перед собой сани, которые медленно уносились вниз по реке. Но льдины шли здесь такой сплошной массой, что я, как по мосту, добежал до саней. Когда Аннеке увидела меня возле себя, то прежде всего спросила о Мэри Уаллас и успокоилась, услышав, что Гурт возле нее, и что он не отойдет от нее ни на минуту. Я указал ей даже в тумане на их силуэты в тот момент, когда они вместе перебирались через пролив, отделявший этот островок от соседнего.

— Последуем за ними,—сказал я,—переправа еще возможна, и с того острова мы достигнем берега!

— Идите, Корни, спасайтесь сами!

— Аннеке! Возлюбленная моя! Что вы говорите? Неужели вы думаете, что я отойду от вас, уйду без вас?

— Нет, нет! Бежим, Корни, помогите мне выбраться из саней. Я пойду за вами хоть на край света, лишь бы только не причинить горя моему бедному отцу.

С этого момента она ни на минуту не падала духом. Не знаю, как описать то, что было дальше. Я почти не сознавал, что со мной; единственная моя мысль была—спасти эту девушку; я совершенно забывал о себе. Мы бежали, перепрыгивая с льдины на льдину, через тот пролив, через который несколько минут тому назад переправились Гурт и Мэри, и очутились, наконец, на восточном берегу соседнего острова, рассчитывая таким же путем добраться с него до берега; но, увы, нас от него отделяла вода, несшаяся поверх льда, и на мой зов никто не откликнулся. Вдруг я ясно расслышал звук бубенцов; ближе и ближе, наконец, в пятидесяти шагах от нас промчались сани. Кони неслись, как стрела, очевидно, обезумев от страха. Я узнал эти сани и лошадей. Это были сани Германа Мордаунта. В них не было никого. Лошади кидались из стороны в сторону; сани, проносясь мимо нас, зацепив за льдину, опрокинулись, затем снова перекувырнулись и понеслись дальше.

— Неужели есть еще, кроме нас, и другие несчастные в эту ночь на реке?!—воскликнула Аннеке.

Я ничего не ответил, но едва замерли вдали бубенцы, как до меня явственно донесся звук человеческого голоса. Мне показалось, что кто-то издали звал меня по имени. Аннеке это показалось тоже. Голос этот послышался мне как-будто с противоположного, западного, берега

реки, южнее от нас, но в следующий момент все эти звуки заглушил страшный шум и треск немного повыше острова.

Обхватив за талию свою спутницу, я быстро зашагал по направлению голоса; стараясь достигнуть западного берега, я заметил ледяную глыбу, которую гнало по гладкой ледяной поверхности реки впереди целого ряда льдин менее значительной величины, уносимых течением. Эти мелкие льдины подвигались и как-будто сливались с глыбой, возвратившей у нас на глазах с такой быстротой, что она грозила превратиться в запруду, попав в более узкое место пролива, где бы она задержалась. Мне думалось, что если бы нам удалось взобраться на эту глыбу настолько высоко, чтобы вода не могла добраться до нас и затопить, как затопляла она острова, то мы могли бы найти на ней довольно надежное временное убежище. Почти неся Аннеке на руках, я устремился к этой глыбе с тем большей поспешностью, что до нас доносился страшный шум со стороны ледяной преграды, защищавшей остров; с минуту на минуту она должна была уступить напору воды.

Добравшись до ледяной глыбы, мы взобрались на первые ее уступы не без труда, но вскоре крутизны стали так опасны, что мне приходилось забираться первому и затем только втягивать за руки Аннеке. Пока у меня хватало сил, я продолжал подыматься все выше и выше; наконец, мы принуждены были присесть и перевести дух, чтобы собраться с новыми силами. В это время до моего слуха донесся снова какой-то странный шум; я привстал, нагнулся вперед и увидел, что река прорвала ледяную плотину, и теперь ее вода неслась на нас бешеным потоком с неудержимой силой и быстротой.

## ГЛАВА XVI

Если бы мы остались еще хоть пять минут на самой реке, наши счета с жизнью были бы кончены. Теперь, сидя на одном из высоких уступов ледяной глыбы, мы смотрели, как мимо нас несся пенящийся поток, и я видел, как в нем, кружась и вращаясь, пронесли сани Гурта, а за ними другие, запряженные парой гнедых, обезумевших и выбивавшихся из сил, рвавшихся и бившихся среди пены потока, стараясь освободиться от своей запряжки. Через минуту страшный, раздирающий душу крик, крик агонии коня, огласил воздух.

— Что это?—спросила Аннеке.

— Крик какой-нибудь ночной птицы, вероятно,—ответил я.

Наш пловучий остров также несло течением, правда, медленно; потому ли, что нас задерживали песчаные мели в проливе, или потому, что нашу льдину прибило к береговому льду, и трение мешало ей, при ее большой тяжести и глубине, двигаться с той же быстротой, как окружающие ее маленькие льдины. Я решил, что нам следует как можно скорее добраться до западной оконечности нашего пловучего острова, чтобы воспользоваться первой возможностью перебраться на береговой лед, а оттуда—на берег.

Отдохнув немного, Аннеке заявила, что готова идти дальше; мы на ходились по меньшей мере на высоте тридцати футов над водой; весь

наш пловучий остров представлял собою сплошной хаос поставленных на ребро льдин, по которым далеко не легко было добраться до его западного края, не говоря уже о том, что держаться на ногах на этом скользком льду было крайне трудно. К счастью, на мне, поверх ботинок, были надеты мокасины из оленьей шкуры, а на Аннеке были фетровые сапожки, иначе мы никак не могли бы двигаться по ледяным скатам и уступам. Мы уже добрались до самого края нашей пловучей глыбы, как вдруг, подхваченная встретившимся на пути водоворотом, она закружилась и вскоре очутилась по другую сторону острова, с которого мы только-что ушли. Вместо того, чтобы снова повторить мучительную попытку перебраться на другую сторону глыбы, я предложил на этот раз спуститься на нижнюю, плашмя лежащую на воде льдину и выждать, когда нас течением прибьет достаточно близко к берегу.

По середине реки течение было настолько сильно, что разносило все на своем пути, по счастью, наша льдина держалась сторонкой и, как я думаю, была так глубоко погружена в воду, что задевала своим основанием за дно, и это давало ей по временам вращательное движение, замедляя ее движение. Наконец, я заметил, что наша глыба повертывается к берегу как-раз той стороной, где была льдина, на которую мы с Аннеке только-что спустились.

Надо было не упустить удобного момента. Я предупредил Аннеке. Впереди нас только-что прибило к берегу громадную плоскую льдину; так как мы, то-есть наша глыба, шли за ней следом, то я имел основание предположить, что мы пристанем к этой большой льдине, отчасти загородившей пролив, или же, во всяком случае, коснемся ее. Лед нашей льдины был очень толст, и поэтому мы ничем не рисковали, если бы подошли даже к самому ее краю. Несколько раз мы подходили совсем близко к береговому льду, но всякий раз наша льдина уклонялась, так что между нами и прибрежным льдом оставалось водяное пространство в шесть-семь футов. Я, конечно, мог бы перескочить, но Аннеке не была в состоянии этого сделать. Девушка поняла это и, ласково взяв меня за руку, сказала:

— Как вы видите, Корни, мне не судьба спастись! Но вы могли бы без меня добраться до берега. К чему нам погибать обоим? Спасайте хоть себя!

Видя, что Аннеке совершенно потеряла надежду на свое спасение, а наша льдина как-будто начинала удаляться от берега, я в минуту отчаяния принял безумное решение поставить все на карту и либо спасти ее и себя, либо погибнуть вместе с нею. Схватив ее на руки, как ребенка, я выждал удобный момент и перескочил вместе с моей драгоценной ношей на крошечную льдину, проходившую между нашей льдиной и береговым льдом; едва коснувшись ее ногой, я перескочил с нее на береговой лед в тот момент, когда льдина под нашей общей тяжестью начала погружаться в воду. Собрав остаток сил, я двумя-тремя громадными прыжками пробежал по береговому льду и, наконец, совершенно изнемогая, почувствовал, что коснулся ногой твердой земли.

Теперь я невольно оглянулся назад и содрогнулся при виде того, на что я отважился. Послужившую нам мостом льдину уже несло течением, наполовину запрокинув ее, а наша ледяная скала, где мы нашли спасение

от затопившей остров воды, медленно, но неудержимо приближалась к середине реки, где ей предстояло неминуемое крушение.

Остановившись, чтобы перевести дух после этого тяжелого подъема на берег, мы взглянули на реку, которая отсюда была видна на большом расстоянии. Вся она представляла собою какой-то хаос льдин, обломков и бурлящего, пенящегося потока, стремительно несшегося к морю. Множество льдин — и среди них в одном месте, в том самом проливе, где мы были недавно с Аннеке, неслась какая-то большая темная масса; это был целый дом, снесенный наводнением. Затем следовал сорванный мост, а немного дальше несло течением между льдин крупное судно.

Было уже очень поздно, следовало подумать о том, чтобы найти какой-нибудь приют на ночь для Аннеке. Я решил выйти на большую дорогу, шедшую вдоль всего берега реки, и идти по направлению к Альбани. Минут через десять мы вышли на дорогу. Аннеке была очень утомлена, она едва передвигала ноги, но не жаловалась и, опираясь на мою руку, покорно следовала за мной.

Не успели мы пройти немного по большой дороге, как я услышал мужской голос; мне показалось, что это был голос Дирка; я остановился и, к неопишуемой радости, увидел его в нескольких шагах от нас. Я крикнул что было мочи, и в ответ на мой крик раздался громкий, радостный возглас Дирка, узнавшего Аннеке. Когда он подбежал к нам, то был страшно взволнован; никогда еще я не видал его в таком состоянии.

— Все твои спутники целы и невредимы? — спросил я, не совсем решительно, опасаясь услышать что-нибудь ужасное о седоках саней Германа Мордаунта.

— Да, да, погибли только сани и лошади. Но где же Гурт Тен-Эйк и мисс Мэри Уаллас?

— Они на том берегу; нас разлучили льдины, и они избрали то направление, тогда как нас прибило сюда, — я сказал это, главным образом, желая успокоить тревогу Аннеке; сам же далеко не был уверен в их спасении. — Расскажи нам, как вы сами спаслись, — добавил я.

Дирк рассказал кратко, как после многократных неудачных попыток высадиться на берег они решили перейти по льдинам до берега. Дирк оставили сторожить лошадей, а Мордаунт старался перевести на берег миссис Богарт, но, увидав их в страшной опасности, Дирк бросил все и кинулся их спасать. Все они очутились в воде, которая, по счастью, в этом месте была не глубока, так как внизу под водой имелся еще лед. Лошади, предоставленные себе, испуганные треском льда, понеслись и скрылись в тумане. Мужчины вынесли миссис Богарт на берег, неподалеку от того места, где мы встретились; поблизости было жилье; их приютили. Миссис Богарт уложили в теплую постель, а мужчины переоделись в сухое платье и отправились на поиски нас.

Придя на ферму, мы застали Германа Мордаунта, который при виде дочери положительно обезумел от радости. Когда он несколько успокоился, он стал благодарить меня.

— Я знаю, — сказал старик, — что я вам обязан вторично жизнью моей дочери. Я желал бы, чтобы... впрочем, теперь уже поздно... Ну, да мы найдем, быть может, другой способ... Простите, Литтлпэдж, я сам не

знаю, что говорю, но поверьте, что если я не найду выражений для благодарности, то оказанной вами мне услуги не забуду, пока жив!

Фермеры приютили всех нас в эту ночь; они постарались устроить нас как можно удобнее, угостили горячим кофе и поутру снарядили свою тележку, чтобы отвезти нас в город.

Мы приехали в Альбани часов около десяти утра, и когда, при дневном свете, взглянули на реку, — вся она уже вскрылась, и только кое-где плыли одинокие, запоздалые льдины; острова были под водой, так что трудно было даже определить место, где они находятся. Вся нижняя часть города Альбани была затоплена; но это не повлекло за собой никаких несчастий с людьми.

Подъезжая к дому Германа Мордаунта, мы услышали, что нас окликают. Это был Гурт Тен-Эйк, который махал шапкой в воздухе и, сияя от радости, бежал к нашим экипажам.

— Мистер Герман Мордаунт, — воскликнул он, тряся его за руку, — мне кажется, что вы воскресли из мертвых, и вы также, миссис Богарт, и вы, мистер Фоллок? А вот и Корни, и мисс Аннеке. Ах, какое счастье! Какое счастье, что все здоровы! Мисс Мэри Уаллас чуть жива от страха; при малейшем шорохе она вздрагивает, боясь услышать дурную весть!

Едва договорив эти слова, он кинулся в дом, и через минуту Мэри и Аннеке лежали в объятиях друг у друга. Миссис Богарт мы проводили до ее дома, затем возвратились все к Мордаунтам.

Гурт, с его знанием местности и многолетним опытом, сумел избежать тех страшных опасностей и затруднений, какие пришлось пережить нам. В тот момент, когда он с мисс Мэри добежал до края последнего, ближайшего к берегу острова, громадная льдина врезалась между островом и берегом; недолго думая, он схватил Мэри за руку и перебежал вместе с ней, как по мосту, на берег. Правда, пока они бежали, вода залила сверху льдину, но это было не страшно. Очутившись на берегу, Гурт стал звать нас, приглашая последовать его примеру, и голос, который, как нам показалось звал меня, принадлежал ему. Не получив ответа, он вернулся за нами по льдине на остров, но, не найдя нас, уже с опасностью для жизни вернулся обратно к Мэри Уаллас. Не видя пользы оставаться больше на берегу, он вместе с Мэри пошел к Альбани, и около полуночи они были как-раз против города, по ту сторону реки.

Здесь река совершенно вскрылась, но течение было страшно сильное; однако, это не испугало Гурта. Превосходный гребец, он отыскал на берегу лодку, спустил ее на воду, усадил в нее Мэри и пристал в десяти шагах от того места, где мы с ним несколько дней тому назад вывалились из салазок. Оттуда до дома Германа Мордаунта было всего две минуты ходьбы, и в ту ночь из всей нашей компании одна Мэри Уаллас спала в своей постели, если только она вообще в состоянии была спать после всего пережитого.

Джек и Моиз благополучно выплыли на берег, и их поймали на большой дороге, ведущей к Альбани; так как все в округе знали их и их владельца, то коней тотчас же привели Тен-Эйку на конюшню. Даже сани не пропали бесследно. Сани Гурта унесло течением чуть ли не к самому устью реки. Миновав Нью-Йорк, они были выброшены на берег, и вытащившие их люди поместили о них объявление в газетах. Гурт

откликнулся на это объявление и с ближайшим шлюпом, пришедшим из Нью-Йорка в Альбани после открытия навигации, получил свои сани обратно. Сани Германа Мордаунта постигла иная судьба: его гнемые утонули и, конечно, увлекли за собою и сани на дно реки, но когда тела лошадей всплыли, вместе с ними всплыли и сани. Матросы большого судна, идущего в Альбани, выловили их, обрезав постромки и обрубив дышло, доставили сани в город.

Вся эта история наделала много шума в городе. Бельстрод один из первых явился ко мне.

— Право, милый Корни, вы как-будто самой судьбой предназначены оказывать мне величайшие услуги. Клянусь честью, я не знаю даже, как вас благодарить. А знаете ли, если мистер Мордаунт не вмешается в это дело, то еще до конца лета этот Гурт Тен-Эйк непременно утопит всю семью и вас в придачу или же измыслит какое-нибудь другое средство поломать всем шею!

— Это было такое несчастье, которое могло случиться и с самым осторожным человеком!—возразил я.—Лед на реке был так же прочен, как мостовая в городе, когда мы выехали.

— Да, но все же это катанье могло многим стоить жизни! Ах, Корни, удивляюсь я, почему вы не вступаете в ряды армии. Поступайте к нам в качестве волонтера, а я напишу о вас отцу, и сэр Гарри непременно выхлопочет вам патент на офицера! Если он узнает, что мы обязаны вашему мужеству спасением мисс Мордаунт, то перевернет все, чтобы доказать вам свою благодарность. Знаете ли, что с того момента, как мой добрейший отец решил дать свое согласие на этот брак, он считает ее уже своей дочерью.

— А мисс Аннеке? Она тоже смотрит на сэра Гарри, как на своего отца?—спросил я.

— Во всяком случае, ей придется привыкнуть мало-по-малу так смотреть на него, не правда ли? Ведь это же естественно! И я уверен, что если сейчас мисс Аннеке мысленно говорит себе, что с нее довольно и одного отца, то со временем это, несомненно, изменится; она и теперь уже всегда, когда хорошо расположена, поручает мне писать моему отцу самые приятные вещи. Но что с вами, милый Корни: отчего вы так серьезны?

— Мне кажется, мистер Бельстрод, что я должен вам ответить тою же откровенностью, какой вы почтили меня. Вы мне сказали, что искали руки мисс Мордаунт, и я обязан вам сказать, что я—ваш соперник!

Майор выслушал мое признание с величайшим спокойствием и с улыбкой на губах.

— Так, значит, вы желаете сами жениться на мисс Аннеке Мордаунт, милый Корни?

— Да, майор Бельстрод. Это мое величайшее желание.

## ГЛАВА XVII

В конце апреля, то-есть месяц спустя после нашего приключения на Гудзоне, Гурт как-то поутру вошел ко мне и, трагическим жестом кинув свою шляпу на стол, произнес:

— Ну, Корни, мне опять отказали!

Повидимому, Гурт еженедельно повторял свое предложение Мэри, и та неизменно до сих пор отвечала ему „нет“.

— Понимаешь, она затвердила это слово „нет“, „нет“ и „нет“! И мне начинает казаться, что она совершенно разучилась произносить другие слова, более приятные для моего слуха. Знаете, друг мой, на что я решился? Пойти к тетушке Доротее!

— К Доротее? К кухарке мэра?

— Нет! К тетушке Доротее—гадалке и ворожее.

— Что же, я охотно пойду с вами.

Гурт, как всегда, не считал нужным скрывать чего бы то ни было, и потому однажды сам заговорил о посещении гадалки за завтраком в доме Германа Мордаунта в присутствии майора Бельстрода.

Услышав об этом, Мэри Уаллас подняла глаза от работы и устремила свой серьезный, немного печальный взгляд на Гурта; в этом взгляде было не одно женское любопытство, а скорее участие, но она ничего не сказала.

— В таком случае вы нам все расскажете, Тен-Эйк!—воскликнул майор.—Ничто не может быть так интересно, как все эти рассказы о гадалках!

— Извините, мистер Бельстрод, особенного рассказывать нечего. Пусть говорит Корни Литтлпэджд. Во всяком случае, я в ближайшем будущем отправлюсь с ним и Фолоком в леса, и так как войска еще не скоро вступят в дело, то мы успеем соединиться с вами под Тикондерогою. Если только вам удастся добраться туда!

— Уж лучше скажите в Монреале,<sup>1</sup> потому что я твердо рассчитываю, что наш новый главнокомандующий не даст нам засохнуть на корню!

Мэри Уаллас оставалась задумчивой и серьезной даже тогда, когда все остальные шутили и смеялись.

— Если так, то мы с вами будем соседями,—сказал мистер Мордаунт,—так как земли Дирка и Корни смежны с моим поместьем, которым я уже владею более десяти лет, и куда я намерен теперь отправиться, как только позволит погода, с дочерью и с мисс Уаллас! Я уверен, что нам не грозит никакой опасности, и наши войска смогут защищать нас от французов и от индейцев!

Надо ли говорить, что при этих словах Гурт и я испытали громадную радость, но на Бельстрода сообщение о том, что наши владения оказываются смежными с поместьем Мордаунта, произвело не совсем приятное впечатление. Из его же расспросов я узнал, что именно из-за этого поместья Герман Мордаунт и приехал в Альбани, так как теперь, благодаря близости к театру войны, поместьем могла грозить известная опасность. Некоторые из фермеров и поселенцев, арендовавших и обработывавших его землю, даже бросили все и бежали в другую часть колонии. Если их примеру вздумают последовать и остальные, то земля будет пустовать и заглохнет, и все многолетние труды по ее обработке пропадут даром. Воспрепятствовать этому повальному бегству поселенцев и захотел Герман Мордаунт.

<sup>1</sup> Монреаль—столица французской Канады. В данное время вся Канада считается частью Великобританской империи. (Прим. ред.)

Переехав на зиму в Альбани, Мордаунт желал быть ближе к театру действий и внушить доверие своим арендаторам „Вороньего Гнезда“ (так называли его поместье), следя за движением войск. Если же у него и была при этом какая-нибудь политическая миссия, то она держалась им в строжайшем секрете, и никто ничего не знал о ней.

Впоследствии мне стало известно, что Бельстрод еще раньше нас узнал от Германа Мордаунта про намерение поселиться этим летом в „Вороньем Гнезде“ с дочерью и Мэри Уаллас, которая, будучи сиротой, находилась под его опекой. Зная это, Бельстрод постарался получить командование тем отрядом, который должен был расположиться ближе всех к имению, чтобы время от времени наезжать к Мордаунтам и в то же время играть роль как бы их защитника и охранителя.

Бельстрод купил лошадь и пригласил желающих взглянуть на нее. Грунт, Дирк и хозяин дома спустились с ним на улицу—смотреть лошадь, а я остался с девушками. Едва успели они выйти, как Аннеке с лукавой улыбкой, которую она старалась подавить, спросила меня:

— Так, значит, вы также посетили гадалку, мистер Литтльпэдж?.. Я знала, что такие особы существуют, потому что слышала о них от наших негров, которые ходят к ним за советом, но никогда не думала, что и мужчины, да еще люди образованные, также наносят ворожеям визиты.

— Вы очень строги, Аннеке,—сказал я.

— Ну, полноте, Корни! Ваши оправдания не изменят вашего поступка, но я надеюсь, по крайней мере, что вы хоть поделитесь с нами теми „великими“ сообщениями, которые вы слышали от вашей колдуньи!

— Что касается меня лично, то тетушка Доротей была весьма не-сообщительна: она сказала, что моя царица—царица многих сердец; что река мне не повредила, и что мне следует остерегаться баронетов.

Говоря это, я внимательно следил за выражением лица Аннеке, но не заметил в нем ни малейшей перемены, только румянец стал несколько гуще, но зато Мэри Уаллас вдруг отбросила свою сдержанность и взглянула мне прямо в глаза, улыбаясь.

— И вы верите всему, что вам сказала гадалка?—спросила Аннеке.

— Дело в том, что ранее, чем пойти к ней, я знал, что царица моего сердца—царица многих сердец, что река не принесла мне вреда, хотя я не вижу и никакой пользы от нее; знал также и то, что мне следует остерегаться баронетов.

Аннеке улыбнулась и перевела разговор на другую тему.

Вернувшись, Герман Мордаунт увел меня с собой показать мне некоторые приготовления к предстоящему путешествию.

— Да,—сказал он,—теперь все пойдет по-новому, Корни! Как видно, мистер Питт, являющийся теперь душою Палаты Общин, хочет проявить себя во всех областях правления: всюду проснулась жизнь, а период зимней спячки миновал. Лорда Лаудона убрали от нас, а генерал Аберкромби—старый вояка, от которого много ожидают, так что все предвещает нам блестящую кампанию. Лорд Гоу—молодой человек с блестящими качествами.

Затем разговор перешел на наше соседство, но при ближайшем рассмотрении оказалось, что между нашей землей и владениями Мордаунта было около четырнадцати миль; нас разделял друг от друга большой

девственный лес. Конечно, мы все-таки были соседями, так как между нами не имелось ни одного человеческого жилья.

Приготовления Мордаунта к предстоящему путешествию были очень продолжительны; он заказал громадный крытый фургон для провианта и багажа, затем другой крытый фургон,—несколько поменьше, но все же весьма поместительный и удобный,—для девушек и для себя, с особыми помещениями для вещей; все было прекрасно и прочно.

Похвалив эти приготовления, я простился с Мордаунтом и девушками и пошел домой.

Через два дня полк, в котором состоял Бельстрод, выступил из города на рассвете, но майор не поехал вместе со своим полком.

В самый день выступления я был приглашен на завтрак к Мордаунтам вместе с Гуртом и Дирком и, подходя к дому, увидел перед крыльцом слугу майора с лошадью своего хозяина. Войдя в гостиную, мы застали Бельстрода уже там в полной походной форме.

— Я с сожалением покидаю эту страну, мадемуазель,—говорил майор.—Вы сделали ее дорогой моему сердцу!

Слова эти звучали более сердечно и тепло, чем я мог ожидать от Бельстрода. Аннеке слегка покраснела, но рука ее, державшая в это время чайник, не дрожжала.

— Мы скоро свидимся, Генри,—сказал Герман Мордаунт особенно дружественным тоном,—через недельку поедем и мы, а затем мы будем соседями, и добрыми соседями, надеюсь!

— Вы, конечно, будете посещать нас, мистер Бельстрод,—сказала Мэри Уаллас,—ведь нам довольно затруднительно путешествовать по пустыне, да и неудобно приезжать в военный лагерь!

— Вероятно, это вовсе не будет военный лагерь,—сказал майор,—там построены настоящие бараки тем батальоном, который стоял раньше нас, и я надеюсь, что там можно будет при случае принять даже дам.

Из дальнейшего разговора о будущем соседстве видно было, что Герман Мордаунт смотрит на Бельстрода, как на члена семьи. Это, однако, могло объясняться в глазах остальных тем, что они находились в родстве, но в моих глазах принимало совершенно другое значение. Когда Бельстрод встал и стал прощаться, я дорого бы дал, чтобы не присутствовать при этой сцене. Майор был больше растроган и огорчен, чем я предполагал; взяв руку Германа Мордаунта, он долго сжимал ее в своей, прежде чем собрался с силами сказать что-нибудь.

— Что будет этим летом,—сказал он, наконец,—и увидимся ли мы снова? Но, что бы ни случилось, прошедшее—это милое и дорогое для меня прошедшее—оно мое! В случае, если бы нам не пришлось свидеться, моя переписка с родителями, которую я распорядился переслать вам в подобном случае, докажет, до какой степени я был тронут и благодарен вам за ваше доброе ко мне отношение! В этих письмах вы яснее, чем в моих словах, увидите мои чувства к вам и к вашей семье.

— Ну, полно, дорогой Генри, что за мрачные мысли!—прервал его Герман Мордаунт, смахнув слезу.—Как можно так относиться к непродолжительной разлуке,—ведь недели через две мы увидимся!

— Увы, каждый военный, стоящий на расстоянии выстрела, не может спокойно смотреть на разлуку, даже и самую кратковременную, а для

меня эта кампания будет решающей,—добавил он, бросив многозначительный взгляд на Аннеке.—Я должен вернуться победителем в известном смысле, или лучше мне вовсе не вернуться. Прощайте, мистер Мордаунт, будьте счастливы и верьте, что я никогда не забуду вашего расположения ко мне.

Он был, видимо, сильно растроган. С минуту он колебался, глядя то на ту, то на другую из молодых девушек, затем вдруг подошел к Мэри.

— Прощайте, Мэри,—сказал он, взяв протянутую ему руку и с чувством поцеловав ее.—У вас, конечно, много друзей и почитателей, но я готов поручиться, что нет ни одного, который бы больше меня умел ценить все ваши высокие качества.

Мэри отняла платок от глаз и ответила ему так же тепло и сердечно.

Аннеке тоже плакала, а, когда она отняла платок от глаз, личико ее было бледно, и губы дрожали; когда же она улыбнулась, то улыбка была такая ласковая, тихая, добрая, что у меня сжалось сердце. Ей Бельстрод не сказал ни слова, он только молча взял ее руку и прижал ее к своему сердцу, поцеловал ее и вложив в нее записку, низко поклонился и вышел. Мне было стыдно следить в этот момент за выражением лица Аннеке, и я стал смотреть в сторону, не желая увеличивать ее смущения. Но я видел, что она была еще больше взволнована и растрогана, чем Мэри.

Майор уехал, но мне от этого было не легче, и я не смел заговорить теперь с Аннеке о моей любви к ней, опасаясь неблагоприятного ответа.

## ГЛАВА XVIII

Через десять дней после ухода полка Бельстрода Герман Мордаунт со своей семьей и я с моими друзьями тронулись в путь. В это время двигалось много войск; все они проходили через Альбани; несколько королевских полков на судах были двинуты вверх по реке. Два или три корпуса прибыли из западных колоний; ожидалось большие отряды милиции из провинций.

Среди офицеров, находящихся при войсках, выделялся лорд Гоу. Он был в чине бригадира, пользовался авторитетом и полным доверием, как человек опытный и имеющий уже немало заслуг.

До нашего отъезда из Альбани я раза три встречал лорда Гоу у миссис Скайлер, где часто бывали и Мордаунты. У нее же наш караван должен был сделать первый привал.

Отряд наш был так многочислен, что его можно было принять за передовой отряд какого-нибудь военного корпуса. Герман Мордаунт отсрочил свое путешествие до этого момента для того, чтобы дать время военным отрядам заполнить страну, что обеспечивало нам, путешественникам, известную безопасность. Это давало нам возможность подвигаться от этапа до этапа, от одного военного поста до другого.

Караван наш состоял из двух фургонов и десяти или двенадцати верховых лошадей. Мордаунт взял с собой двух негритянок—кухарку и горничную, двух негров—конюха и камердинера, и трех белых работников.

Таким образом, отряд Германа Мордаунта состоял из десяти человек: четырех женщин и шести мужчин. Нас было трое—Тен-Эйк, Дирк и я;

затем негр Джеп, мистер Траверс—наш землемер, двое рабочих, состоящих в его распоряжении, двое дровосеков с топорами, негр Петер—личный слуга Гурта,—то-есть в общем тоже десять человек, из них двое негров, так что в общей сложности в обеих партиях было двадцать человек. У каждого мужчины, как у белого, так и у негра, было по карабину; кроме того, у каждого было еще по два пистолета за поясом, под куртками, так что все мы были прекрасно вооружены, хотя это и не было особенно заметно.

Мистер Ворден и Язон не отправились вместе с нами, и причиной этого были отчасти их костюмы. Пастор очень дорожил внешними атрибутами своего сана и даже на пегушиный бой являлся в рясе. Он и на время путешествия вглубь американских лесов не пожелал расстаться со своим платьем, рассчитывая, что его широкополая шляпа, черные коротенькие брючки и длинная ряса внушат почтение краснокожим в пустынях Северной Америки. Язон же рассчитывал сэкономить. Купить лошадей стоило очень больших денег, так как с прибытием войск на все страшно поднялись цены; нанять повозку стоило тоже не многим дешевле.

Старику Вордену удалось каким-то образом получить местечко в казенном транспортном фургоне бесплатно; Язон ухитрился каким-то образом пробраться вместе с ним. Надо отдать справедливость, мистер Ньюкем обладал необычайным талантом устраиваться везде и всюду на даровщину.

Мистер Ворден и Язон выехали из города на сутки раньше нас и рассчитывали встретиться с нами там, где дорога пойдет лесом.

Мужчины шли все пешком, кроме кучеров, а лошади все были под вьюками, и так как каждый из нас, кроме карабина, пистолетов и зарядов, нес еще на спине тяжелый мешок, то легко понять, что мы не могли делать больших переходов.

Первою нашей остановкой был загородный дом в поместье миссис Скайлер, пригласившей всех нас к обеду. Приблизительно час спустя после обеда мы тронулись дальше; в этот вечер мы должны были пройти недалеко, хотя дороги здесь были хорошие. Зато в тридцатимилеях к северу от Альбани уже не было решительно никаких дорог, кроме военных троп, ведущих прямо к озеру Шамплону.

Когда мы достигли того места, где нам приходилось свернуть с большой дороги, Герман Мордаунт был вынужден попросить женщин выйти из их удобной повозки и сесть на лошадей. Повозки же должны были следовать за нами шагом; ехать в них из-за ужасной дороги было совершенно невозможно.

Дорога, шедшая в гору, представляла собою, в сущности, едва приметную тропу, прорубленную в лесу; виднелись следы колес, но тропа эта была не только не укатана, но даже не расчищена. Здесь нас должны были подождать мистер Ворден и Язон, но мы нашли тут только их багаж, а сами они прошли дальше вперед и поручили нам сказать, что мы их встретим немного дальше.

Гурт и я ушли вперед в качестве разведчиков. Зная, что дом, где мы должны были провести ночь, находился в расстоянии нескольких миль, мы спешили притти раньше других, чтобы приготовить все для ночлега. Дом этот стоял посреди пустыни, хотя кругом на пространстве двадцати акров почва была расчищена; миновать пустыню было невозможно, так

как было уже поздно, а до ближайшего жилья, лежащего уже во владениях Германа Мордаунта, было не менее восемнадцати миль, то-есть целый день пути.

Отойдя с полмили от своих, мы очутились в небольшой заброшенной прогалине, где, очевидно, была произведена порубка. Но затем место это было запущено и стало зарастать молодняком. Подходя к прогалине, мы услышали голоса и насторожились:

— Дама!—крикнул кто-то по-английски.

— Восьмерка!

— Десятка! Я выиграл!

— Эти ребята здесь, среди леса, в карты играют!—сказал я, и, держа наготове свои карабины, мы подошли ближе.

Каково же было наше удивление, когда оба мы увидели мистера Вордена и Язона, игравших в карты на пне.

Первым движением Язона было спрятать карты с видом вора, застигнутого с поличным, но мистер Ворден, привыкший не видеть дурного в игре, нимало не сконфузился.

— Надеюсь, Корни, дорогой мой, что ты не забыл прихватить с собой колоду-другую карт, а то карты мистера Ньюкема до того затрепаны, что к ним нельзя прикоснуться,—посмотрите сами. Да куда же они делись? Сейчас тут были!

Сконфуженный Язон раскрыл ладонь и показал карты.

— Утешьтесь, ваше преподобие, карты у меня с собой есть,—сказал Гурт,—и даже довольно приличные!

— Я люблю сыграть партийку в винт или в пикет, а тут, поджидая вас, мы сразились с мистером Ньюкемом. Я никогда не женился бы на особе, которая не умела бы играть в винт или пикет. Это такое приятное препровождение времени!

Мы двинулись дальше и вскоре добрались до ночлега, а немного спустя подошли и остальные. Рано поутру все снова двинулись в путь.

На другой день, около полудня, мы добрались до границы „Вороньего Гнезда“. Местность была лесистая; расчистка была произведена лишь кое-где; это было дело трудное и стоящее больших денег; немало труда стоило убедить семей десять-двенадцать переселенцев поселиться здесь, а затем удержать их в этих диких местах.

— Вы не опасаетесь,—спросил я Мордаунта,—что война или страх нападения индейцев заставят бежать ваших колонистов?

— Нет, Корни, теперь я этого больше не опасуюсь, хотя и опасался раньше. Война имеет свои неудобства, но зато и свои выгоды! Солдаты, как саранча, поедают все на своем пути! Провиантмейстеры прибыли сюда и скупили у моих колонистов все, что у них было продажного, скупили все, не торгуясь, за чистые деньги, уплатив чистым золотом.

Вскоре мы увидели место, прозванное Германом Мордаунтом „Вороньим Гнездом“, от которого и вся эта земля получила свое название. Это было довольно внушительное деревянное строение, построенное на невысокой скалистой возвышенности, где раньше гнездились вороны. Здание это служило местом убежища для семей колонистов в моменты нападений индейцев, а перед началом войны Герман Мордаунт распорядился

сделать еще новые укрепления вокруг этого здания, которые могли оказаться полезными даже и на случай нападения неприятеля.

Все окна этого строения выходили во внутренний двор, наружу же выходили только одни очень солидные ворота. Кроме того, все здание было обнесено высокой бревенчатой стеной, могущей служить защитой от пуль. В этом довольно обширном здании агент мистера Мордаунта приготовил и обставил для приезда владельца пять хороших комнат со всеми удобствами, какие здесь были возможны, и хотя мебель не отличалась изяществом, но все же здесь было все необходимое; помещение было удобное и уютное, не говоря уже о том, что оно было вполне безопасно.

## ГЛАВА XIX

Дня через два или три мы с Дирком решили отправиться разыскивать земли Мусриджа.

Мистер Ворден и Язон не расположены были итти дальше; мельница или, вернее, место, удобное для постройки мельницы, на которое Язон имел свои виды, находилась во владениях Германа Мордаунта, и он уже начал с ним переговоры. Что же касается мистера Вордена, то он нашел, что „Воронье Гнездо“ представляет собою достаточное поле для его деятельности, и дальше ему искать нечего.

Нам посоветовали взять с собою одного или двух индейцев в качестве разведчиков и рассыльных, знакомых с этими местами. Они могли быть нам очень полезны. Один из них назывался Прыгун, а другой Бесследный—прозвище, данное ему за то, что, где бы он ни проходил, он нигде не оставлял за собой ни малейшего следа.

Ему было лет двадцать шесть, и он считался могауком, потому что жил с этим племенем, но впоследствии я узнал, что он был родом онондагас. Настоящее его имя было Сускезус, или Крючковатый.

— Возьмите этого человека,—сказал мне агент мистера Мордаунта,—он вам будет полезен в лесах; он лучше всякого компаса укажет путь; кроме того, он ловок и проворен и прекрасный охотник, наконец, человек трезвый, как все онондагасы!

И я решил взять его, хотя нам было бы довольно и одного индейца, а Прыгуна мы уже взяли раньше. В нашем положении не безопасно было обидеть краснокожего, а Прыгун, сколько бы ни давали ему отступного, все равно считал бы себя обиженным и оскорбленным, если бы мы его оставили, и потому решено было взять обоих индейцев. Индейское имя Прыгуна было Квискис.

Когда мы стали прощаться, все были очень растроганы. Гурт не успел случая повторить Мэри еще раз свое предложение, и та плакала и была взволнована; у Аннеке на глазах тоже были слезы: но мы расставались не надолго и обещали регулярно, раза два в неделю, подавать о себе вести. Кроме того, мы обещали вернуться ко дню пятидесятилетия Германа Мордаунта, которое должно было праздноваться через три недели.

Выйдя рано поутру, мы быстро шли в течение нескольких часов, пока не пришли к небольшой, но быстрой и глубокой речке, которая,



как предполагали, протекала в трех или четырех милях от границы нашей земли. Здесь мы сделали привал у самой реки и прежде всего принялись утолять свой голод. Траверс подозвал обоих индейцев к упавшему стволу, который служил нам одновременно и диваном, и столом, и, разложив на нем карту, сказал:

— Смотрите, сюда! Вот река, на берегу которой мы теперь находимся!—и он указал пальцем на линию реки на карте.—А вот и изгиб ее в этом месте! Теперь надо отыскать холмик, на котором был убит олень, и который уже входит во владение; границей здесь назван старый почерневший дуб, стоящий посредине тех каштанов; на этом дубе сделаны и условные знаки, как это всегда делается. Вы, Дэвис, кажется, говорили мне, что никогда не бывали в этих краях?—обратился землемер к старшему своему помощнику.

— Никогда, сударь,—отозвался тот,—но старый дуб среди трех каштанов, должно быть, не так трудно отыскать человеку, который хоть сколько-нибудь знаком с этой местностью! Спросите наших индейцев, — они, наверное, лучше других знают это дерево, если проходили когда-нибудь здесь.

Знать дерево в этом беспредельном море деревьев, которым не видно было конца, в этой дикой чаще, где дерево жалось к дереву, мне представлялось совершенно невыносимым, но Траверсу это вовсе не показалось таким невероятным, и он обратился с вопросом к индейцам:

— Послушай, Прыгун, знаешь ли ты здесь, в лесу, такое дерево, о каком я сейчас говорю?

— Нет!—коротко ответил краснокожий.

— В таком случае, и Бесследный его не знает, потому что ты все-таки могаук, а ведь он, как я слышал, родом онандагас! Но на всякий случай спрошу и его. А ты, Бесследный, знаешь такое дерево?—обратился землемер ко второму индейцу.

За все это время я не спускал глаз с Сускезуса; он стоял, выпрямившись, как ствол, стройный, гибкий и сильный, в легких белых штанах, мокассинах и голубой холщевой рубашке, подпоясанной ярко-красным поясом, за которым был заткнут его томагавк и висел кисет с пулями и пороховница. Карбин свой он поставил прикладом на землю и держал его рукой за дуло, как трость. В этом человеке не было ни одного из физических недостатков: тонкий орлиный нос, черные, как уголь, глаза, пронизательные и живые, превосходные формы тела, высокий, благородный лоб и полная достоинства и невозмутимого спокойствия осанка настоящего воина, соединенная с своеобразной природной грацией и пластичностью движений. Только походка его была, как у всех индейцев, несколько странная; он ступал всегда прямо с несколько согнутыми коленами, но при этом поступь его была чрезвычайно легка и упруга.

Пока землемер говорил, Сускезус смотрел в пространство и, казалось, не принимал ни малейшего участия в том, что происходило вокруг. Ему было неприлично говорить в присутствии более старшего, чем он, воина и охотника, и Сускезус ждал, чтобы тот, кто должен был знать больше его, высказал то, что знает, прежде чем младший воин позволит себе открыть рот. Когда же обратились с вопросом непосредственно к Сускезусу, он приблизился шага на два, взглянул на карту с нескрываемым

любопытством и проследил пальцем извилины реки с чисто детским удовольствием.

— Ну, что ты скажешь об этой карте, Бесследный?—спросил его Траверс.

— Хорошо!—отозвался Сускезус.—А теперь покажите дуб!

— Здесь!—указал землемер.—Видишь это дерево, оно без вершины, черное; эти три каштана, как видишь, образуют возле него правильный треугольник!

Молодой индеец внимательно посмотрел на карту, и едва заметная улыбка осветила его красивое темное лицо; он, повидимому, был доволен точностью плана.

— Хорошо!—повторил он своим низким, гортанным голосом, таким мягким и певучим, как у женщины.—Очень хорошо! Бледнолицые все знают! Так пусть же теперь мой брат найдет это дерево!

— Не так трудно нарисовать дерево на карте, как разыскать его среди тысячи тысяч других деревьев в бесконечном лесу!—сказал землемер.

Сускезус улыбнулся.

— Но бледнолицый должен был видеть это дерево, если он нарисовал его. Где же тот, кто его нарисовал?—спросил онандагас.

— Я его видел однажды и сделал даже на нем условные зарубки,—сказал землемер,—но нам надо его теперь опять найти! Можешь ты мне указать, где оно находится? Мистер Литтлпэджд даст французский червонец тому, кто ему укажет это дерево. Очувившись у этого дерева, я уверен, что сумею разобраться в линии границы ваших владений!—добавил он, обращаясь ко мне и Дирку.

— Это дерево, которое здесь нарисовано,—сказал Сускезус, указывая на карту с пренебрежительным жестом,—не здесь, не в лесу! Бледнолицый не найдет его никогда! Это живое дерево там! Индеец его знает!

И Сускезус уверенным движением, полным достоинства, указал протянутой рукой на северо-восток и так и застыл в этой позе, словно давая возможность проверить правильность его указания.

— Можешь ты проводить нас к этому дереву?—поспешил осведомиться Траверс.—Проводи нас, и деньги будут твои!

Сускезус вместо ответа утвердительно покачал головой и принялся собирать все оставшееся от его обеда. Мы, следуя его примеру, сделали то же, так как знали, что спустя несколько часов всем нам, вероятно, захочется поужинать, и может случиться, что тогда у нас ничего не будет под рукой.

Собрав все и ввалив себе на спину наши мешки, мы тронулись в путь. Индейцы шли налегке. Ни один индеец не соглашается нести на себе какую бы то ни было ношу, считая это унижением для мужчины; эта работа прилична, по их мнению, только женщинам и вьючным животным.

Молодой Бесследный, повидимому, действительно заслуживал свое прозвание; он не шел, а как бы скользил впереди нас между бесчисленными стволами густого леса, и мы лишь с большим трудом могли следовать за ним. Он не смотрел ни вправо, ни влево, как охотничья собака,

идущая по следу дичи. Через некоторое время Траверс решил сделать привал.

— А далеко ли, по-твоему, отсюда до того дерева?—спросил он индейца.

— В четырех и десяти минутах!—ответил тот, показав сперва четыре пальца, а затем большой палец правой руки.—Вон там!

Меня поразила уверенность, с какой он говорил, но Траверс, как видно, ни на минуту не усомнился в точности его слов.

— Если это так недалеко,—сказал он,—то и самая пограничная линия должна быть где-нибудь здесь поблизости! Она тянется с севера на юг в этой стороне, и мы скоро должны будем пересечь ее! Слушайте, ребята!—обратился он к своим помощникам.—И вы, охотники, рассыптесь здесь по лесу и отыщите закуренные, опаленные деревья! Найдя пограничную линию, я ручаюсь найти все указанные на плане приметы!

Приказание землемера было тотчас же исполнено, и мы двинулись дальше, следуя за нашим путеводителем.

Гурт был легче всех нас на ногу и первым следовал за индейцем; вскоре его громкий, звучный голос возвестил нам, что он и Сускезус достигли дуба. Когда мы подошли, молодой онондагас спокойно стоял, прислонясь спиной к стволу дуба, и на лице его не было ни малейшего признака торжества или самодовольства.

Траверс внимательно обследовал дуб; с трех сторон ствола были сделаны глубокие зарубки, с четвертой же этой зарубки не было; и эта сторона была та, которая была обращена за границу владения. Не успел он окончить его осмотра, как голоса его помощников, донесшиеся издали, возвестили, что и они нашли пограничную линию; следуя вдоль этой линии, они вскоре присоединились к нам и тут же сообщили, что видели на холме скелет оленя, в память которого получила название вся эта местность.

Пока все шло великолепно; охотники отправились отыскивать ключи и нашли прекрасный и глубокий ключ неподалеку от старого дуба. Здесь и решено было разбить лагерь на ночь. Из ветвей соорудили шалаш, оленьи шкуры и одеяла заменили нам постели, и, поужинав, мы улеглись спать.

Траверс нашел это место очень удобным и решил устроить здесь главную квартиру; мы тотчас же принялись строить бревенчатую избушку, где бы можно было и укрываться на ночь в непогоду, и сложить все наши припасы, орудия, шкуры и одеяла. Работа шла очень успешно, так как все работали усердно, а некоторые из нас еще, кроме того, были привычны к такой работе.

К концу третьих суток избушка наша была готова; в ней даже был пол из грубо отесанных бревен, достаточно высоко поднятый над землей, чтобы предохранить нас от сырости. Избушку, кроме того, проконопачили стружками и сухим листом; ни очага, ни трубы у нас на крыше не было: пищу мы готовили на открытом воздухе. К тщательной внутренней отделке жилья мы не приступали, так как не рассчитывали зимовать в нем. Но Траверс настоял, чтобы входная дверь была сделана очень массивной, с толстыми поперечными брусками, на прочных деревянных столбах. На мой вопрос, к чему нужна была такая дверь, он отвечал,

что кругом нас разгорается война, что агенты французов всячески стараются возмутить местные племена, и что целые банды мародеров из Канады наводняют нашу границу,—поэтому не мешает на всякий случай иметь надежную защиту.

После первых дней, потраченных на постройку хижин, Траверс и его помощники принялись за свою работу; они разверстывали все владения на небольшие участки, по тысяче акров каждый, расставляли пограничные вехи в виде обугленных стволов и в то же время составляли подробный план каждого отдельного участка с описанием его почвы, растительности и других подробностей. Эти описания под руководством Траверса составляли мы с Дирком; Гурт же целые дни охотился в лесу или ловил форелей в нашем ключе. Питер и Джек занимались кухней и домашними работами, а индейцы только и делали, что исполняли роль гонцов между „Вороньим Гнездом“ и Мусриджем и время от времени служили проводниками нашим охотникам.

Землемеры не всегда возвращались на ночь в избу; иногда они проводили в лесу двое или трое суток, но по субботам все собирались вместе.

Все с нетерпением ожидали всегда возвращения Прыгуна и Бесследного из „Вороньего Гнезда“ с письмом. Письмо это иногда бывало от самого Германа Мордаунта, а иногда от той или другой из девушек. Письма никогда не адресовались кому-нибудь лично, а всем нам вообще— „Отшельникам Мусриджа“. Конечно, многим из нас было бы приятнее получать частную корреспонденцию, но мы были рады и общей.

Во вторую субботу нашего пребывания в Мусридже было получено письмо от Германа Мордаунта. Он писал, что большие отряды наших войск двигаются на север, и что французы все время получают подкрепления, что леса полны индейцев, которых французы натравливают на неприятеля, чтобы те с флангов беспокоили его.

„У наших индейцев,—писал он,—замечается слишком много французских денег, французских ножей, томагавков и одеял; обратите внимание на одного из ваших гонцов, по прозвищу Бесследный. Этот человек покинул свое племя и пристал к чужому; такие люди всегда подозрительны“.

— Ну, что касается слухов об индейцах, то стоит только кому-нибудь увидеть клоч французского одеяла, чтобы начать утверждать, что их целые тюки. Если следует до известной степени опасаться индейцев, то далеко не в такой мере. Кроме того, мы более чем в сорока милях от пути армии! Что же делать мародерам на таком расстоянии от неприятеля?

— Ну, а что вы думаете относительно того, что было сказано о нашем онондагасе?

— Эти подозрения могут иметь известное основание. Обыкновенно это дурной знак, когда индеец оставляет свое племя. Наш гонец, несомненно, онондагас, это я знаю из того, что он несколько раз отказывался от предложенного ему рома; хлеб он возьмет во всякое время, с полной готовностью, но никогда не выпьет ни одной капли рома.

— Да, это дурной признак,—заявил серьезно Гурт,—человек, который отказывается выпить стаканчик в доброй компании, мне всегда кажется подозрительным.

— Не надо забывать,—заметил Траверс,—что обе воюющие стороны предложили индейцам награды за доставление скальпов.

При этих словах Дирк с тревогой провел рукой по своим густым кудрям, и на его обычно спокойном лице появилось выражение жестокости.

Я встал и подошел к большому поваленному стволу, на котором сидел Сускезус и доедал свой ужин.

— Какие новости слышал ты о красных мундирах?—спросил я самым равнодушным тоном.—Как ты думаешь: достаточно ли их, чтобы победить французов?

— Взгляните на листья на деревьях и сочтите их!—сказал он вместо ответа.

— Да, но что делают теперь краснокожие? У шести народов все ли еще зарыт топор, и ты сам не собираешься ли бросить занятие рассылного или гонца, чтобы приняться за добывание скальпов под Тикондерогою?

— Сускезус—онондагас,—ответил индеец, особенно упирая на имя своего племени,—в его жилах не течет ни одной капли крови могауков, а его народ не вырывает топора войны.

— Почему же? Ведь вы наши союзники и обязаны нам помогать, когда нужно!

— Сочтите листья, сочтите англичан; им не нужны онондагасы.

— Это правда. Но в лесах тихо? Разве в них нет краснокожих в такое тревожное время?

Сускезус стал вдруг очень серьезен, но не сказал ни слова; он не старался избегать моего испытующего, вопросительного взгляда, а сидел неподвижно, глядя прямо перед собой. Я видел, что он решил не отвечать, и не стал настаивать, а спросил его о состоянии ручьев и рек, о количестве в них воды, и он с полной готовностью сообщил мне все эти сведения.

## ГЛАВА XX

Я положительно не знал, что мне думать о Сускезусе, но вдруг случилось нечто, что могло подтвердить наши подозрения. Прыгун был на охоте, и Сускезуса послали в „Воронье Гнездо“ с письмом, хотя была не его очередь. Вместо того, чтобы вернуться на другой день, как всегда, он исчез и целые две недели не возвращался. Обсуждая его исчезновение, мы пришли к заключению, что, считая себя заподозренным, он оскорбился и окончательно сбежал.

В его отсутствие мы побывали сами в „Вороньем Гнезде“. Когда мы собрались возвращаться в Мусридж, Герман Мордаунт отправился вместе с нами, чтобы помочь нам на месте своими советами и указаниями, как лучше использовать различные воды, находившиеся на нашей земле. Мистер Ворден присоединился к армии, предпочитая офицерский стол скудному столу переселенцев. Язон же заключил с Германом Мордаунтом весьма выгодное для него условие долгосрочной аренды и принялся разыгрывать роль настоящего землевладельца.

Намерение наших родителей относительно Мусриджа было несколько иное; они хотели распродать его по участкам, оставляя за собой только те фермы, которые нам не удалось бы продать, или те, что останутся за нами при неуплате всей суммы покупателям. Таким образом, они рассчитывали скорее вернуть затраченные деньги и в более короткое время создать поселение.

Мы уже несколько дней как вернулись вместе с Германом Мордаунтом в Мусридж, когда, проснувшись на заре, я услышал легкие, едва уловимые шаги индейца за стеной нашей хижины. Я вышел за дверь и очутился лицом к лицу с исчезнувшим онондагасом.

— Это ты, Сускезус? А мы думали, что ты окончательно ушел от нас!

— Пора уходить,—сказал он, нимало не смуглившись.—Англичанин и воин Канады скоро будут драться!

— В самом деле? А как ты об этом узнал? Где ты был все эти две недели?

— Я был, я видел, я знаю, что говорю! Идите позовите тех молодых людей и выходите на тропу войны.

Так вот чем объяснялось его столь продолжительное отсутствие! Он слышал, как мы в его присутствии высказывали намерение присоединиться к нашим войскам перед самым началом военных действий, и отправился на рекогносцировку, чтобы предупредить нас, как только будет пора покинуть Мусридж. Я не мог видеть в этом измены или предательства и был даже рад, что наступил момент, который должен был внести разнообразие в мою жизнь.

Не теряя ни минуты, я сообщил эту весть товарищам, которые встретили ее так же, как и я. Призвали на совет и Сускезуса, который снова заявил, что следует отправиться сейчас же, не теряя ни минуты.

— Время бежит, челны готовы, ружья заряжены, люди сосчитаны, вождь настороже, и огни совета уже погашены!—сказал он.

— Ну, Корни, в путь,—сказал Гурт, вставая и потягиваясь.—Сегодня мы можем переночевать в „Вороньем Гнезде“, а завтра утром выйдем на большую дорогу, по которой двигаются наши войска. Мне представится еще раз случай увидеть Мэри Уаллас и сделать ей еще раз предложение!

— Не надо видаться со сквау<sup>1</sup>, не надо заглядывать в гнездо,—сказал индеец решительно и, указав рукою в другую сторону, добавил:—Тропа войны там! Нехорошо воину видаться со сквау, когда он вырывает топор. Это обабит его! Нет, идите туда, где лежит тропа войны... Здесь сквау, а там скальпы!

Так как жесты молодого индейца были столь же порывисты, как и его речь, то мы не могли не понять смысла его слов, но Гурт, снаряжаясь, все-таки продолжал его расспрашивать. Благодаря этим расспросам, нам удалось узнать от Сускезуса, что генерал Аберкромби переправлялся уже со своими войсками через озеро Жоржа, и что нам нельзя было терять времени, если мы хотели присоединиться к нему до начала действий под Тикондерогою.

<sup>1</sup> Сквау—женщина, по-индейски. (Прим. ред.)

Сборы наши были недолгие; нас только немного задержало отсутствие Траверса, которому пришлось оставить записку, чтобы объяснить причину ухода и обещать вернуться, как только окончатся первые военные операции. Записку эту мы поручили Петеру, который должен был остаться в Мусридже, тогда как мой неразлучный Джек отправлялся с нами, навьючив на себя весь наш багаж.

Когда все было готово, приходилось решить, пойдём ли мы через „Воронье Гнездо“ или по новой дороге, которую нам указывал Сускезус. Собственно того, что обычно называется дорогой, не было ни тут, ни там. Но путь на „Гнездо“ был уже нам немного знаком, тогда как в другом направлении мы никогда не бывали. Кроме того, в конце первого пути нас ожидали цветущие, улыбающиеся личики Аннеке и Мэри, и даже Дирк высказался за „Воронье Гнездо“. Но он ондагас решительно отказывался идти в ту сторону. Он оставался стоять неподвижно, указывая рукой на северо-запад с таким упорством, которое трудно было преодолеть.

— Мы не знаем этой дороги, Бесследный,—сказал Гурт,—а эта нам уже знакома!

— Сускезус знает, Сускезус покажет!

— Кроме того, мы хотели бы проститься с барышнями.

— Не надо видаться со сквау! Ничего из этого не выйдет доброго. Тропа войны не ведет к женщинам. Гуроны и французские воины там! Дорога длинная—время короткое! Вождь бледнолицых очень спешит!

— Чорт возьми! И мы спешим, а потому не задерживай нас и иди за нами, если не хочешь идти впереди.

— Этот путь годен только для тех, кто не хочет видеть врага!—иронически проронил Сускезус и пренебрежительно отвернулся.

— Это еще что за новости!—вспылил Гурт.

Обернувшись, он занес руку и кинулся на онондагаса. Тот бросился бежать, желая избежать удара; я бросился за ним, чтобы удержать Гурта; за мною следом бросились и Дирк, и Джек. Таким образом, мы бежали друг за другом, не переводя духа, сами не замечая, и когда, наконец, остановились, то успели отбежать так далеко от хижины, что ее даже не было видно. Ни у кого не было охоты возвращаться назад. Быть может, с нашей стороны было несколько неосторожно всецело полагаться на индейца, в котором все мы были даже не совсем уверены и которого почти не знали. Мы сознавали это, но самолюбие мешало нам в этом признаться. Сускезус ни минуты не колебался относительно пути и вел нас лесом на северо-запад, направляясь, главным образом, по солнцу.

У нас были с собой наши компасы, и мы знали, что, идя прямо на северо-запад, мы должны выйти к озеру Жоржа, но я лично сильно сомневался, что с помощью компаса мы вышли бы туда так скоро и прямо, как с помощью этого индейца.

На первом из привалов мы как-раз рассуждали об этом. Мы шли безостановочно целых пять часов и теперь должны были передохнуть и утолить свой голод; по нашим расчетам, мы за это время прошли чуть не половину пути, который, по расчету онондагаса, равнялся приблизительно сорока милям.

— Говорят, что у индейцев нюх не хуже, чем у гончей,—сказал Гурт,—и я против этого не спорю. Но все же думаю, Корни, что компас более надежный путеводитель в лесах, чем все эти индейские приметы на коре деревьев, на загнутых прутьях кустов и тому подобное.

— Без сомнения, компас не может ошибиться в направлении, но узнайте, что было бы довольно скучно останавливаться каждые пять минут и сверяться с компасом да еще каждый раз дать ему время устояться!—возразил я.

— Ну, уж и каждые пять минут! Скажем: каждый час, много—каждые полчаса! Я готов побиться об заклад, что пройду по такой же прямой линии, нисколько не уклоняясь в сторону, как и любой индеец, руководствуясь только своим компасом.

Сускезус сидел неподалеку от нас и мог слышать наш разговор. Мне показалось даже, что я уловил на его лице пренебрежительную усмешку при последних хвастливых словах Гурта, но Сускезус не сказал ни слова. Покончив с ужином, мы встали и собрались в путь. Сускезус незаметно отступил за спину Гурта, как бы выжидая, чтобы тот пошел вперед.

— Ну, мы готовы, Бесследный,—сказал альбаниец.—Иди вперед, раз ты взялся вести нас!

— Нет,—промолвил индеец,—пусть теперь компас ведет нас! Сускезус ничего больше не видит, он слеп, как маленький щенок!

— А-а, ты захотел меня проверить. Ну, что же, я согласен! Теперь вы увидите, Корни, что такое компас!

И, достав из кармана свой компас, он установил его на ровном пне, выждал, когда игла совершенно успокоилась, затем наметил свое направление на дубу, стоявшем в пятистах шагах от того места, где мы находились, и, забрав свой компас, бодро пошел вперед. Мы следовали за ним; уверенный в том, что он идет в надлежащем направлении, Гурт не потрудился взглянуть на компас, поровнявшись с намеченным деревом, и наметил вдали другое. Так мы шли около получаса, и уже начинали верить, что Гурт окажется прав, потому что и мне казалось, что мы идем совершенно по прямой линии.

— Главное, это хорошо начать,—говорил Гурт,—а дальше уж оно само собой пойдет! Это—как и все почти в жизни: стоит только хорошо начать; что хорошо начинается, почти всегда хорошо и кончается! Правда, я лично в жизни нехорошо начал. Ну, что ты скажешь про компас, Сускезус?

— Посмотрите на него, и он вам скажет сам,—ответил индеец.

— Чорт возьми, да эта проклятая игла никогда не установится!—воскликнул Гурт, встряхивая в десятый раз свой компас, чтобы установить иглу на том месте, где он того желал.—Наверно, он испортился.

— Так возьмите другой! Возьмите все три разом!—сказал индеец.

Мы достали свои компасы и сверили их, но эти маленькие черти все согласовались между собой, и оказалось, что мы все время шли на юго-восток, вместо того, чтобы идти на северо-запад. Против очевидности нельзя было спорить. Мы, оказалось, вернулись назад вместо того, чтобы идти вперед. Но онондагас ни жестом, ни словом, ни выражением не проявил своего торжества; он стоял в стороне неподвижно, как мраморное

извятие, а когда ему предложили идти вперед, он молча пошел, не выразив при этом ни радости, ни удовольствия.

С этого момента мы стали быстро подвигаться вперед; затем мы стали как бы уклоняться к северу и перед закатом солнца увидели сквозь прогалину в лесу между стволами лежащее вдали озеро. По пути мы должны были взбираться на холмы, перебираться через ручьи и переправляться через речки, а теперь стояли на возвышенности; перед нами лежала прогалина, образовавшаяся оттого, что это скалистое место было из-за скудности почвы лишено растительности. Придя на эту прогалину, мы убедились, что здесь не раз устраивали свою стоянку индейцы. Следы их костров были ясно видны. Поблизости в скале был ключ с чудесной водой. Сускезус подошел напиться этой воды и заявил, что сегодня мы не пойдем дальше.

Теперь только, сбросив с себя спинные мешки и оставив в сторонке карабины, мы осмотрелись вокруг. Под ногами у нас, на расстоянии, быть может, тысячи шагов, лежало озеро, спокойное и прозрачное; мы находились на восточном его берегу; бесчисленное множество островов и островков удивительно разнообразили пейзаж. На южном берегу озера виднелась в лесу широкая просека и на ней руины; это были развалины форта Вилльям-Генри; около этих развалин раскинул свой лагерь Аберкромби со своим войском, самым многочисленным, какое только видела до этого времени Америка.

Сотни барок, шлюпок и баркасов, вмещавших по сорок и по пятьдесят человек солдат, прорезывали озеро во всех направлениях; несмотря на большое расстояние, не трудно было сообразить, что в английском лагере готовятся начать военные действия. Итак, Сускезус не обманул нас, и все, что он сообщил о намерениях Аберкромби, было совершенно верно. Эту ночь мы ночевали на скалистой возвышенности, и хотя удобства было мало, но я не помню, чтобы когда-нибудь спал лучше, чем в эту ночь. Я не просыпался до самого утра и очнулся, только почувствовав легкое прикосновение к моему плечу. Я раскрыл глаза и увидел Сускезуса, стоявшего надо мной. Впервые с тех пор, как я его знал, я заметил выражение радости или удовольствия на его лице. Никого, кроме меня, он не разбудил, и, когда я встал, он дал мне знак следовать за ним.

Великолепное зрелище открылось моим глазам. Вершины гор уже золотил восход, а низины все еще тонули в полумраке. Этот контраст пробуждения дня и последних следов ночи был поразителен. Но не ради этого разбудил меня онондагас; он жестом и глазами указал мне на развалины форта Вилльям-Генри, и я понял, что возбуждало в нем внимание. Видя, что я его понял, он воскликнул:

— Хорошо?!

Вся армия Аберкромби пришла уже в движение; все озеро было открыто судами и баркасами, перевозившими войска на северный берег озера. Последняя бригада только-что отчалила от берега.

Что же нам теперь делать, Сускезус?—спросил я.

— Прежде всего позавтракать!—спокойно ответил он.—Затем спуститься с горы.

— Но как мы попадем в ряды войск?

— Не спешите,—сказал индеец,—спешить придется, когда французы станут стрелять!

Слова эти, а главное, самый тон, каким они были произнесены, не понравились мне. Но теперь было не до того. Я позвал Дирка и Гурта, чтобы дать и им полюбоваться этим грандиозным зрелищем.

— Вот красивое зрелище!—сказал Тен-Эйк после довольно продолжительного молчания.—Я сожалею теперь, что потратил столько времени, бродя по лесам, когда наше место было там!

— Мы еще поспеем во-время: военные действия еще не начинались!—сказал я.

— Да, но я готов бы сейчас вплавь переплыть озеро, чтобы присоединиться к ним!

— Зачем вплавь?—сказал Сускезус.—У нас есть лодка!

— Лодка? Ты чародей, Сускезус, и мы, действительно, доверились умному человеку; когда тебе нужен будет друг, я всегда к твоим услугам!—горячо воскликнул Гурт.

Наскоро позавтракав, мы тотчас же пустились в путь. Дойдя до берега озера, мы действительно нашли лодку, которая легко могла вместить всех нас, и не теряя ни минуты, сели в нее и отчалили от берега.

В тот момент, когда мы выбрались из лабиринта маленьких островков, большой баркас, шедший впереди других, был не далеко от нас, так что с него нас можно было услышать. Тогда наш индеец принялся грести с удвоенной силой и стал махать рукой, подавая этим людям на баркасе дружеский знак. Через минуту мы подошли к баркасу, и я увидел Гоу, стоящего на носу.

## ГЛАВА XXI

В первый момент Гоу не узнал нас, но он так часто встречался с Гуртом Тен-Эйком в Альбани у старушки Скайлер, что не мог не узнать его тотчас же по голосу. Нас приняли радушно на баркасе, и мы, после обычных приветствий, поспешили осведомиться, где находится полк Бельстрода.

— Его полк в центре; он еще не скоро вступит в дело,—сказал вивонт,—мы авангард; за нами первая очередь.

Сускезус вернулся на берег. На нашем баркасе подняли паруса, и мы пошли значительно быстрее, так что к полудню рассчитывали высадиться на берег.

Гоу служил уже в немецких войсках и был не новичок в военном деле. Он был сосредоточен, хотя и не печален: очевидно, он сознавал всю серьезность лежащей на нем ответственности.

Когда авангард высадился на берег и подвезли несколько орудий, то французы сосредоточили в этом месте значительные силы, чтобы помешать нашей высадке. Но у них было мало артиллерии, и наша картечь расчистила нам вскоре дорогу. Правда, мы направили свою атаку не туда, где нас ожидали: по сигналу, данному нашим командиром, мы заняли берег и сумели удержаться на нем без серьезных потерь. Гурт, Дирк, Джен и я все время старались держаться как можно ближе к командиру, и по его приказанию наш отряд устремился вперед, тесня отступающего

неприятеля. Перестрелка была слабая, но мы все время подвигались вперед, по мере того, как французы отступали к Тикондероге.

Как только мы очистили берег от неприятеля, генерал Аберкромби высадил значительную часть своего войска и построил его в колонны. Четыре тысячи человек милиции были оставлены им для защиты судов; но еще далеко не все баркасы высадили свои команды, и те, на которых находились боевые припасы, еще были далеко от берега.

Неприятелем был оставлен у места высадки один батальон под прикрытием деревянного форта, но, видя, что наши силы слишком велики, офицер, командовавший этим батальоном, приказал зажечь форт и отступил в полном порядке. Мы продолжали подвигаться вперед, но отсутствие проводников и густой лес, не говоря уже о неровностях почвы, вскоре заставили разбиться наши ряды. Колонны смешались; все же наша колонна держалась наравне с передними рядами.

Вдруг впереди показались французские мундиры. Это был довольно значительный отряд, но и они, подобно нам, повидимому, шли наугад, не зная, куда им направляться. Пройти мимо нас без того, чтобы при этом не произошла стычка, они не могли, и, кто первый открыл огонь, они или мы, трудно сказать; стреляли те и другие. Мы четверо все вместе выпустили свои заряды и принуждены были остановиться, чтобы снова зарядить свои ружья. Только я успел вскинуть свой карабин к плечу, как заметил, что в голове нашей колонны произошло какое-то замешательство, и я увидел, что мимо нас пронесли в арьергард тело какого-то офицера. То был Гоу. Он упал при первом залпе неприятеля. Наш отряд бросился на французов.

Такого геройского пыла, какой проявил при этом Гурт Тен-Эйк, я никогда не видал; он совершенно преобразился. Он преследовал французов с яростью вплоть до самых их укреплений.

Когда нам пришлось вернуться назад, на нас напали индейцы, но Джек уложил троих прикладом своего ружья, Дирк убил наповал двоих, и это внушило врагам достаточно уважения, и они перестали нас преследовать. Кроме того, в милиции находился один партизан, Роджерс, командовавший отрядом стрелков на нашем левом фланге. Он быстро двинулся вперед, и индейцы, опасаясь быть окруженными, рассыпались и оставили нас в покое.

Аберкромби избрал для останова своих колонн на ночь место, находившееся в двух милях расстояния от передовых укреплений Тикондероги, неподалеку от озера. Необходимо было дожидаться прибытия артиллерии и боевых припасов, а также и провiantа. Кроме того, смерть Гоу произвела на всех удручающее впечатление.

Вернувшись в общий лагерь, мы отыскивали там майора Бельстрода; здесь нас приняли очень радушно.

Восьмого июля, ранним утром, был произведен смотр войскам, затем передовые отряды двинулись на приступ форта Пропер, защищавшего город и расположенного на маленьком полуострове и, таким образом, доступного всего только с одной стороны. Кавалерия здесь не могла пройти из-за условий почвы, и Бельстрод и другие командиры вынуждены были спешиться, ни одно орудие не могло быть подвезено сюда, так как единственная сторона, с которой можно было подойти к форту, была защищена

топким болотом, а там, где кончалось это болото, начинался деревянный парапет. Этот-то парапет и должны были взять два корпуса. Для защиты его французы установили батарею вдоль всего парапета; у нас же не было ни одного орудия, чтобы прикрывать наше наступление.

Говорят, что Аберкромби не посоветовался ни с одним из американских офицеров перед тем, как приказать атаковать форт. Впереди всех, в голове колонны, шли шотландские горцы, а непосредственно за ними двигался полк Бельстрода. Шотландцами командовал старый боевой офицер Гордон Грахам. Чтобы подойти на расстояние выстрела к парапету, потребовалось больше часа времени из-за топкого болота и частого леса, страшно затруднявших движение. Приказано было не открывать огня, а добежать до парапета и взять неприятеля в штыки. Наконец, голова колонны стала выходить из леса; перед тем, как выйти из-под прикрытия под неприятельский огонь, сделана была остановка, чтобы дать возможность всем подравняться и выстроиться в боевом порядке. Нас отделяли каких-нибудь шестьсот шагов от парапета, когда в наших рядах где-то на фланге раздался одинокий выстрел; это выстрелил Джек, пробравшийся стороной по болоту и убивший наповал французского офицера, вскочившего на парапет, чтобы произвести рекогносцировку.

Горцы медленно подвигались вперед, идя в ногу под звуки своего марша, когда по всей неприятельской линии пробежал огонь; град пуль и картечи засвистал в воздухе, неся смерть в наши ряды. Шотландцы на минуту смешались, но тотчас же оправились и продолжали двигаться вперед. Полк Бельстрода также пострадал; картечь свистала в воздухе, и мы видели, что впереди дерутся. Произошла бойня. В числе жертв пал старый Грахам. Затем каждый командир открывал огонь, как только представлялась возможность развернуться. Но неприятель навалил перед парапетом целые горы деревьев с порубленными сучьями и ветвями, так что образованием заграждения из рогаток, перейти которое в боевом порядке было невозможно, между тем французская артиллерия не прекращала огня по всей линии. Некоторые части вынуждены были отступить. Бой продолжался четыре часа; наши солдаты безрезультатно стреляли по неприятелю, который из-за своих прикрытий безнаказанно расстреливал наших.

Гурт все время держался в первых рядах и вскоре очутился в самой свалке. Мы побежали за ним, добежали до поваленных перед парапетом деревьев и засели там, скорчившись между ветвей; но когда наши отступили, мы остались одни, а когда огонь стал мало-помалу утихать, волею неволей пришлось решиться вернуться назад. Мы отступали осторожно, скрываясь за деревьями, но все же внимание неприятеля было привлечено выстрелами Гурта, который, отступая, продолжал стрелять; в продолжение нескольких минут пули жужжали вокруг нас, как рой пчел.

Джек не был с нами, и я не знал, где мне его найти; но, когда мы добрались до болота, я увидел его, тащившего за собой рослого индейца, навьюченного тремя карабинами. Это был его пленник; остальных же двух он уложил на месте, а ружья забрал. Вскоре мы узнали об отступлении по всей линии. Несмотря на превосходящую численность, мы были окончательно разбиты; раненых несли сотнями на баркасы и другие суда, стоявшие у берега; большинство же убитых было оставлено на поле сражения,

и в ту же ночь большинство судов отошло от берега, а остальные ушли на рассвете.

Так окончилась эта экспедиция 1758 года; на этот раз приходилось отказаться от возможности увидеть Монреаль и Квебек; в роковой день у нас было по меньшей мере десять тысяч человек под ружьем и больше половины из них были в деле. У неприятеля не было даже и пяти тысяч войска, рассеянного по частям во всех укреплениях, и из них стрельба по нас самая незначительная часть. Непростительной и роковой ошибкой было брать приступом пост, почти неприступный, не имея даже артиллерии для прикрытия наступления.

В этот ужасный день мы потеряли пятьсот сорок восемь человек убитыми и тысяча триста пятьдесят восемь ранеными. Полк Бельстрода сильно пострадал; сам Бельстрод был ранен, Биллинг убит, а Харрис получил огромный шрам от сабельного удара.

Подобного поражения никто не ожидал; люди садились на суда без разбора, все части вместе, и как только на судне не было больше мест, оно уходило, не дожидаясь никаких распоряжений; припасы и багаж бросали. Милиции, которая почти не была в деле, поручено было прикрывать отступление, то-есть посадку людей на суда. Мы же четверо, не считая пленника Джепа, с которым он никак не хотел расстаться, положительно не знали, что нам делать. Все, кто нам был знаком в войсках, были или ранены, или убиты. Мы не только не знали, что случилось с Бельстродом, но даже не могли разыскать его полка.

Не зная, на что решиться,—проситься ли на один из баркасов, отходивших сейчас, или дожидаться утра,—мы стояли и совещались у берега, как вдруг я услышал за спиной знакомый музыкальный голос, спрашивавший меня почти шопотом:

— Вы хотите уехать отсюда? С вас довольно этой забавы? Да?

Я оглянулся, за мной стоял Сускезус. Кругом кишела движущаяся толпа людей; одни проталкивались к берегу, другие возвращались за чем-нибудь, и среди этой движущейся толпы пробрался онндагас, никем не замеченный. Откуда он взялся? Как разыскал нас? Этого я не мог узнать даже и впоследствии.

— А ты можешь помочь нам уехать, Сускезус?—спросил я.

— Да, лодка здесь. Идите за мной!

Мы последовали за ним, и он повел нас прямо к французским укреплениям. На минуту у меня опять мелькнуло подозрение о предательстве, но оказалось, что Сускезус очень разумно выбрал уединенную бухточку, где и запрятал в камышах лодку.

Я высказал было опасение, что индейцы, союзники французов, могли напасть на нас в этом уединенном месте, чтобы воспользоваться наградой за скальпы, но онндагас поспешил успокоить нас.

— Нечего опасаться: теперь краснокожие собирают скальпы на поле сражения; там слишком много убитых, чтобы итти искать живых!—сказал он.

Однако в тот момент, когда мы уже садились в лодку, произошла непредвиденная задержка: наша лодка могла вместить только пять человек, шестого никак нельзя было захватить, а Джеп не хотел расстаться со своим пленником.

— Для краснокожего нет места,—заявил онндагас,—пятеро хорошо, шестеро дурно!

— Что же с ним делать?—спросил Гурт.

— Снять скальп,—спокойно ответил онндагас,—скальп прекрасный—длинный чуб, хороший скальп!

— Это хорошо для тебя, Сускезус, но нам это не годится! Мне думается, что всего лучше обезоружить его и пустить на волю!

— Обезоружить! Да он и так уже давно обезоружен, но он сию же минуту найдет себе оружие на поле битвы! Но делать больше нечего; надо его отпустить. Отпусти его, Джеп,—приказал я.

— Больно жалко, мистер Корни!—запротестовал негр, не желая лишиться своего военного трофея.

— Ну, нечего рассуждать: ты всех нас задерживаешь, развяжи его и пусти!

Джеп принялся медленно развязывать пленника. Дирк, Гурт и онндагас уже вошли в лодку, а я занес ногу, как услышал за собою сильные удары. Это Джеп концом веревки, которой был связан его пленник, бил индейца по спине. Индеец стоял неподвижно, не издавая ни малейшего звука, высокий, стройный и спокойный. Я выскочил из лодки, отбросил Джепа и развязал индейца.

## ГЛАВА XXII

Было около девяти часов вечера, когда мы отчалили от берега и поплыли вдоль восточного берега озера; уже свыше пятисот судов разного размера шли без всякого порядка, направляясь к форту Вильям-Генри. Ночь была безлунная, темная, кое-где только светились между туч робкие звезды. Целые вереницы судов шли медленно одним путем, точно в похоронной процессии; усталые солдаты едва шевелили веслами. Сотни и тысячи людей были кругом, и нигде не слышно было человеческого голоса. Только когда нам приходилось проходить мимо транспортов, на которых везли раненых, до нас доносились протяжные, монотонные, душу надрывающие стоны и вопли.

После нескольких часов плавания мы разбудили Джепа и заставили его сменить Сускезуса. Мы трое тоже время от времени брались за весла, затем дремали от усталости и снова сидели молча. Наконец, мы достигли узкого пролива, соединяющего Верхнее озеро с Нижним, где рассеяно множество островов, и суда проходили так близко один около другого, что можно было держаться борт о борт ближайшего из них.

— Эй! Кто там в лодке из коры?—крикнул вдруг офицер, стоявший на носу этого судна.

— Мы волонтеры, прибывшие для того, чтобы стать под начальство майора Бельстрода! Не можете ли вы нам сказать, где он находится в настоящее время? Мы не могли после отступления разыскать даже его полка!

— Бедняга Бельстрод! Я видел, как его отнесли в аррьергард! Да, теперь он долго не сможет ни ходить, ни ездить верхом, если только вообще удастся сохранить ему ногу. Его отправили на первом судне,

которое пошло на ту сторону, а там он намеревался приказать отнести себя в дом одного из своих друзей и там лечить свою рану, миновав летучий санитарный отряд и походные лазареты. Ну, а мне, вероятно, придется расстаться с этой рукой, как только мы высадимся в форте Вильям-Генри, и когда я избавлюсь от нее, то охотно составил бы Бельстроду компанию, потому что этот человек всегда умеет отыскать себе уютное местечко. Простите, что задержал; ваша лодка ввела меня в заблуждение; я хотел убедиться, не выслеживают ли нас неприятельские шпионы.

Итак, Бельстрод решил заставить перевести себя в „Воронье Гнездо“, где мог рассчитывать на более радушный прием, на лучший и более заботливый уход. Признаюсь, я в душе позавидовал ему: я пожалел, что не был серьезно ранен, чтобы, подобно ему, иметь право вернуться к Аннеке и позволить ей ухаживать за мной.

Мы шли значительно быстрее больших судов и потому опережали их одно за другим. На носу одного из них стоял офицер, еще молодой, и зорко наблюдал за нашей лодкой.

— Куда вы так спешите?—крикнул он нам.—Или вы боитесь, что кто-нибудь успеет раньше вас принести дурные вести?

— Вы ошибаетесь! Мы совсем не хотим быть первыми вестниками нашей неудачи.

— Ах, вы были волонтерами!—воскликнул офицер, почтительно раскланиваясь.—Не вы ли были подле Гоу в то время, как он был убит? Да? Надеюсь, мы с вами ближе познакомимся; поверьте, капитан Чарльз Ли будет очень рад позвать вам руку, как только мы вернемся в лагерь!

В этот момент Сускезус сильным ударом весла пригнал лодку к берегу одного из островков и положил конец нашему разговору. Скользя, как змея, между мелкими островками, наша маленькая лодка быстро уходила вперед, и вскоре он высадил нас на том самом месте, где пять дней тому назад мы сели в его лодку.

Привязав свою лодку, чтобы ее не унесло, индеец повел нас на ту самую скалистую возвышенность, где мы тогда ночевали. Когда мы добрались до вершины, уже начинал загораться восход. Открывающаяся теперь отсюда панорама была почти та же, но впечатление, вызываемое ею, было совсем иное. Как и тогда, до тысячи судов виднелось на гладкой поверхности озера и вплоть до мыса у форта Вильям-Генри. Но эта бесконечная вереница судов шла теперь вразброд, без всякого порядка, без музыки, как тогда, без весело развевающихся знамен; глядя на эти черные точки, я невольно представлял себе весь ужас, все страдания, какие теперь отражались на лицах всех этих сотен людей, плывших на судах.

Придя на вершину скалистой возвышенности, онондагас приказал Джепу развести большой костер, а сам принес из потайного местечка кое-какие припасы, из которых можно было приготовить для всех сытный завтрак. Так как все мы ничего не ели со вчерашнего утра, то очень обрадовались этому завтраку, а утолив голод, стали совещаться, что нам теперь делать, итти ли прямо в „Воронье Гнездо“ или раньше зайти в Мусридж и посмотреть, что там делается.

— Опасаться преследования со стороны французов нечего,—сказал я,—так как все их суда на другой стороне озера, а состояние страны—то же, что и до ухода армии!

— Во всяком случае, надо спросить совета индейца!—сказал Дирк.

— Черногожий сделал глупость!—сказал вместо ответа онондагас.

— Что я такое сделал, красный чорт?—накинулся на Сускезуса Джеп.—Что я такое сделал?

— Скажи, Сускезус,—что же он, в самом деле, сделал?—спросил я, видя, что индеец не собирался отвечать моему негру и сохранил такой вид, словно он ничего не слышал.

— Он избил краснокожего воина, как собаку!

— Сускезус,—обратился я к индейцу,—объясни, в чем дело! Я хочу знать!

— Мускеруск вождь, а вождь гурунов никогда не забывает того, кто его оскорбил!

— Но твой гурун едва ли сумеет разыскать нас; он, естественно, будет думать, что мы остались при войске, и если он вздумает нас там разыскивать, то, конечно, не найдет!

— Как знать? Леса полны тропинок, а индеец умен! Зачем вы упоминали о „Вороньем гнезде“?

— А разве кто-нибудь произнес это название в присутствии гуруна?—спросил я, более встревоженный этим, чем всем остальным.

— Да, кто-то что-то сказал о нем, но так вскользь, что едва ли этот гурун мог что-нибудь сообразить,—заметил Гурт небрежно.—А впрочем, пусть только вернется, если хочет, мы ему покажем!

Но это было неразумное рассуждение; мое воображение невольно рисовало мне Аннеке, подвергшуюся мести индейца.

— Я послал бы вас, Сускезус, к этому гуруну,—сказал я,—если бы вы могли мне сказать, за какую цену он согласится продать нам свое прощение!

Онондагас взглянул на меня многозначительно, затем, приблизившись к Джепу, описал пальцем на его голове линию скальпа. Джеп понял значение этого выразительного жеста и посмотрел на индейца с таким выражением, с каким бульдог смотрит, скаля зубы, на свою жертву, которой он готовится вцепиться в горло. Видя это, я приказал Джепу итти собирать вещи и тогда предложить Сускезусу высказаться определеннее.

— Вы знаете индейцев; они теперь считают англичан разбитыми и повсюду ищут скальпов; они любят всякие скальпы, мужские, женские, детские, потому что все они оплачиваются деньгами и приносят честь!

— Так ты думаешь, что эти французские индейцы проберутся даже сюда, к нашим поселениям?

— Они пойдут, где ближе; остальное им безразлично; ближе всех ваш друг. Но это вам не желательно, не так ли?

— Конечно! А потому проводите нас ближайшим путем в „Воронье Гнездо“. Это укрепленное жилище, где живут особы, которые нам дороже нас самих!—проговорил Гурт.

Сускезус едва заметно усмехнулся.

— Да, та сквау не дурна,—сказал он снисходительно,—я понимаю, что молодому человеку она нравится; но нам нельзя теперь итти туда;



надо раньше разыскать друзей, которые меряют землю, ту землю, что раньше принадлежала индейцам!

Это последнее замечание не понравилось мне; оно было, несомненно, вызвано какой-то мыслью, зародившейся в мозгу индейца, которую я считал нужным разъяснить.

— Да, эта земля принадлежала индейцам, — сказал я. — Но ведь мой отец и полковник Фоллок, его друг, купили эти земли у могауков и уплатили им за них полностью, сколько те потребовали.

— Краснокожие никогда так не отмеряют землю, — сказал онондагас, — краснокожий указывает рукой, срубает кусты или ветви и говорит: вот бери от этой воды до этой, земля твоя.

— Да, ты прав, мой друг. Так делают индейцы, но так как этот способ не пригоден для разделения на отдельные, обособленные фермы, то нам нужно разбить всю эту землю на мелкие участки. Могауки уступили моему отцу и его другу всю землю, которую они могли обойти в течение двух суток, идя от восхода до захода солнца и отдыхая ночью.

— Да, это доброе дело! — воскликнул индеец. — Нога не может обмануть, а перо — обманщик!

— Индейцы сами пошли обходить с отцом и его другом землю, и, когда вожди засвидетельствовали договор и получили выговоренную уплату, мой отец и его друг стали хлопотать об утверждении за ними этой концессии у правительства.

— А кто дал правительству эту землю? Вся эта земля принадлежит индейцам!

— А кто обратил делаваров в женщин? — спросил я. — Не войны ли шести народов?

— Да, мы им помогли, — сказал Сускезус, — войны шести народов велики и могучи, они надели на делаваров юбки, и с тех пор делавары не могут ступить на тропу войны, как и сквау. Но что у них общего с землей?

— А вот что. Наши войны завоевали эту всю землю точно так же, как войны шести народов завоевали землю делаваров, прежде чем обратили их в женщин.

— А где же они, эти войны? Куда они делись? — спросил Сускезус живо. — Куда же они бежали? Где теперь земля Тикондероги? Чья теперь вся земля по ту сторону озера?

— Мы потерпели поражение, да! Но за один месяц, за один день все может измениться, и мы можем вернуть себе все эти земли. Ведь мы не продали Тикондерогу французам, как могауки продали нам Мусридж; не заключали с ними договора; они были сильнее или счастливее и отняли; мы будем счастливее и назад отнимем. Торг же — дело другое.

— Да, торг хорош и для краснокожих, хорош и для бледнолицего человека. Но как могли и могауки, и правительство продать одну и ту же землю?

На этом мы и покончили наш разговор...

— Онондагас полагает, что французские индейцы могут напасть на „Воронье Гнездо“, но, с другой стороны, он считает, что нам следует прежде вернуться в Мусридж.

— Зачем? — спросил Гурт.

— У землемеров такой же скальп, как и у сквау! — сказал Сускезус.

— Ты прав, но я думал, что наши землемеры в лесу ничем не рискуют! Кто их разыщет, кто выдаст? — спросил Дирк.

— Убейте в лесу дичь и оставьте. Разве вороны не разыщут ее? — возразил онондагас.

— Но ворон руководится своим инстинктом, своим чутьем хищника, он летает в воздухе и видит издалека.

— Индеец видит дальше! Он знает все в лесу! Нет того, чего бы не знал индеец.

— Во всяком случае, — сказал Гурт, — надо следовать его совету. Сколько раз приходится слышать о страшных несчастиях, происшедших оттого, что не хотели послушать совета индейца. Я убежден, что если бы Аберкромби спросил совета краснокожих, он был бы сегодня победителем.

Сускезус поднял палец вверх и произнес:

— Почему не открыть слух для слов краснокожего человека? Птицы поют хорошую песню, другие птицы поют худую песню, но каждая птица знает свою песню. Воины могауки знают леса и знают, что надо идти в обход, когда идешь по военной тропе. Английский вождь, верно, думал, что у его воинов две жизни, что поставил их под карабины и пушки и заставил стоять, чтобы их убивали. Индейцы так глупо никогда не поступают.

Что можно было на это возразить? Не тратя слов, я заявил, что мы все готовы идти в Мусридж, как он нам советовал, и Сускезус встал и пошел вперед, идя тем самым путем, каким он привел нас сюда.

Гурт шел впереди меня, и я не мог не залюбоваться его крупной фигурой, его силой и ловкостью, его легкостью и подвижностью.

Солнце близилось к закату, когда мы достигли пограничной линии Мусриджа. Руководствуясь зарубками, сделанными на деревьях, мы по прямой линии направились к хижине. Немного не доходя, Сускезус попросил нас остановиться и пошел сам вперед на разведки. Вскоре он позвал нас, и, дойдя до жилища, мы нашли его в том виде, в каком оставили; но никого не было видно. Быть может, землемеры ушли куда-нибудь далеко на работу и ночевали в лесу, а Петер пошел с ними. Мы вошли в хижину, она была пуста; но все было на своем месте. Джек принялся готовить ужин.

В ответ на высказанное предположение об отсутствии землемера и Петера Сускезус сказал:

— Зачем гадать? Я увижу! Еще светло, есть время; я вам скажу верно! — и он вышел из дома.

## ГЛАВА XXIII

Любопытство побудило меня последовать за Сускезусом. Спустившись с холма в долину, он стал изучать следы на мягкой траве и опавшем листе, закрывавшем землю густым слоем. Обойдя вокруг дома, держась в трехстах шагах расстояния от него, он вдруг остановился, прилег на землю, затем встал и воткнул сломанную ветвь в том месте, где стоял.

— Что ты здесь видишь, Сускезус?—спросил я.—Разве здесь есть какой-нибудь след?

— Хороший след, свежий след, пахнет гуроном!

Это открытие заставило меня вздрогнуть.

— Я ничего не вижу!—сказал я.

— Вот,—сказал он, указывая пальцем на легкий отпечаток на слое опавшей листвы,—это пятка, а вот большой палец.

— Пусть так! Но почему же ты думаешь, что это след гурона?

— А вот! Один, другой, третий такой же след; все на равном расстоянии друг от друга; одна нога, другая, опять и опять.

— Да, я готов согласиться, что это человеческий след, но и наши носят мокасины, как и краснокожие?

— А большой палец, обращенный внутрь? Это не след бледнолицего!

— Это верно, но не все индейцы гуроны! Откуда мог взяться этот гурон тотчас после битвы, когда все они были там под Тикондерогою, а между ними и Мусриджем лежало озеро? Они никак не могли успеть обойти его.

— Вы не знаете краснокожих!—отвечал Сускезус.—Это след гурона.

— Но не могли же гуроны менее чем в двадцать четыре часа пройти расстояние в семьдесят миль!

— А мы прошли?

— Да, но мы большую часть пути сделали в лодке, а гуронам надо было пройти все пешком.

— Зачем? Гурон гребет не хуже онондагаса; лодок много! Озеро велико. Почему они не могли ехать в лодке?

— Но ведь озеро было покрыто английскими судами!

— Английскими судами, на которых везли раненых или беглецов! Разве гурон их побоятся? А судов что ему бояться? Суда ни глаз, ни ушей не имеют, суда не убивают!

— Нет, но те, что были на них, могли и видеть, и слышать, и убить, и окликнуть чужую, незнакомую лодку?

— А моя лодка тоже была чужая, и прошла!

Несомненно, и лодка с несколькими гуронами могла пройти несравненно быстрее, чем наша, на которой была всего одна пара весел; возможно было, что, высадившись у форта Вильям-Генри, индейцы могли притти сюда раньше нас. Но как могли они найти сюда дорогу? Как могли они отыскать нашу хижину?

Эти вопросы я повторил нашему онондагасу.

— Вы не знаете индейцев,—сказал он опять.—Видели вы коня, павшего в лесу? Когда он пал, воронов не было, а потом их слетелась целая туча. Так и индейцы. Теперь везут раненых. Индеец сторожит в лесу, ему нужны скальпы; он их любит. Теперь весь лес полон гурами до самого Альбани. У англичанина сердце упало низко—у индейца оно теперь прыгает высоко. Скальпы—это так заманчиво. Они только об этом и думают!

Гурт и Дирк уже принялись за ужин; я, войдя в хижину, сел с ними.

За ужином я сообщил товарищам об открытии онондагаса.

— Если здесь недавно были гуроны, то все же хитрецы не тронули здесь ни одной былинки; нет ничего невозможного, что они теперь бродят

здесь повсюду, рассчитывая добыть скальпы в маленьких отрядах, конвоирующих раненых офицеров!

— Если так, то Бельстрод рискует попасть им в руки!

— Я надеюсь, что его уже успели доставить в „Воронье Гнездо“, где он будет в безопасности! Во всяком случае, такой опытный краснокожий, как наш онондагас, едва ли ошибается.

— Теперь уж слишком поздно итти куда-нибудь,—сказал Дирк,—придется заночевать здесь.

Было уже почти совсем темно, и мы, посоветовавшись с онондагасом, решили переночевать в хижине. Мы крепко забаррикадировали дверь.

Не прошло получаса, как все мы спали крепким сном. Мы улеглись в девять часов вечера, а в два часа ночи Сускезус осторожно разбудил меня. Несмотря на то, что в хижине еще было совсем темно, я все-таки увидел, что индеец уже был на ногах; все остальные спали.

Разбаррикадовав дверь, он вышел, пригласив меня следовать за собой. Тщательно заперев снова дверь, я вышел за онондагасом, который, отойдя шагов пятнадцать или двадцать от жилища, остановился.

— Здесь хорошее место,—сказал он,—раскройте свои уши!

Но кругом было тихо и темно; казалось, ничто не шелохнется под этими темными сводами девственного леса.

— Я ничего не слышу!—шепнул я Сускезусу.

— Скоро услышите: я лежал и вдруг услышал дважды, а теперь услышите и вы!

Действительно, почти в тот же момент услышал и я страшный человеческий крик, крик, леденящий душу, которого я никогда не мог забыть. Вопль, протяжный стон, в котором можно было различить слово: „спасите“.

— Кто-то зовет на помощь! Разбудим товарищей и поспешим на помощь!

— Пойдемте,—сказал онондагас,—но звать никого не надо! Двос лучше, чем четверо... Подождите минуту!

Я ждал, напрягая слух, пока Сускезус сбегал в хижину и вернулся оттуда с нашими карабинами, затем легким, неслышным шагом, едва касаясь земли, быстро, но осторожно пошел по направлению к юго-западу, откуда донесся крик.

Онондагас просил меня избегать малейшего шума. Я не в состоянии был говорить, до того был взволнован и встревожен; я старался ступать след в след за своим проводником. Так мы прошли с полмили. Сускезус остановился и шепнул:

— Здесь недалеко где-то, подождем!

Мы притаились под ветвями трех молодых елей, настолько густых, что в десяти шагах нас под ними нельзя было заметить. Мы присели с ним на ствол упавшего дерева, и, заметив, что индеец держит курок на взводе, я последовал его примеру.

— Хорошо!—одобрил Сускезус.—Теперь слушайте!

Почти в тот же момент я услышал слабый, подавленный стон, ясно говоривший о человеческих страданиях. Я хотел вскочить и броситься на помощь, но Сускезус силой удержал меня.

— Ничего сделать нельзя, оставаться смиренно! Воин знает, когда надо действовать и когда не надо шевелиться!

— Но разве ты не слышал этого стога? Человек мучается вблизи нас!

— Ну, и что же? Бледнолицые всегда стонут, и страдания всегда вырывают у них вопли.

— Так ты думаешь, что это бледнолицый, может быть кто-нибудь из наших? Если я еще раз услышу стон, я не выдержу!

— Зачем вести себя, как сквау? Что такое несколько стонов? Индеец никогда не издает ни стога, ни жалоб на тропе войны!

Я готов был крикнуть, сорваться и спешить на помощь, но Сускезус зорко следил за мной и силой удержал меня. Трижды слышал я этот страшный стон, все слабее и слабее, и последний, как мне казалось, раздавался совсем близко от меня; раз мне даже послышалось слово „воды“.

Два мучительных, невыносимо мучительных часа просидели мы на стволе упавшего дерева, дожидаясь рассвета. Наконец, слабый свет проник сквозь густую листву деревьев, и явилась возможность разглядеть предметы вокруг себя. Сускезус, прежде чем выйти из-под прикрытия, осторожно огляделся кругом, затем высунул голову вперед, и вдруг из его уст вылетело чуть слышное восклицание „хуг“, обычное у индейцев.

Из этого я заключил, что он увидел что-то необычайное; я вылез за ним из-под елей, и он молча указал мне рукой, в каком направлении следовало смотреть. Какое страшное, возмутительное зрелище представало в этот момент моим глазам! Верхушки двух молодых сосен были силою согнуты книзу, и к каждой из них была привязана одна из рук несчастного, после чего верхушки выпустили, и жертва повисла в воздухе на высоте более пятнадцати футов над землей. Он был уже мертв, но когда его распинали, он был еще жив, и это его стоны раздирали мне душу. Он висел ко мне спиной, и я не мог видеть его лица. Кроме того, из головы его обильно лилась кровь: он был скальпирован.

— Вы видите, гуроны были здесь!—сказал Сускезус и указал мне на обнаженную часть ноги повешенного: нога эта была ногой чернокожего.

Я обежал и заглянул в лицо несчастного. Это был Петер, негр Тен-Эйка. Какими судьбами он попал в руки гуронов,—в хижине, застигнутый ими врасплох, или в лесу, когда он нес провизию землемерам,—так и осталось неизвестным.

— Дай мне сюда твой томагавк!—сказал я, как только успел побороть чувство ужаса и отвращения при виде такого зверства.—Я срублю эти сосны, чтобы освободить беднягу!

— Зачем?—возразил онондагас.—Так ему лучше: ни зверь, ни кабан не доберутся до него! Здесь оставаться нехорошо! Сосчитаем гуронов и уйдем!—сказал онондагас.

„Как их сосчитать,—подумал я,—когда даже и след их простыл?“

В двадцати шагах от сосен мы нашли обе крытых корзинки, в которых Петер носил припасы землемерам, они были обе пусты, но нигде не было видно ни крошек, ни объедков. Между тем, Сускезус нашел доказательства, что Петер сидел под деревом и, очевидно, был здесь захвачен гуронами, что между ними завязалась недолгая борьба: на траве и листьях видны были следы крови от этого места под деревом и до двух сосен. Значит, он был ими ранен или убит раньше, чем был распят.

Но не это интересовало Сускезуса: для него было особенно важно определить число гуронов.

— Надо спешить назад! А то, пожалуй, товарищей могут застигнуть спящими, врасплох! Гуронов здесь было четыре или пять человек, которые, вероятно, отделались от главного отряда.

Когда мы подошли к хижине, было уже совершенно светло, и я увидел Джепа, преспокойно полоскавшего свои кастрюли в ручье. Гурт и Дирк, вероятно, еще спали, так как их нигде не было видно. С той возвышенности, на которой мы стояли, можно было видеть очень далеко, так как вокруг хижины место на большом расстоянии было открытое, и это являлось большим преимуществом местоположения для жилья; к нему днем нельзя было ниоткуда подойти незаметно.

Как я и ожидал, оба друга мои крепко спали, и, когда я разбудил их и рассказал, что мы видели, они были глубоко потрясены.

— Я не смею ничего сказать в данном случае, Литтльпэджд, но мне кажется, что было бы и безопаснее, и рассудительнее разбудить и нас и итти всем вместе! Теперь не будем расставаться ни в каком случае!

Не успел он договорить этих слов, как наше внимание было привлечено ударами топора в лесу; быстро вооружившись, мы выбежали из хижины и увидели Джепа, который возвращался домой, таща на себе тело покойного Петера. Общими силами мы вырыли для него могилу и схоронили его тут же в лесу, а могилу завалили двумя большими стволами недавно срубленных деревьев.

Схоронив несчастного, мы позавтракали и стали совещаться, что делать.

Решено было, прежде всего, итти разыскивать наших землемеров. Как всегда, Сускезус шел впереди: сначала мы думали было разрядить в воздухе наши ружья, чтобы дать разыскиваемым знать, что мы их ищем, но Сускезус воспротивился, так как мы могли этим выдать себя врагу. Он, конечно, был прав, и мы согласились с ним.

## ГЛАВА XXIV

Вскоре мы пришли в ту часть леса, где землемеры уже работали, и по их зарубкам на деревьях без труда пришли к тому участку, на котором они работали в настоящее время. Часа полтора мы шли быстрым ходом, предводительствуемые Сускезусом, как вдруг он сразу остановился и тотчас же спрятался за дерево; мы последовали его примеру.

— Что такое, Сускезус?—спросил Гурт.

— Нехорошо! Здесь были войны! Быть может, они ушли, а может, и не ушли! Скоро увидите! Раскройте глаза и смотрите!

Мы посмотрели в ту сторону, куда он указал нам рукой, и увидели шагах в трехстах от нас большое каштановое дерево; под ним в траве виднелись чьи-то ноги, как-будто человек лежал на спине и спал. Мокассины и онучи были, как у индейца, но на таком расстоянии трудно было различить, были ли это ноги индейца или белого.

— Чьи это ноги?—спросил Гурт краснокожего.

— Не знаю, но думаю—скорее бледнолицего: нога жирная, толстая, а у краснокожего—сухая, жилистая.

— Если это индеец,—сказал Гурт,—я сделаю его своим пленником, прежде чем он успеет вскочить, а если белый, то это кто-нибудь из наших.

Онндагас, вероятно, успел за это время убедиться, что серьезной опасности нет, и не противился, а только сказал:

— Пойдемте все вместе!

Он быстро зашагал по направлению к большому каштану. Подойдя ближе, мы разом узнали Сама, одного из наших охотников, лежащего на спине: он был мертв; в груди его была большая широкая рана, нанесенная ножом; и с него также был снят скальп.

Сускезус, осмотрев труп, уверенно сказал:

— Он был убит в эту ночь!

— Как видите, друзья,—сказал Гурт,—смерть приходит без предупреждения! Несомненно, индейцы прошли здесь, а потому мы должны охранять друг друга, как овчарка своих овец. Будем помнить, что жизнь—ненадежная вещь, а смерть—дело верное! Сам, быть может, всего на несколько дней опередил нас.

— Гурон сделал это недаром,—заметил Сускезус.—Видели вы разницу? Сама они не распяли, не мучили, а просто убили честным ударом в грудь!

— Да, но почему? Быть может, негр раздражил их?

— Мускеруск—великий вождь; спина у него горит от ударов. Я его знаю: он не любит хлыста! Ни один индеец не любит, не терпит! Ни один...

— Так ты думаешь, Сускезус, что бывший пленник Джепа приложил здесь руку? И что военная тропа так же открыта и для личной мести, как и для общественных интересов всего племени?.. Что гурон преследует нас и охотится за нами не столько ради добывания скальпов, сколько ради того, чтобы залечить рубцы на спине.

— Несомненно! Три лодки переправились через озеро! Это Мускеруск, я его знаю! Он не будет спать, пока не заживет его спина. Вы видели, что он сделал с негром? А бледнолицего он просто убил, чтобы взять его скальп!

— Так ты думаешь, что жестокая участь постигла Петера только потому, что он был негр, и за то, что другой негр побил гурона?

— Да! и это справедливо! Это полезно для его спины; ей стало легче! Повесить обидчика очень полезно для спины; Джеп это рано или поздно увидит!

Но Джеп был на редкость смел, и запугать его было положительно невозможно. Однако, на этот раз я заметил, что черномазое лицо его посерело, как это бывает в сильные морозы. Очевидно, слова „Бесследного“ произвели на него впечатление, и он понял, что ему следует постоянно быть настороже.

— Надеюсь, мистер Корни, что вы не верите не единому слову из того, что говорит этот индеец?—обратился он ко мне.

— Напротив, Джеп, я ему вполне верю и говорю тебе: будь осторожен! Ведь, если тебе случится попасть в руки твоего приятеля Мускеруска, то с тобой будет еще хуже, чем с Петером! Пусть же это тебе послужит уроком!

Разговаривая, мы незаметно отошли приблизительно две мили от того места, где был убит Сам, как вдруг онндагас, поднявшись первым на небольшой холм, замахал рукой в воздухе, давая нам понять, что опять сделал како-то открытие. На этот раз, судя по его жесту, можно было предположить скорее хорошее, чем дурное. Так как он при этом остановился, то мы вскоре подошли к нему и тогда увидели то, что вызвало его движение.

От того места, где мы стояли, почва спускалась пологим склоном вниз, и так как деревья здесь были очень высоки, с гладкими стволами без нижних ветвей, то ничто не мешало видеть далеко вперед. Ручей сбегал вниз с горы, вытекая из небольшой скалы, а внизу, у ручья, расположившись полукругом, сидели Траверс и его два помощника и, повиdimому, ужинали или только-что отужинали, так как перед ними еще лежали остатки пищи, а Том, другой наш охотник, сопровождавший их, лежал немного поодаль.

— Здесь даже не было и переполоха,—сказал Гурт,—их не тревожили даже. Мы успели еще во-время, чтобы предупредить их об опасности! Я им крикну сейчас.

— Не кричите,—поспешил остановить его Сускезус,—шум ни к чему хорошему не ведет. Подойдите совсем близко и говорите шопотом!

Так как совет этот был разумным, то мы пошли все вместе к bivуаку. Но вдруг мне бросилось в глаза, что все они были совершенно неподвижны, и жуткое чувство овладело мной.

— Мы пришли слишком поздно!—воскликнул Гурт.

Только одного Прыгуна нигде не было; его одного мы еще не успели разыскать.

Все эти несчастные были убиты из ружья, и на этот раз я впервые заподозрил в предательстве Прыгуна и, не задумываясь, высказал свое подозрение товарищам.

— Ошибаетесь,—сказал Сускезус с уверенностью.—Прыгун—бедный индеец, это правда! Прыгун любит ром, но он не продает друзей. Мускеруск—тот воин, который мстит за себя, а Прыгун любит ром, но он хороший индеец.

Но где же он сам? Из всех оставленных нами здесь людей его одного мы не могли доискаться. Мы повсюду искали его тело, но его не было. Сускезус произвел тщательный осмотр трупов и местности и заявил, что землемер и его товарищи убиты всего три или четыре часа тому назад, и что убийцы ушли отсюда не больше получаса тому назад.

Решено было, по совету Сускезуса, идти по следам гурунов, так как это было вернейшее средство не быть настигнутыми ими врасплох и скорее подкараулить их самих, чем оказаться подкарауленными.

Сускезус без труда шел по свежему следу гурунов. Как он полагал, их было человек двенадцать, но, как все индейцы, находящиеся на военной тропе, они шли осмотрительно, маскируя следы тем, что ступали все один в след другого с математической точностью и аккуратностью, остерегаясь погнуть ветку, или сломать прут.

Первое время след шел по направлению к „Воровьему Гнезду“, а затем уклонился в сторону нашей хижины. Таким образом, мы вскоре

вышли на свой собственный след. По счастью, индейцы не напали на него, иначе они вернулись бы по нем и напали на нас с тыла. Теперь же мы оказывались в тылу у них и, сознавая, что всякая опасность может нам угрожать только впереди, зорко смотрели вперед и чувствовали себя сравнительно спокойно.

Мы шли очень быстро, но в полном безмолвии. Никогда еще мы не шли так механически послушно за своим предводителем, как теперь, и едва ондагас снимал со следа ногу, как я ставил на ее место мою, а за мной проделывали то же самое Гурт, Дирк и Джеп.

След привел нас к самой хижине, куда мы пришли около полудня. Опасаясь засады, мы соблюдали величайшую осторожность. Не доходя до дома, след уклонился на запад, шагах в трехстах от хижины, которая с этого места была видна, как на ладони. На этом месте, очевидно, происходило совещание. Предоставив нам разыскивать след ближе к дому, Сускезус сам обошел кругом, желая убедиться, не сделали ли индейцы обхода, чтобы подойти к дому с другой стороны; но оказалось, что след вел по прямой линии к „Вороньему Гнезду“.

Но Сускезус не удовольствовался этим; он знал, что опытные индейцы часто оставляют заметный видимый след лишь для того, чтобы обмануть и ввести в заблуждение. Зная лично Мускеруска, ондагас создал, что имеет дело с врагом искусным, коварным и опытным. Чтобы подойти ближе к хижине, Сускезус приказал каждому из нас выбрать себе дерево, за которым он мог бы спрятаться, и, наметив из-за него другое дерево, с быстротою молнии перебежать из-за этого дерева к другому, приближаясь таким способом постепенно к дому.

Через десять минут мы были в двадцати шагах от хижины. Наконец, Гурт оказался не в состоянии выдержать еще дольше и, выйдя из-за своего прикрытия, решительным шагом пошел к двери и ударом ноги раскрыл ее настежь. В хижине никого не было; Сускезус обошел ее со всех сторон, затем выразил свою уверенность в том, что после нашего ухода никто сюда не заходил. Это нас очень обрадовало, так как иначе они могли бы узнать о нашем возвращении.

Теперь нам предстояло решить, что делать дальше. Оставаться здесь было опасно и бесполезно.

Следовало попытаться добраться до „Вороньего Гнезда“, хотя это было очень рискованно. Обсуждая все эти вопросы, те из нас, кто был в состоянии что-нибудь съесть, утоляли свой голод. Индеец, находясь на военной тропе, умеет и есть, и голодать, смотря по обстоятельствам, и в этом отношении остается только удивляться, как эти люди умеют повелевать своими потребностями.

Пока Сускезус и Джеп усердно поедали все, что было в их распоряжении, а мы заставляли себя ради предосторожности проглотить что-нибудь, чтобы не слишком отошать в пути, я увидел человеческую фигуру, осторожно подкрадывавшуюся между деревьями к дому. В первую минуту я молча указал ондагасу на нее, но, вероятно, он увидел ее еще раньше меня и, продолжая жевать свой ужин, только одобрительно кивнув головой, проговорил:

— Хорошо! Теперь услышим новости: Прыгун пришел.

Действительно, это был Прыгун. Увидев его целым и невредимым, мы невольно вскрикнули от радости. Как и все индейцы, он не поздоровался с нами, а преспокойно и молча уселся тут же среди нас, ожидая расспросов.

— Хорошо, друг мой, что ты вернулся!—воскликнул Гурт.—Добро пожаловать! Хотя тебе-то эти гуроны не причинили зла.

— Гуронов в лесу много! Все леса полны... Бледнолицый из форта прислал меня с вестями!—и Прыгун принялся разворачивать край своей рубахи, в которой у него были завернуты четыре письма: одно для меня, другое для Дирка, третье для Гурта и четвертое, писанное рукою Германа Мордаунта, бедному Траверсу.

Вот содержание моего письма:

„Мой отец так занят, что поручил мне написать вам это письмо. Бельстрод вчера прислал нарочного сообщить нам печальные вести о войне и известить нас о его скором прибытии. Мы ждем его сегодня: ходят слухи, что индейцы показались в лесах. У нас принимают всякие меры предосторожности. Отец очень много хлопочет; он просит вас настоятельно собрать всех ваших и безотлагательно спешить к нам. От посланца Бельстрода мы узнали о вашем геройском поведении во время сражения и о том, что вам удалось выйти из боя невредимым, о чем Бельстрод узнал от мистера Ли, человека крайне оригинального по своему характеру, но и весьма талантливого, как говорит мой отец, который его знает. Надеюсь, что это письмо застанет вас уже в Мусридже, и что мы без промедления увидим всех вас у себя.

Аннеке“.

При этом письме была еще маленькая приписка в которую обычно женщины, как утверждают, вкладывают самую суть своего письма. Вот эта приписка.

„Милый Корни! Мы уже раз пережили с вами вместе ужасные минуты, и если суждено вновь пережить что-либо подобное, то для меня было бы большим утешением видеть вас возле себя, за стенами нашего укрепленного дома, а не знать, что вы в лесу подвергаетесь ежеминутно страшной опасности нападения. Спешите же, прошу вас, как можно скорее сюда!“.

И эта приписка была для меня много отраднее самого письма.

Мы быстро вышли из дома, захватив только оружие и заряды для самозащиты и самую необходимую пищу для поддержания сил во время пути.

Сускезус, по обыкновению, шел впереди, а Прыгун в некотором расстоянии от него, по его же следу, на случай непредвиденной опасности. Хотя мы и теперь еще были в тылу у гуронов, однако, Сускезус предпочел сойти с их следа и идти кратчайшим путем к нашей цели.

## ГЛАВА XXV

Уже стемнело, когда мы подошли к „Вороньему Гнезду“. Теперь, когда опасность еще больше увеличилась, мы решили быть все время настороже, чтобы нас не застали врасплох. Каждый из нас знал, что ему

делать в случае тревоги. Кроме того, мы все научились искусно подражать крику различных птиц, и эти крики должны были служить для нас сигналами, насчет которых мы заранее сговорились.

Когда мы начали спускаться в овраг, то Сускезус и Прыгун шли по-прежнему впереди; мы же, вместо того, чтобы идти гуськом, как до сих пор, выстроились в одну шеренгу и шли плечо к плечу. Мрак и густотность деревьев в овраге делали эту предосторожность необходимой.

Мы спустились в овраг, прошли довольно большое расстояние и вдруг очутились возле Сускезуса и Прыгуна, которые все время шли впереди нас. Это произошло потому, что те внезапно остановились. Их зоркие глаза заметили признаки присутствия врага. Там, под сводом нависшей вперед скалы, человек сорок индейцев, в полном боевом снаряжении развели костер и расположились вокруг него для ужина. Костер уже догорал, и его последние отблески слабым, дрожащим светом освещали мрачные фигуры краснокожих воинов, сидевших и лежавших кругом. Если бы мы пошли не здесь, то ниоткуда не могли бы их увидеть и неизбежно бы попали в их руки. Мы были не более как в сорока шагах от гуронов.

Вблизи шумно бежал поток. Сускезус предложил сделать маленький обход и переправиться через поток, шум которого мог служить нам прикрытием. Дно потока было в этом месте каменистое. Избирая этот путь, мы оставляли гуронов позади себя, и вероятно, добрались бы до цитадели, прежде чем они успели бы окончить свой ужин. Однако, Гурт запротестовал:

— Как,—говорил он,—судьба поставила нас в такое положение, когда мы можем оказать огромную услугу нашим друзьям, внося переполох в лагерь неприятеля, перепугав их мнимой вылазкой! Ведь тогда они, быть может, откажутся атаковать цитадель! И упустить подобный случай! Нет это было бы положительно глупо.

Дирк и я поддержали его, даже Джеп встал на нашу сторону.

Сускезус, как только узнал о нашем решении, ничего не возразил, но тотчас же стал готовиться к бою; Прыгун также.

План наш был чрезвычайно прост: мы должны были дать общий залп с того места, где сейчас находились, затем с громким криком кинуться на врага с холодным оружием в руках. Самое важное было не—задумываться ни на минуту и не останавливаться вблизи костра, где, как ни слаб был его свет, мы все-таки могли быть узнаны, а миновав его, бежать напрямик к воротам „Вороньего Гнезда“.

Мы дали дружный залп почти все разом, затем в ответ на поднявшийся у костра крик и смятение ответили громким шумным криком и устремились на ошеломленных индейцев, рубя всех, кто попадался под руку, и пробиваясь через их толпу к цитадели. В окружавшей нас темноте трудно было составить себе ясное представление о происходящем; помню только, что к нам под ноги попадали раненые или убитые, а мы перескакивали через них и опять кололи и рубили и бежали вперед. Через минуту мы оставили костер за собой; нам, вдогонку послали несколько выстрелов наугад, но никто из нас ранен не был. До ворот нам оставалось не более ста шагов, и каждый из нас спешил выбраться поскорее из оврага кто как мог, так как во время нападения мы поневоле должны были действовать враспыну. Я видел, что какие-то люди, прячась за

деревья, скользят во мраке, как тени; я думал, что это мои товарищи, но не знал наверное. Вновь зарядить свои карабины мы не могли, так как не было времени останавливаться. Я не мог выбраться из оврага в том месте, где бежал поток, и принужден был взять немного в сторону, где и взобрался на маленькое возвышение. Это положение было очень удобным, и я остановился на минуту, чтобы зарядить свой карабин; в то же время я осматривался, желая определить, где нахожусь.

Там, внизу, в долине, где были постройки колонистов, виднелось двенадцать или пятнадцать догорающих костров. Все это были хижины поселенцев или их риги и амбары. Но главное здание—сама цитадель—ничуть не пострадало; оно стояло грозное и мрачное, и так как не имело окон наружу, то виднелся только один слабый огонек, вероятно, в одной из бойниц, в качестве сигнала. И в самом здании, и вокруг стояла полная тишина; позади меня, там, в овраге, и за ним, в долине, тоже все было спокойно, но в этом спокойствии было что-то жуткое.

Оставаться дольше на этой возвышенности было невозможно, и я решил бежать со всех ног к воротам. Двумя прыжками я выбрался на равнину и увидел, что впереди меня бежали еще двое, из которых один как будто крепко вцепился в другого и держал его.

Так как оба направлялись к дому, то я окликнул: „Кто идет?“

— Ах, Корни, это вы! Вы как-раз во-время, чтобы помочь мне тащить этого гурона; я изловил его, обезоружил и взял в плен, но он упирется так, что мочи моей нет. Помогите мне.

Я схватил пленника за руку повыше локтя и стал тащить и толкать вперед. Вскоре мы добрались до ворот, которые тотчас же отворились, и мы были встречены самим хозяином и десятком вооруженных слуг.

Выстрелы привлекли внимание Германа Мордаунта, и он, поняв, что это мы идем, стоял все время у ворот наготове, чтобы впустить нас, как только мы к ним подойдем. Все мы добежали до ворот почти одновременно. Благодаря тому, что нападение было произведено нами так неожиданно, мы успели укрыться в цитадели. А когда ворота форта закрылись за нами, всякая немедленная опасность для нас миновала.

Нас ввели в большую, хорошо освещенную комнату, где мы встретили Аннеке и ее подругу; обе они испытывали мучительную тревогу, ожидая нас, но теперь, видя нас здоровыми и невредимыми, заплаканные глаза их светились радостью, а лица горели счастливой улыбкой. Глядя на них, отвечая на их расспросы, мы на мгновение забыли все остальное. Наконец, вошел, видимо, встревоженный Герман Мордаунт и сказал:

— Мы забаррикадировали ворота и только теперь спохватились, что еще не все ваши тут. Я не вижу ни Траверса, ни его помощников, ни наших обоих охотников. Не остались же они там, в лесу?

Никто из нас не решился ответить, но, вероятно, Герман Мордаунт прочел истину на наших лицах, потому что тотчас же воскликнул:

— Не может быть! Как, неужели все?

— Все, мистер Мордаунт, все, и даже мой бедный негр Петер,—сказал Гурт.—Вероятно, застигнутые врасплох, все они были умерщвлены в нашем отсутствии!

Мистер Мордаунт некоторое время молча шагал по комнате, затем, сделав над собою усилие, чтобы казаться спокойным, произнес:

— Хорошо, что мистер Бельстрод прибыл вчера благополучно сюда; он очень желал вас всех видеть. Если хотите, я проведу вас к нему!

Майор принял нас в высшей степени сердечно.

— Не правда ли, Корни,—сказал он мне, когда другие ушли, и мы с ним остались одни,—я ловко устроился, приказав отвезти меня сюда? Лучший лазарет трудно и придумать. Теперь нашему благородному соперничеству открыто широкое поле действия, и если мы с вами покинем этот дом, не узнав истинных чувств к нам мисс Аннеке, то, значит, оба мы такие дураки, которые заслуживают быть обреченными на безбрачие на весь остаток дней своих! Ведь редко представляется людям более удобный случай овладеть сердцем девушки, чем теперь нам с вами.

— Признаюсь, мне данный случай не представляется благоприятным!—проговорил я.—Аннеке теперь настолько встревожена и за себя, и за других, что ей не до нежных чувств; она думает теперь совсем о другом!

— Ах, Корни, сразу видно, что вы совершенно не знаете женщин. Может быть, вы были бы правы, если бы дело приходилось только начинать теперь, но когда уже раньше было сделано начало, то говорю вам: при настоящих условиях девушка становится мягче, доступнее; не далее, как через неделю, дело должно выясниться. И если я буду счастливым избранником, то могу вас уверить, Корни, что вы найдете во мне самое теплое сочувствие, точно так же, как я уверен в нем в противном случае. Впрочем, после этого злополучного поражения под Тикондерогою я примирился с поражениями!

Я не мог удержаться от улыбки, слушая его странное рассуждение о наших шансах на успех.

Выйдя от него, я прошел в гостиную и, по счастливой случайности, застал там Аннеке одну. Гурт уговорил Мэри выйти пройтись вместе с ним по двору, а Дирк и мистер Ворден совещались с хозяином дома и местными колонистами, укрывшимися в форте.

Под впечатлением разговора с Бельстродем я решил воспользоваться случаем. Его рана меня сильно тревожила; я вполне сознавал, что это крупный козырь в его руках, и что жалость всегда играет большую роль в чувствах женщины. Что, собственно, я говорил Аннеке во время этого разговора, я едва помню, но во мне говорило самое горячее, самое искреннее чувство; мне хотелось так много сказать, так много разъяснить, что вначале Аннеке не имела возможности вставить даже слова; но я видел, что она была взволнована и расстрогана и слушала меня внимательно и благосклонно; когда я рискнул взять ее руку, она не отняла ее у меня; тогда я нашел такие слова, которые вызвали слезы на ее глазах, и она, наконец, ответила:

— Вы выбрали странный момент, Корни, чтобы говорить о таких вещах, и я едва знаю, что вам ответить! Но мне кажется, что в такую минуту, когда нам со всех сторон грозит опасность, люди прежде всего должны быть искренни. Я знаю, что мы рискуем быть захваченными гуронами, которые кругом обложили наш дом и каждую минуту могут ворваться сюда и умертвить всех нас. Никто из нас не может сказать с уверенностью, что он завтра будет жив, и потому, в случае, если бы с вами, Корни, случилось что-нибудь, а я осталась жива, то весь остаток жизни

моей был бы отравлен сознанием, что я не решилась признаться вам в том хорошем чувстве, которое вы давно уже сумели внушить мне к себе, и угнала от вас то счастье, какое я испытала, когда несколько месяцев тому назад вы так честно и откровенно признались мне в своих чувствах!

Не понять значения этих слов было совершенно невозможно, тем более, что тихие слезы и полное любви выражение чудных глаз Аннеке подтверждали смысл ее речи.

Больше часа мы провели с Аннеке с глазу на глаз; мы не замечали времени, перебирая все прошедшее, такое дорогое для нас обоих, и Аннеке созналась, что она часто думала о смелом маленьком мальчугане, который так геройски вступился за нее, когда она была еще крошечной девочкой. Затем она сказала, что Бельстрод, опасный в моих глазах соперник, никогда не внушал ей иных чувств, кроме чисто родственных.

— Не беспокойтесь о нем,—сказала она с лукавой улыбкой,—он, конечно, переживет неприятный момент укола его самолюбия, но затем будет рад, что не дал воли своему мимолетному капризу, внезапно вспыхнувшей склонности к молодой американке, которая, быть может, была бы совершенно не на своем месте в том блестящем кругу, где должна вращаться его жена. Возможно, что в настоящее время он предпочитает меня всем другим девушкам, которых он знает, но его привязанность,—если то чувство, которое он питает ко мне, заслуживает этого названия,—не похожа на вашу, Корни! Это чувство не исходит из глубины его души, я это знаю; в этом женщины почти никогда не ошибаются.

Гурт Тен-Эйк вернулся со своей прогулки с Мэри Уаллас, более печальный и огорченный, чем когда-либо.

— Я думал,—сказал он,—что в этот момент общей опасности она, наконец, откроет мне свое сердце, или хоть внушит мне малейшую надежду. Но нет! Все, чего мне удалось добиться от нее, это—замечание, что данный момент совершенно неудобен для таких разговоров. Но все же она слушала меня, хотя я говорил ей только о моем чувстве к ней, и это утешительно!

## ГЛАВА XXVI

Герман Мордаунт заявил, что все могут спать спокойно, так как установлен ночной дозор. Но в „Вороньем Гнезде“ было теперь так много народа, что трудно было найти местечко, где бы можно было кинуть охапку соломы, которая должна была служить нам постелью. Впрочем, мы так устали, что, несмотря на все пережитое за этот день, с грехом пополам приткнулись и заснули, как убитые.

Было около трех часов ночи, когда Язон Ньюкем разбудил меня и других мужчин. В несколько минут все были на ногах и вооружены.

Так как индейцы вообще совершают свои нападения перед утром, когда обыкновенно сон у человека всего крепче, то это распоряжение Германа Мордаунта не удивило никого. Пока он стоял, наблюдая за тем, что происходило за стенами форта, мы все собрались во дворе и ожидали его распоряжений; всех нас было двадцать три-двадцать четыре человека.

Язон прекрасно исполнил возложенное на него поручение, то-есть разбудил всех мужчин, не потревожив женщин; очутившись подле бывшего педагога и теперешнего мельника, я похвалил его за ловкость, проявленную им в данном случае; между нами завязался разговор.

— Я полагаю, Корни, что эта война может повлечь за собой некоторые изменения в правах владения участками!

— Не вижу, каким образом это может случиться, мистер Ньюкем, если только вы не рассчитываете, что французы отнимут у нас эту колонию, что невероятно!

— Я не думал о французах. Но разве гуроны не завладели в данный момент всей этой землей кроме этого форта? Надеюсь, против этого спорить нельзя. Если же мы прогоним их и вновь овладеем этой землей и нашими участками, то это будет, так сказать, вновь отвоеванная земля, а завоевание дает право завоевателю на завоеванную территорию: так сказано в законах.

Эту речь Язон клонил к тому, чтобы утвердить свои права собственности на мельницу и участок, арендованный им у Мордаунта. Это был план, задуманный Язоном, чтобы присвоить себе мельничный участок.

Однако, мне не удалось ничего возразить ему на это, так как явился Мордаунт и стал разъяснять нам план защиты нашей цитадели. Как и следовало ожидать, индейцы прибегнули к единственно возможному, при отсутствии артиллерии, плану атаки: они готовились поджечь ограду и ворваться в дом. С этой целью они в продолжение всей ночи собирали горючий материал и свалили его у самой деревянной ограды почти на всем ее протяжении.

Работа эта совершалась очень остроумно. Один из наиболее ловких, смелых и проворных индейцев подбирался к самой стене вплотную и, присев там на корточки так, чтобы быть совершенно недоступным глазу неприятеля, принимал подаваемые ему на длинном шесте корзины с горючим материалом—сосновыми шишками, валежником и тому подобным и раскладывал их под стеной. Для большей успешности работы гуроны выстроились в два ряда, один ряд внизу на ровном месте, другой—на скалах, на которых был построен форт, а остальные доставляли материал из леса.

Эту ловкую хитрость открыл Сускезус; часовые же ее проглядели. Зная нрав индейцев, в особенности Мускеруска, он был уверен, что ночь не пройдет у них в бездействии. Самым слабо защищенным местом цитадели была, несомненно, сторона ее, обращенная к скале, где имелась лишь невысокая деревянная стена, помимо естественной защиты, то-есть самой скалы, которая, однако, не могла считаться неприступной. Поэтому Сускезус не сомневался, что нападение будет произведено именно с этой стороны. Стоя здесь настороже, он заметил приготовления гуронов к поджогу, но, зная поспешность и нетерпеливость бледнолицых, не сказал об этом никому ни слова, пока гуроны не закончили почти всей работы. Если бы им помешали в ней в самом начале, они измыслили бы что-нибудь другое, быть может, такое, что труднее было бы заметить и что ускользнуло бы от внимания осажденных; теперь же, предоставив им истощить свои силы на эту работу, Сускезус всегда мог успеть предупредить Мордаунта о намерении гуронов и в последний момент помешать осуществлению их плана.

Теперь предстояло решить, как нам поступить: попытаться ли застрелить смельчака-поджигателя и затем сделать вылазку, чтобы уничтожить его работу, или же дожидаться поджога и затем только показаться неприятелю?

В стене накануне была проделана маленькая бойница, через которую можно было видеть груды материала для поджога, и я подбежал к этой бойнице посмотреть, что происходило за стеной. Бойница находилась на уровне второго этажа дома, и хотя ночь была темная, но груды хвороста, валежника и шишек, сложенные у самой стены, под бойницей, можно было различить так же, как и фигуру индейца, который в тот момент, когда я выглянул из бойницы, присев на корточки, старательно разжигал еловые шишки. Гурт был около меня, и мы оба с напряженным вниманием следили за гуроном; у нас под рукой был достаточный запас воды, чтобы, при желании, залить огонь, прежде чем он успеет охватить слишком большое пространство.

Так как мы смотрели сверху, то не могли разглядеть лица поджигателя, но когда он поднял голову и взглянул вверх, следя за пламенем, мы оба признали в нем Мускеруска, пленника Джепа. Гурт не выдержал и, высунув дуло своего карабина, выстрелил по нему, даже не дав себе труда хорошенько нацеливаться. Этот выстрел стал как бы сигналом, от которого все разом пришло в волнение. Мускеруск в первый момент был как бы ошеломлен этим выстрелом, но затем, издав свой военный клич, как лань, большими прыжками кинулся из-под стены к своим. Одновременно с этим как из-под земли выросли и краснокожие воины, оглашавшие воздух пронзительным, оглушительным криком. Они бегали, скакали, прыгали, и казалось, что их тут сотни и тысячи, но вместе с тем они как будто не намеревались атаковать нас, а только время от времени стреляли наугад, очевидно, выжидая, когда сделает свое дело пламя.

Герман Мордаунт сохранил удивительное спокойствие, женщины также вели себя героически: ни криков, ни жалоб, ни отчаяния, ни даже проявления страха; некоторые из жен колонистов вооружились карабинами.

Прошло около четверти часа со времени выстрела Гурта. Огонь стал разгораться, и наши запоздалые усилия затушить его не привели ни к чему. Но это нас не особенно огорчало, так как пламя освещало далеко всю равнину и скалы, а следовательно, и малейшее движение неприятеля, тогда как нас за стеной не было видно; к тому же с равнины стрелять по ним не было никакой возможности, обстреливать же дом не имело смысла, так как толстые бревенчатые стены его были со всех сторон глухие, а двор, где мы, защитники цитадели, собрались, был со всех сторон защищен домом.

Таково было положение, когда горничная, разыскав меня в толпе, передала, что Аннеке просит меня притти к ней хотя бы всего только на одну минутку, если я могу покинуть свой пост. Так как мне не было поручено никакого поста, то я легко мог отлучиться на несколько минут. Гурт осведомился, не было ли такого же приглашения и для него, но даже и в этот критический момент Мэри Уаллас осталась верна себе и, повидимому, не желала выказать бедному Гурту ни малейшего предпочтения перед другими. Аннеке ожидала меня в той самой маленькой гостиной, где мы вчера объяснились с ней; она была одна и бледна, как полотно.



— Корни,—сказала она,—я послала за вами, так как почувствовала потребность сказать вам несколько слов, быть может, в последний раз!

— Не тревожьтесь, дорогая моя! Вы преувеличиваете опасность! Гурт, Дирк и я видели минуты много хуже этих!

Аннеке склонила голову ко мне на грудь и тихо заплакала, но вскоре подняла голову и, глядя мне прямо в глаза, сказала:

— Корни, моему отцу уже все известно! Вы, конечно, знали, что он желал видеть своим зятем мистера Бельстрода, но вместе с тем он сейчас только сказал мне, что никогда не желал идти в этом деле против моего желания или противиться моей склонности, и добавил, что мой выбор в то же время и его выбор; он поручил мне передать это вам от его имени. Неизвестно, свидимся ли мы, дорогой друг, но, во всяком случае, я думала, что для вас будет утешительно знать, что отныне мы—одна семья!

Я обнял Аннеке и радостно побежал во двор. В тот момент, когда я добежал до ворот, страшный вой за стеной возвестил начало нападения со стороны гуронов: этот неистовый вой был их военный клич. Тотчас же открылся беглый огонь, на который наши отвечали сквозь щели частогокола, стреляя из-за этого прикрытия по бегущим по равнине индейцам. Герман Мордаунт сообщил мне что значительный отряд гуронов засел под скалой, и что Гурт с Дирком, Джепом и четырьмя поселенцами и нашими двумя индейцами вызвались выбить врага из этого прикрытия.

Костер под стеною был подожжен в том месте, где кончалась скала, и под северо-восточным углом дома, так что две стороны цитадели были освещены, а две другие тонули во мраке. Ворота выходили на запад, поэтому обойти дом с юго-западной стороны было не особенно опасно. Добраться до скалы с этой стороны было не трудно. Отсюда можно было произвести залп по индейцам, засевшим непосредственно под самым частогоколом, чтобы, воспользовавшись удобным моментом, взобраться на него, так как в этом месте он был значительно ниже.

— А кто охраняет ворота?—спросил я.

— Мистер Ворден и мистер Ньюкем; оба они хорошо вооружены. Мистер Ворден, несмотря на свой сан и лета, выказывает много мужества и решимости!—добавил Герман Мордаунт.

Видя, что мое присутствие во дворе бесполезно, я поспешил к воротам; меня беспокоила и затея Гурта, и разгоравшийся огонь. Попросив пропустить меня, я, пользуясь темнотой ночи, хотел посмотреть, не грозит ли огонь нашей ограде. По счастью, после ночного ливня столбы частогокола были так мокры, что их трудно было поджечь. Пробравшись по ограде до северо-западного угла дома, я увидел груды горящего валежника. Яркий свет, исходивший от этого пламенеющего костра, до того слепил находящихся на равнине, что под его прикрытием я мог пробраться незаметно. Рассеянные повсюду на равнине выкорчеванные обгорелые пни, казалось, плясали под дрожащим светом костра, падавшим на них, и я несколько раз принимал эти вывороченные пни за неприятелей. Наконец, я добрался до того места, откуда моим глазам представилось настоящее пожарище; не только валежник и сучья были объаты пламенем, но огонь успел уже охватить на весьма значительном протяжении первый ряд столбов частогокола. Я поспешно вернулся во двор и просил Язона передать

Герману Мордаунту, что нельзя терять ни минуты и необходимо во что бы то ни стало скорее тушить огонь.

В той стороне, где должен был находиться Гурт, не было слышно ни малейшего звука; эта тишина тревожила меня; то тут, то там слышались одинокие выстрелы, но все больше в другой стороне. Я решил сделать еще одну вылазку и добраться до юго-западного угла цитадели; и на этот раз меня никто не потревожил. Весь южный фасад здания тонул во мраке; только верхнюю часть крутых скал озарял слабый луч света. Сколько я ни вглядывался, нигде не было ни малейших признаков моих друзей, и я начал уже опасаться, не попал ли мой отважный альбанец в какую-нибудь западню. Вдруг я почувствовал, что кто-то слегка коснулся моего локтя; я оглянулся и увидел индейца в полном боевом убранстве и татуировке; я уже схватился за нож, но он удержал мою руку, проговорив:

— Он не прав! У него голова слишком молодая, сердце хорошее, рука тоже хорошая, дух смелый, но голова дурная... Там слишком много огня, светло, здесь темно, здесь лучше!

Я сразу узнал голос онондагаса и понял, что он говорил о плане Гурта, который избрал, по мнению Сускезуса, неудобную позицию.

Гурт, действительно, дошел до самого края скалы, где он и его товарищи оказались на свету, озаренные пламенем пожара, и где их нельзя было не увидеть. Однако, я его не видел, пока Сускезус не указал мне.

Действительно, он взобрался со своим отрядом на маленький выступ скалы, где позиция у него была превосходная, и откуда он легко мог стрелять в тех, кто попытался бы взобраться на приступ. Но отсюда было далеко до места, где бы он, в случае надобности, мог укрыться. У меня не было времени ни присоединиться к нему, ни предупредить его об опасности, и он, и товарищи его стояли совсем на виду, и силуэты их ясно вырисовывались на фоне зарева. Все они готовили оружие, собираясь произвести залп. Впереди всех стоял Гурт, почти висая над пропастью; позади него Дирк и Джеп, а за ними Прыгун и четверо колонистов. Еще минуту, и все они разом выстрелили в притаившихся под скалой индейцев. С минуту стояла тишина, затем раздался снова залп из обгорелых пней на равнине. Тогда те из наших, которые были ближе к воротам, кинулись в них; но я видел, как упали двое из поселенцев и Прыгун, а Гурт, Дирк, Джеп и двое других исчезли; воздух же огласился таким диким воем, что мне трудно было поверить, что эти звуки исходили из человеческого горла.

Вскоре все кругом покрылось индейцами. В то же время сверху через ограду лили воду, заливая пожар, и вдруг в одно мгновение наступила вокруг темнота. Не случись этого, вероятно, никто из бывших на скале не вернулся бы во двор, и хотя по ним все время продолжали стрелять, но теперь уже просто наугад. Завязалась свалка, и среди воя и крика гуронов явственно звучал властный и низкий голос Гурта, призывавшего своих товарищей пробиться сквозь неприятеля. Стоя под прикрытием стены, мы с Сускезусом выстрелили по гуронам, очутившимся ближе других к Гурту, но этого было мало: их было более сотни. Стоять в стороне и смотреть, как неприятель подавляет своей численностью наших товарищей, было свыше моих сил,—и мы с Сускезусом набросились на

неприятельский арьергард. Те приняли это нападение за вылазку и раступились на мгновение настолько, что Дирк и двое поселенцев пробрались и присоединились к нам. Тогда мы стали отступать шаг за шагом, продолжая отстреливаться. Не знаю, чем бы это кончилось, если бы нам на выручку не вышел Герман Мордаунт со значительным отрядом наших. Мы дали общий залп, и враги рассеялись, точно провалились в землю, а мы все вместе добежали до ворот, которые закрылись за нами.

За это время все вокруг совершенно изменилось. Огонь был залит на всем протяжении, и всюду господствовал полнейший мрак. Шум, крик и вой совершенно затихли; везде было тихо, как в могиле. Даже наши раненые не стонали и не жаловались; теперь нечего было больше опасаться нового нападения врага, так как бледная линия на горизонте предвещала близость восхода, а индейцы никогда не нападают при дневном свете.

Герман Мордаунт начал подсчитывать наш урон и урон неприятеля, стараясь выяснить наше положение. Стали искать Гурта, но оказалось, что его нигде не было; его никто не видал; точно также исчез и Джек. Уже почти совсем рассвело. Мы не знали, какая участь постигла Гурта и моего несчастного негра и потому вышли за ворота и стали обыскивать все места, где бы они могли укрыться и дожидаться дня; затем мы вышли на равнину искать тела убитых товарищей. Уже ни одного трупа гурунов не оставалось на поле сражения, наши же лежали у подножия скалы—оба поселенца и Прыгун; все трое были скальпированы. Но от Гурта Джепа нигде не осталось даже следа.

## ГЛАВА XXVII

Самой тяжелой для меня минутой было, когда час спустя после того, как мы вернулись с наших бесплодных поисков, мистер Мордаунт пригласил звать меня в гостиную, где он находился с Аннеке и Мэри Уаллас. Луч радости вспыхнул в глазах Аннеке при виде меня, Мэри же казалась пришибленной, удрученной; лицо ее было мертвенно-бледно. Аннеке заговорила первая.

— Вы невредимы. Наши друзья вернулись?

— Скажите мне скорее всю правду, мистер Литтлпэдж, я могу все вынести, все лучше, чем эта страшная, мучительная неизвестность. Он был убит? Да?—спросила Мэри.

— О нет! Во всяком случае, я не думаю! Мы нашли бы его труп, но я боюсь, что его захватили в плен!

— Но скажите—они будут пытаться его? Мучить? Гуруны подвергают пыткам своих пленников? Вы не знаете? Не скрывайте ничего от меня!

При этом лице ее выражало глубокую муку, глаза смотрели растерянно, губы дрожали.

Я знал, что она любит Гурта, и видел, что она нестерпимо страдала.

— Не думаю, чтобы они стали мучить его! Вероятно, они взяли в плен и моего Джепа и скорее станут пытаться его, чем мистера Тен-Эйка.

— Ах, почему вы назвали его так? Разве вы не звали его давно уже Гуртом, или ваша привязанность к нему остыла?—воскликнула Мэри.

— Нет!—возразил я.—Никогда моя дружба к нему не изменялась; я полюбил его всей душой и сделаю все, чтобы притти к нему на помощь!

— О, благодарю, благодарю вас!—воскликнула Мэри и, не будучи в силах сдерживаться больше, разрыдалась, припав головой к груди своей подруги.

Оставив девушек в гостинной, мы с Германом Мордаунтом прошли в его кабинет и стали совещаться, что нам предпринять для выяснения участи Гурта.

Мы призвали Сускезуса на совет и прежде всего спросили:

— Как ты думаешь, Сускезус, можно ли отправить к гурунам парламентаря, чтобы узнать о судьбе наших товарищей и вступить с ними в переговоры относительно выкупа?

— Почему нельзя? Краснокожие хорошо принимают посланных. Посланные свободно приходят и уходят! Как же заключить торг или уговор, если скальпировать посланных? Можно отправить посла!

Действительно, даже самые суровые племена индейцев уважали парламентарей. Гуруны же, поддерживавшие близкие сношения, с французами, были сравнительно культурны. Я предложил свои услуги в качестве парламентаря, но Герман Мордаунт нахмурился и, повидимому, не желал этого.

— Аннеке не простит мне этого! Вы не должны забывать, Корни, что вы теперь не принадлежите себе! Она будет в тревоге и отчаянии во все время вашего отсутствия. Пошлем лучше нашего онондагаса, если только он согласится!

— Что вы скажете, Сускезус,—спросил Мордаунт,—согласны вы пойти к гурунам парламентарем от моего имени?

— Почему же нет, если это нужно? Хорошо быть посланным! Что надо сказать?

И в один момент он был готов. Он смыл боевую татуировку с лица, натянул на себя холщевую рубашку и штаны и, взяв с собой белый флажок, направился в неприятельский лагерь.

Те полчаса, что он был в отсутствии, были для нас временем мучительнейшего ожидания. Все мы вышли за ворота ожидать его возвращения и, наконец, к немалому нашему утешению, увидели, что вслед за нашим парламентарем идет небольшой отряд индейцев, среди которых мы увидели двух пленников. Индейцев было всего двенадцать человек, и все они были вооружены; они медленно вышли из оврага и шли по лугу, тянувшемуся до самого частокола, но, не дойдя четырехсот шагов до ворот, они остановились. Видя это, мы тоже в числе двенадцати человек и также вооруженные пошли им навстречу, но, пройдя половину расстояния, также остановились, как того требовал обычай. Здесь мы ждали нашего посланного; пока все, казалось, шло как нельзя лучше.

— Какие вести?—спросил поспешно Мордаунт.—Наши друзья невредимы?

— Скальпы их не тронуты,—ответил онондагас,—десять человек накинута на них двоик и схватили их! Откройте глаза свои, и вы их увидите!

— А гуруны согласны принять за них выкуп? Ром, карабины, порох, рис, одеяло,—все это вы могли предложить от моего имени!

— Все, но это нехорошо! Они говорят, что все это они сами возьмут и даже еще больше!

— А между тем, они все-таки пришли сговариваться? Что вы нам посоветуете делать, Сускезус?

— Пусть трое из вас положат оружие и подойдут сговариваться с ними! Идите вы, священник и молодой вождь (так он называл меня). Это будет трое. Тогда три воина гуронов тоже положат оружие и тоже подойдут к вам! Пленные ждут,—это хорошо!

Мы в точности исполнили все, что нам было предложено нашим советником, и на полпути встретили трех воинов гуронов, в числе которых был и Мускеруск, в качестве главного лица. Гурт и Джем, со связанными за спиной руками, стояли в ста шагах расстояния; на Гурте были только панталоны и рубашка, а на голове не было никакого головного убора; мне показалось, что на его рубашке была кровь, и я крикнул ему, желая узнать, не ранен ли он.

— Пустяки, Корни! Индейцы забавлялись тем, что, привязав меня к дереву, стали пускать вокруг меня и надо мной свои томагавки, вероятно, желая доказать мне свою ловкость тем, что ни один из них не заденет меня. Но по неловкости их я все-таки получила две-три пустых царапины.

— У меня есть для вас очень хорошие новости, Гурт,—крикнула я.— Сускезус, друг мой, спросите этих вождей, позволят ли они мне подойти к их пленнику, чтобы сказать ему несколько слов утешения. Я уверю их честью, что не сделаю ни малейшей попытки к его освобождению!

Онндагас передал мои слова гуროнам на их наречии, и, к удивлению, я получил желаемое позволение. Оставив тогда Германа Мордаунта сговариваться с Мускеруском и его двумя товарищами, я смело пошел к вооруженным индейцам, сторожившим Гурта и Джем. Мне показалось, что мое приближение произвело некоторую сенсацию среди индейцев, и они обменялись несколькими словами со своими вождями, после чего никто меня ничем не беспокоил.

— Спасибо вам, мой милый Корни, за это доказательство вашей дружбы!—растроганным голосом воскликнул Гурт.—Но не оставайтесь здесь долго; я боюсь, чтобы с вами не случилось какой-нибудь беды! Подумайте об Аннеке! Ах, дорогой мой, я был бы счастлив даже теперь, если бы мог думать, что Мэри Уаллас теперь хоть сколько-нибудь беспокоится обо мне!

— Так будьте же счастливы, Гурт! Вся цель моего прихода сюда заключалась в том, чтобы сказать вам, что вы на все можете надеяться, да что я говорю, надеяться, я принес вам самую положительную уверенность в ее взаимности! Теперь вам нечего больше бояться с ее стороны ни холодности, ни нерешительности, ни колебаний; вы в этом убедитесь сами, когда вернетесь к нам!

— Вы не позволяйте себе подшутить над чувствами человека, находящегося на волосок от смерти и пыток, Литтльпэдж!—воскликнул Гурт.— Но я едва смею верить своим ушам!

— Верьте мне, вы не ошибетесь, если представите себе самую трогательную привязанность с ее стороны! А теперь я расстанусь с вами: нужно помочь Герману Мордаунту выкупить вас, чтобы вы лично могли услышать от нее все, что я сейчас передал вам от ее имени!

Гурт на это ничего не ответил; он был слишком взволнован, мне показалось даже, что он был тронут до слез, потому что вдруг поспешно отвернулся, как бы желая скрыть свое лицо. Джем стоял немного дальше, позади него, и следил за каждым моим жестом и движением; мне было от души жаль его, но я счел за лучшее вовсе не говорить с ним, а только сделал ему знак, чтобы он не падал духом.

— Индейцы далеко не сговорчивы,—сказал Герман Мордаунт, когда я вернулся на свое место.—Относительно Джем-то они дали мне понять, что он не будет освобожден ни под каким видом. Им нужен его скальп, чтобы залечить рану одного вождя, и его судьба уже бесповоротно решена; они привели его сюда только для того, чтобы обмануть его ложной надеждой. Что же касается Тен-Эйка, то они уверяют, что он убил двух воинов, жены которых требуют его скальпа; но они согласны вернуть ему свободу на одном из следующих двух условий, а именно: чтобы мы отдали им взамен Тен-Эйка двух других вождей или четырех слуг или же, если это условие нам не подходит, только двух слуг и в придачу к ним „Воронье Гнездо“ со всем содержанием и с обязательством, что все мы его покинем еще до восхода солнца.

— Оба эти предложения одинаково неприемлемы!

— Вы сами понимаете, что если бы дело шло о спасении моей собственной жизни, я и тогда не согласился бы на подобные условия! „Воронье Гнездо“ и все, что в нем есть, за исключением некоторых бумаг и документов, я охотно отдал бы им. Но даже в том случае, если бы я мог вполне положиться на слово вождей, я уверен, что они не в состоянии были бы удержать от резни и бойни своих воинов, доказательством чего служит страшное избиение в форте Вильям-Генри. Мой ответ они получили, и теперь нам остается только расстаться: быть может, видя, что мы не поддаемся на их требования, они станут уступчивее.

Мускеруск, все время державший себя с большим достоинством, теперь сделал нам прощальный знак рукою и удалился вместе со своими двумя товарищами.

— И вам лучше уходить,—сказал Сускезус,—могут понадобиться карабины: гуроны не любят шутить.

Мы вернулись к своим товарищам и снова вооружились.

Вдруг случилось нечто непредвиденное. Джем сразу сообразил, что его положение безнадежно, и потому все его мысли были направлены на то, как бы вернуть себе свободу. С того момента, как его вывели из оврага и поставили в нескольких шагах от своих, он искал лишь удобного момента. Перед ним стоял индеец, нож которого торчал из-за пояса таким образом, что Джем ухитрился его выдернуть, так что тот и не заметил этого. Я тогда стоял и разговаривал с Гуртом, и все внимание гуронов было обращено на меня. У обоих пленников руки были связаны за спиной немного повыше локтей; в тот момент, когда Гурт при последних моих словах отвернулся, чтобы скрыть свое волнение, Джем разом разрезал его путы и сунул ему в руки нож, которым Гурт точно так же перерезал путы Джем. Индейцы, следившие за мной в то время, как я удалился, ничего не заметили. С минуту оба их пленника держали попрежнему руки за спиной, как-будто все еще были связаны,

и в это время осматривались вокруг, чтобы видеть, когда лучше воспользоваться своей свободой.

Индеец, стоявший непосредственно впереди Гурта, держал два карабина—свой и переданный ему Мускеруском; оба ружья стояли у его ноги прикладами на землю, небрежно прислоненные к плечу. Гурт указал Джепу на эти ружья, и в тот момент, когда трое вождей готовы были вернуться к своим, Гурт схватил стоявшего перед ним индейца за руку и скрутил ее назад так, что тот невольно вскрикнул. В то же время Гурт схватил один из карабинов, а Джеп другой, и почти одновременно оба выстрелили, убив двоих гурунов наповал. После этого они стали отбиваться от остальных, кинувшихся на них, ударами прикладов. Это было единственное средство пробиться и успеть бежать, ошеломив тех, кого они не ранили и не убили. Если бы они просто бросились бежать, их непременно бы нагнали и уложили на месте пули индейцев; в рукопашном же бою всегда мог представиться случай во время общей свалки уйти невредимым.

Выстрел обратил наше внимание на неприятельскую группу, и я своими глазами видел и слышал страшный удар приклада, которым Джеп расколол череп Мускеруска. Раскололся не только череп, но и приклад карабина, но освирепевший Джеп продолжал отбиваться остатком оружия и расчищать перед собою путь. Гурт также не бездействовал: в одну минуту он уложил нескольких индейцев. В этот момент Дирк, державший свой карабин наготове, не торопясь, нацелился в громадного, рослого гуруна, готовившегося схватить Гурта сзади, и уложил его своим выстрелом на месте. Тогда началась общая перестрелка; стреляли и наши, и индейцы. Видя, что их товарищи падают один за другим, гуруны большими прыжками побежали на соединение со своими, находившимися под прикрытием леса, оставив своих пленных на открытом месте под градом сыпавшихся на них из леса пуль.

Все это произошло с изумительной быстротой. Гурт схватил ружье одного павшего индейца, Джеп ружье другого, и оба побежали к нам под градом пуль, отстреливаясь на ходу. Мы кинулись к ним навстречу, стреляя по неприятелю, что было не совсем осторожно с нашей стороны, так как главная сила гурунов находилась под прикрытием леса, а мы на открытом месте. Но, видя геройство наших друзей, мы не могли удержаться, чтобы не притти к ним на помощь. Увидя нас, Гурт громко вскрикнул от радости:

— Вперед, Корни! Давай преследовать их вплоть до леса! Через пять минут здесь не останется ни одного индейца! Вперед, друзья!

— Вперед! Вперед!—подхватили все наши и даже сам мистер Ворден. Мы бежали вперед под градом пуль, приберегая свои выстрелы для решительного момента. Гуруны, сбитые с толку, обратились в бегство. Паника редко охватывает индейцев, но еще реже они соединяются на поле сражения; раз только они побежали, то всегда бегут врассыпную.

Спустившись в овраг, я уже нигде не видел индейцев, но Гурт и Джеп, которых мы еще не успели догнать, дали залп, вероятно, по последним бегущим гурунам. В следующий момент раздался один только ответный выстрел, как бы последний прощальный привет, донесшийся издали, и на моих глазах упал Гурт. В одну минуту я был возле него. По

выражению его лица в тот момент, когда я его приподнял с земли, я понял, что рана его смертельна: пуля прошла навылет, не задела костей, но затронула жизненные органы. Смертельная рана всегда кладет на черты человека свой страшный отпечаток.

— Этот выстрел был для меня роковым, Корни!—говорил он.—Это, вероятно, их последний выстрел! Я желал бы, чтобы то, что вы мне сказали о Мэри, было неправда!

Я ничего не ответил. Как только Гурт упал, наши забыли о погоне и столпились вокруг него; тогда один Сускезус сознавал, как важно было для нас знать, что намерен делать враг. Он только на минуту остановился, взглянул на раненого, и на его лице мелькнуло скорбное выражение.

— Плохо,—сказал он Герману Мордаунту,—но скальп спасен! Это хорошо! Несите его в дом. Сускезус пойдет по следу гурунов и узнает, что делают враги!

Мы двинулись с нашим раненым к воротам „Вороньего Гнезда“. Дирк пошел вперед предупредить о печальном событии, я шел возле Гурта.

Герман Мордаунт распорядился приготовить для раненого свою собственную комнату, его окружили всеми возможными удобствами. Когда его внесли и положили на кровать, все, кроме меня, вышли из комнаты молча и незаметно, один за другим. Оставшись один с Гуртом, я уловил его тревожный, жадный взгляд, как бы искавший кого-то.

— Я сейчас позову их обеих,—сказал я и встал, чтобы выйти из комнаты. Гурт поблагодарил меня улыбкой и молчаливым рукопожатием.

Я нашел Мэри смертельно бледной, но сравнительно спокойной: ей женское чутье подсказало, что шумное проявление горя и отчаяния только ухудшит состояние раненого, и она собрала все свои силы, чтобы подавить отчаяние.

При первом моем слове о Гурте обе девушки заявили, что они только и ждали позволения пойти к раненому, и, поблагодарив меня, поспешили в его комнату. Я не пошел за ними, не желая присутствовать при первых минутах свидания. Аннеке впоследствии говорила мне, что Мэри держалась с удивительным самообладанием, а пылкость речи Гурта ввела даже в заблуждение бедную девушку: она, слушая его, начала думать, что положение раненого не безнадежно. Через час я пошел к Гурту и у его дверей встретился с Германом Мордаунтом.

— Последняя слабая надежда спасти Гурта пропала,—сказал он мне.—Ему остается всего несколько часов жить! Боже мой! Лучше бы „Воронье Гнездо“ было разорено и разграблено до тла!

Мэри не отходила от раненого ни на минуту и продолжала весь этот день неустанно ухаживать за ним. Под вечер она пришла к нам и почти радостно, по секрету, сообщила нам, что Гурту, кажется, лучше, но минут десять спустя я заметил, что он мне сделал чуть заметный знак рукой.

— Корни,—сказал Гурт совершенно упавшим голосом,—сейчас конец! Я хотел бы еще раз увидеть Мэри Уаллас перед смертью!

Но Мэри стояла у меня за спиной; она кинулась на колени и обняла своего умирающего друга. Ни тот, ни другая не сказали ни слова. Целый час Мэри продержала в своих объятиях любимого ею человека, и в этом объятии бедный Гурт испустил на ее груди свой последний вздох.

## ГЛАВА XXVIII

Всю ночь никто не смыкал глаз. Под утро вернулся Сускезус и сообщил, что гуроны ушли в сторону Тикондероги, и теперь нечего больше опасаться их нападения. После этого все поселенцы поспешили вернуться на свои участки, особенно те, жилища которых уцелели; те же хижины, которые оказались сожженными, были вновь возведены общими усилиями. Так как Бельстроду еще нельзя было тронуться с места, то решено было, что Герман Мордаунт пробудет здесь до конца сезона, тем более, что присутствие владельца ободряло поселенцев.

Тело покойного Гурта решено было перевезти в Альбани, чтобы похоронить с его родными. Я, Дирк и мистер Ворден сопровождали его останки.

Прощаясь со мной, мистер Мордаунт сказал мне:

— Отправляйтесь, дорогой сын мой, напишите нам из Альбани, а затем в сентябре приезжайте в „Сиреневый Куст“, где вас встретят как сына!

По прибытии в Альбани мы передали останки Ген-Эйка его семье, которая устроила ему пышные похороны.

Из замуравленного шкафа в доме Гурта достали хранившиеся в нем со дня его рождения, согласно обычаю, шесть дюжин бутылок дорогой мадеры, которые простояли в этом замуравленном шкафу двадцать четыре года и должны были быть выпиты или в день свадьбы, или в день похорон; их распили—увы!—на похоронах.

У Дирка и у меня было теперь столько знакомых в Альбани, что нас всячески старались удержать; но после всего пережитого мне хотелось как можно скорее вернуться домой, и мы с Дирком сели на первый шлюп, отправлявшийся в Нью-Йорк. Дирк расстался со мной в Таппан-Сиа, так как оттуда шел ближайший путь к нему в Рокланд, где его с нетерпением ожидали родные, а я на другой день после разлуки высадился в Нью-Йорке.

Дядя и тетя Легг приняли меня с распростертыми объятиями, и когда узнали, что я участвовал в экспедиции на север, меня стали приглашать на расхват и чествовать кто как мог и как умел. Но я спешил в „Сатанстоэ“. Остановившись в Кингсбридже, чтобы пообедать, я не мог устоять против искушения пройти на тот холм, откуда мне Дирк впервые указал „Сиреневый Куст“.

Когда я вернулся в гостиницу, хозяйка, миссис Леже, прислуживая мне, сказала:

— Я слышала, мистер Литтльпэдж, что вы были на севере! Видали вы там наших уважаемых соседей, мистера Мордаунта и его прекрасную дочь?

— Да, миссис Леже, я их видел! Земли моего отца смежны с их землей, и я гостил у них некоторое время. А вы не имели от них известий?

— Нет, я только слышала, что мисс Аннеке к нам больше не вернется!

— Да почему же не вернется?—невольно воскликнул я, не на шутку встревоженный.

— Во всяком случае не вернется, как мисс Аннеке,—усмехнулась хозяйка,—потому что она вскоре должна стать леди Аннеке!.. Разве вы не встречали там генерала Бельстрода, кажется, или, если он не генерал, то во всяком случае офицер в больших чинах! Говорят, он за мисс Аннеке очень ухаживает.

— Да, да, и что же говорят об этом генерале?—полюбопытствовал я.

— Говорят, что они в будущем месяце поженятся, а некоторые уверяют, будто они уже обвенчаны, и что отец дал за дочь „Сиреневый Куст“ и, кроме того, еще четыре добрых тысячи фунтов стерлингов в придачу!

Я не потрудился разуверить миссис Леже в ее предположениях и уехал совершенно спокойный за свою судьбу.

В „Сатанстоэ“ матушка не могла оторваться от меня; отец даже прослезился, а дед долго обнимал и целовал, затем начались расспросы и рассказы без конца. После обеда мать позвала меня к себе в спальню и сказала:

— Корни, дитя мое, ты не рассказал мне ничего интересного для меня о Мордаунтах!

— Как, мамаша, я вам говорил и о наших свиданиях в Альбани, и о нашем совместном путешествии, о приключении на реке и обо всем, что произошло в „Вороньем Гнезде“.

— Да, да! Но для меня все это не так важно, я хотела бы знать что-нибудь об Аннеке. Правда ли, что она собирается вскоре выйти замуж?

— Совершенная правда! Я слышал об этом от нее самой!

— Как? И она могла тебе это сказать сама? Значит, честолюбие и чванство могут ослепить даже и ее!

— А в чем вы видите честолюбие и чванство, мамаша?—спросил я.

— Но мне кажется, что выбор ее остановился на этом майоре Бельстроде...

Далее я не мог уже продолжать этой шутки...

Я вернулся в „Сатанстоэ“ в конце июля, а в середине сентября Мордаунты должны были вернуться в „Сиреневый Куст“, так что мне приходилось ждать почти два месяца.

Наконец, к нам прискакал слуга Мордаунта с известием, что его хозяин со всем своим семейством прибыл в „Сиреневый Куст“, и что меня просят завтра туда к завтраку.

Не успел уехать слуга, как я, сгорая от нетерпения скорее увидеть Аннеке или хотя бы только быть вблизи ее, вскочил на коня и поскакал вслед за слугой, решив переночевать в гостинице Кингсбриджа.

— К вашим услугам, сударь, лучшая комната в моем доме,—ответила мне хозяйка гостиницы на мой вопрос о комнате для ночлега.—Как поживает капитан Хег Роджерс, ваш дедушка? А ваш почтенный батюшка, майор Ивенс? Не правда ли, хорошо? Я это вижу по вашему веселому, улыбающемуся лицу. Я бы подумала, что вы спешите на свадьбу, если бы вы проехали прямо в „Сиреневый Куст“, не останавливаясь у меня!

Я невольно вздрогнул, но затем подумал, что, быть может, за это время местные сплетницы успели уже узнать правду, и сказал:

— В сущности, я еду не на свадьбу, миссис Леже, тем не менее, надеюсь, что моя свадьба будет, вероятно, на этих днях!

— Да я не о вашей свадьбе говорю, мистер Литтлпэдж, а о свадьбе мисс Аннеке с лордом Бельстродам! Это блестящая партия даже и для Мордаунтов.

— Весьма возможно,—рассеянно ответил я и, взяв шляпу, пошел пройтись перед сном.

Я поднялся на тот холм, затем дошел и до того самого места, где я когда-то встретил обеих девушек верхами и вдруг, к своему удивлению, увидел сидевшего там под деревом Бельстрода. Он был один и, повидимому, погружен в размышления. Я хотел было удалиться, не потревожив его, но, случайно подняв голову, он увидел меня.

Он едва заметно покраснел, закусил губу, но встал и пошел ко мне навстречу с принужденной улыбкой. Он слегка хромал, но лишь настолько, что это придавало какую-то своеобразную грацию его походке и делало его еще более интересным. Когда мы сошлись, он чистосердечно протянул мне руку, которую я дружески пожал.

— Когда-то я выражал желание, Корни, чтобы мы во что бы то ни стало оставались друзьями! Я никогда не беру своих слов обратно! Вам посчастливилось, а мне нет. Присядем вот здесь на скамейку и побеседуем по-дружески! Ведь это тогда река помогла вашему счастью, Корни, а меня утопила!

Я улыбнулся, но ничего не сказал.

— Любовь имеет свои превратности, как и война, и я очутился в том же положении, как и Аберкромби: мы оба рассчитывали выйти победителями, и оба были разбиты, только с тою разницей, что мое положение много лучше, чем его; ведь у него никогда больше не будет другой армии, а у меня еще может быть другая невеста.

Мы побеседовали с ним еще полчаса самым дружелюбным манером.

Вплоть до самого вечера я бродил, не теряя дома из вида, а когда стемнело, решил подойти поближе в надежде, быть может, увидеть Аннеке в окне. Вечер был прекрасный, мягко светила луна. Сам того не замечая, я очутился совсем близко к дому и вдруг услышал легкие шаги на песке.

— Нет, Аннеке,—говорил голос Мэри Уаллас,—мое решение неизменно: я до конца жизни буду носить траур по Гурту, точно так, как если бы была его женой! Этим только я могу почтить его дорогую память, я, которая, быть может, своей излишней сдержанностью и колебаниями побудила его искать тех опасностей, жертвой которых он сделался! Ты была тысячу раз права, Аннеке. Когда женщина действительно любит человека, она не должна скрывать этого!

Не желая слушать дольше разговора девушек, я раздвинул кусты с намерением удалиться, но шум этот привлек внимание девушек, и я должен был показаться им. Но я хотел сделать это так, чтобы не напугать их.

— Это, наверное, Бельстрод ищет нас,—сказала Аннеке.—А вот он, и мы теперь...

Она не договорила: вместо Бельстрода она увидела меня. Я обнял ее. Мэри Уаллас скрылась.

Аннеке убедила меня, что теперь уже необходимо показаться и ее отцу, и я решил войти в дом, хотя предчувствовал, что Герман Мордаунт не пропустит случая подшутить надо мной. Но подшутил он очень безобидно и даже сказал, что это новое приключение говорит, что я буду хорошим мужем.

В начале октября мы отпраздновали нашу свадьбу.

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Предисловие . . . . .	7
В Венеции . . . . .	11
✓ Сатанстов . . . . .	163

Цена 1 руб. 61 коп.

~~18459~~



---

**Адрес Издательства (Правление):**  
Москва, центр, Ильинка, 15.

**Центральный Книжный Склад:**  
Москва, Лубянский Пассаж, помещ. 25—30.

**КАТАЛОГИ по требованию БЕСПЛАТНО**